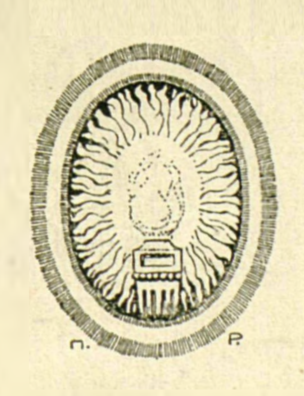
ТВОРЧЕСТВО
и
КРИТИКА.

ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ.

Т. II.



КН-ВО · ПРОМЕТЕЙ ·
Н · Н · МИХАЙЛОВА ·


ТВОРЧЕСТВО и КРИТИКА



ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ.

Т. II.

ТВОРЧЕСТВО и КРИТИКА.

КН-ВО „ПРОМЕТЕЙ“
Н. Н. МИХАЙЛОВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія **„Энергія“** Загородный пр., 17

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Творчество и критика.

(Вмѣсто введенія).

Часто приходится слышать, что вопросы психологіи творчества — это то самое шеллингіанское «Абсолютное», въ которомъ, по язвительнымъ словамъ Гегеля, всѣ кошки сѣры... Не буду спорить съ этимъ: да, психологія творчества—пока еще темная область; но напрасно думать, что она темна только для теоретически изучающихъ ее. Полно, такъ-ли? Не еще-ли темнѣе она для самого «творящаго», для художника?

Когда я вчитываюсь въ любое изъ выдающихся произведеній литературы, то мнѣ всегда припоминается одно мѣсто изъ «Горе отъ ума». Помните слова Софьи про Молчалина и отвѣтъ Фамусова: «шелъ въ комнату, попалъ въ другую... — Попалъ, или хотѣлъ попасть?» — Ну, такъ вотъ, мнѣ думается, что всякій большой художникъ совершенно непроизвольно всегда «попадетъ въ другую комнату», пройдя черезъ ту, въ которой былъ намѣренъ остановиться... Софья сказала неправду: Молчалины попадаютъ — и въ жизни и въ литературѣ — именно въ ту комнату, въ которую идутъ: возьмите всю умѣренно-аккуратную, среднюю, рядовую беллетристику, публицистику, поэзію — какое умѣніе попадать въ заранѣе намѣченную цѣль! И возьмите истиннаго художника — какое подчасъ страстное желаніе ограничить себя опредѣленными рамками, и какое безсиліе, какое неумѣніе сказать т о л ь к о т о, что было сознательно задумано!

Яркій примѣръ этого я сейчасъ приведу, а пока замѣчу, кстати, вотъ что: если все это такъ, то отсюда выясняется и задача критики. Что для нея важнѣе опредѣлить: куда художникъ «попалъ» или куда онъ «хотѣлъ попасть»?

Конечно, важно и то и другое, и нельзя пройти мимо вопроса, что хотѣлъ сказать художникъ въ своемъ произведеніи; но безконечно важнѣе другая задача критики — опредѣлить не то, что хотѣлъ сказать художникъ, а то, что онъ сказалъ и высказалъ, быть можетъ, самъ того не подозрѣвая, не сознавая.

Темная область — психологія творчества; но во всякомъ случаѣ въ ней твердо установленъ одинъ существенный фактъ: въ процессѣ всякаго художественнаго творчества сознательное *я* часто ввѣряетъ себя руководству подсознательныхъ элементовъ. Я даже такъ скажу: быть можетъ, чѣмъ больше вліяніе этихъ подсознательныхъ элементовъ, тѣмъ больше художественная и всякая иная значимость произведенія. Не подумайте, что я собираюсь воскресить старую романтическую теорію поэтическаго «экстаза», «вдохновенія», при которомъ художникъ сразу начисто пишетъ подъ диктовку свыше и не въ правѣ перемѣнить ни одного слова въ написанномъ, иначе-де это будетъ «мертвая рефлексія». Конечно, нѣтъ. «Творчество» состоитъ далеко не въ одномъ бряцаніи разсѣянной рукой по лирѣ, но и въ мучительномъ трудѣ воплощенія образовъ въ слово: «и слово плоть бысть»... Вспомните черновыя тетради Пушкина. Все это такъ. Но вотъ яркій примѣръ объяснитъ мою мысль: Толстой. Толстой, безпощадно марающій и десятокъ разъ передѣлывающій свои произведенія, съ удивленіемъ признаетъ въ своемъ творчествѣ власть этихъ непроизвольныхъ, подсознательныхъ элементовъ. Письма, дневникъ, замѣтки Толстого шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ—что за матеріалъ для пониманія «творчества»! Напомню его удивительное письмо къ Страхову (26 апр. 1876 г.), въ разгаръ работы надъ «Анной Карениной». Толстой пишетъ: «...каждая мысль, выраженная словами особо, теряетъ свой смыслъ, страшно понижается, когда берется одна и безъ того сцѣпленія, въ которомъ она находится. Само же сцѣпленіе составлено не мыслью (я думаю), а чѣмъ-то другимъ, и выразить основу этого сцѣпленія непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно—словами описывая образы, дѣйствія, положенія... Меня занимало это послѣднее время. Одно изъ очевиднѣйшихъ доказательствъ этого было для меня самоубійство Вронскаго...; этого никогда со мной такъ ясно

не бывало. Глава о томъ, какъ Вронскій принялъ свою роль послѣ свиданія съ мужемъ, была у меня давно написана. Я сталъ поправлять, и совершенно для меня неожиданно, но несомнѣнно, Вронскій сталъ стрѣляться. Теперь же для дальнѣйшаго оказывается, что это было органически необходимо»...

Вы видите: Толстой—«шелъ въ комнату, попалъ въ другую». Весь этотъ эпизодъ безконечно цѣненъ, крайне характеренъ, но все-таки это сравнительно мелочь, деталь произведенія. Возьмите шире: примѣните ко всему роману то, что авторъ говоритъ объ одномъ эпизодѣ; возьмите глубже: отнесите къ философской сущности произведенія то, что авторъ говоритъ о его фабулѣ—и вы увидите, что всякій большой художникъ не можетъ не «попасть въ другую комнату», иногда сознавая, иногда не сознавая этого. Думалъ-ли Пушкинъ о глубокомъ философскомъ смыслѣ своего «Евгенія Онѣгина»? Всегда-ли сознавалъ Достоевскій, до какихъ глубинъ онъ доходилъ? Но лучшій примѣръ—опять-таки Толстой: онъ не только не сознавалъ, онъ даже отрицалъ глубочайшій философскій и религіозный смыслъ двухъ своихъ романовъ—«Войны и Мира» и «Анны Карениной». Какъ понималъ Толстой эту свою грандіозную эпопею? Онъ считалъ, что эти романы отвѣчаютъ только на вопросъ «какъ жить?», и обходятъ молчаніемъ вопросъ «зачѣмъ жить?»; онъ считалъ, что, потерявъ въ сороковыхъ годахъ вѣру въ Бога, а въ пятидесятыхъ—вѣру въ человѣчество, онъ остался совершенно безъ руля и безъ вѣтрилъ и безпомощно повисъ въ пространствѣ, какъ гробъ Магомета; тогда-то и были написаны «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Неужели же это такъ? Неужели два великихъ произведенія міровой литературы написаны въ періодъ духовной и идейной безпомощности автора? Одно изъ двухъ: или литература, въ такомъ случаѣ, есть дѣйствительно пустая забава, дѣтская побрякушка, «граціозная ненужность», по выраженію самого же Толстого послѣднихъ лѣтъ; или Толстой ошибался, считая себя въ эпоху «Войны и Мира» и «Анны Карениной» совершенно лишеннымъ всякихъ запросовъ о цѣли бытія. Къ счастію для насъ и для него, онъ ошибался и въ томъ и въ другомъ случаѣ: «шелъ въ комнату, попалъ въ другую»... Цѣльная и глубокая философія, яркая религія жизни видна на каждой страницѣ этихъ

романовъ, совершенно независимо отъ воли и намѣренія ихъ автора. Онъ «хотѣлъ сказать» въ нихъ только то, «что для меня было единой истиной, — говоритъ онъ:—что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше...» Только это онъ «хотѣлъ сказать», а надо-ли говорить, что̀ дѣйствительно «сказалъ» онъ этими романами! И не правъ-ли я: какое неумѣніе, какое безсиліе сказать только то, что было задумано! Великій художникъ (да и всякій истинный художникъ) бьетъ всегда мимо цѣли и дальше цѣли; пусть это парадоксъ, но въ этомъ парадоксѣ—истина: въ немъ неизбѣжное свойство всякаго истиннаго творчества.

Возвращаюсь снова къ критикѣ и ея задачамъ. Повторяю, главная задача критика—опредѣлить, куда «попалъ» художникъ, а вовсе не куда онъ «хотѣлъ попасть». Конечно, и съ литературными Молчалиными бываетъ, что они попадаютъ, съ позволенія сказать, пальцемъ въ небо; но и въ такомъ случаѣ, разъ критика почему-либо занялась этимъ явленіемъ, — ея главная задача остается прежней: указать, куда мѣтилъ авторъ, и вскрыть, куда онъ попалъ. Пусть окажется, что безталанный авторъ—простите за вульгарность—«цѣлилъ въ ворону, а попалъ въ корову», или наоборотъ,—задачей критики и является показать это. Но это только черная работа, неизбѣжная для подневольнаго критика: кому охота по доброй волѣ раскапывать задній дворъ литературы? Иногда эта работа необходима, но эта работа отрицательнаго характера. Критика отдыхаетъ и дышитъ полной грудью, обращаясь къ истинному творчеству; но и тутъ ея задача по существу не мѣняется: надо вскрыть, не что хотѣлъ сказать, а что сказалъ художникъ въ своемъ произведеніи, что сказалось въ его цѣломъ. Всякая бываетъ критика—эстетическая, психологическая, общественная, соціологическая, этическая; и каждая изъ нихъ необходима въ процессѣ работы критика. Есть произведенія, къ которымъ достаточно приложить только одинъ изъ этихъ критеріевъ; но попробуйте ограничиться эстетической или психологической критикой, изучая «Короля Лира» или «Фауста»! Вотъ почему философская, въ широкомъ смыслѣ, критика только одна можетъ считаться достаточно общей точкой зрѣнія. Опредѣлить «паѳосъ», опредѣлить «философію», чаще всего безсознательную, художника и его произведенія,

опредѣлить, что имъ «сказалось», а не «говорилось»—вотъ, повторяю, главная задача критики; внѣ ея—критика либо «граціозная ненужность» (есть и такая), либо только накопленіе матеріаловъ для будущаго зданія философской критики. Опять напомню слова Толстого изъ того же письма: «нужны люди,—говоритъ онъ,—которые бы показывали безсмыслицу отыскиванія отдѣльныхъ мыслей въ художественномъ произведеніи и постоянно руководили бы читателей въ томъ безконечномъ лабиринтѣ сцѣпленій, въ которомъ и состоитъ сущность искусства»... А для этого критика должна вскрыть внутренній смыслъ художественнаго произведенія, должна разобраться въ тѣхъ безсознательныхъ или подсознательныхъ элементахъ творчества, которые иногда даютъ окраску всему творчеству художника.

Итакъ, скажете вы, критикъ всегда, подобно Гамлету, долженъ «вести подкопъ аршиномъ глубже» художника? Глубже «Войны и Мира», глубже «Братьевъ Карамазовыхъ»? О, конечно, нѣтъ—иначе критика была бы невозможна. Но задача критики — осознать неосознанное художникомъ и вскрыть тотъ «подкопъ», которымъ шелъ художникъ, ту подсознательную почву, на которой онъ строилъ. Когда Толстой писалъ и печаталъ «Анну Каренину», а безчисленные фельетонисты - критики à qui mieu mieu истолковывали смыслъ его произведенія, то Толстой иронически отозвался о нихъ: «ils en savent plus long que moi». Конечно, все дѣло въ талантѣ критика; но знаете-ли что? Мнѣ думается, что въ этой фразѣ Толстого ярко сформулирована вся задача критики: критика всегда должна savoir plus long, чѣмъ самый геніальный художникъ. Творческая интуиція художника подсознательна; критическій анализъ выявляетъ ее, ясно видитъ невидимое художнику; истинный критикъ долженъ savoir plus long, чѣмъ художникъ, иначе его «критика» не заслуживаетъ этого имени.

Все это только подтверждаетъ ту старую мысль, что истинная критика въ концѣ концовъ неотдѣлима отъ того произведенія, которому посвящена. И тутъ опять мнѣ припоминается все та-же крылатая фраза:

Шелъ въ комнату, попалъ въ другую...
— Попалъ, или хотѣлъ попасть?
Да вмѣстѣ вы зачѣмъ? Нельзя, чтобы случайно...

Да, не случайно (по выраженію Аполлона Григорьева) критика Бѣлинскаго плющемъ обвилась вокругъ именъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя... Не случайно художникъ высказываетъ не то, что «хотѣлъ сказать»; не случайно критикъ оказывается вмѣстѣ съ нимъ и вскрываетъ подсознательную почву, философскую и религіозную основу художественнаго творчества: не случайно — такъ какъ это обусловлено строго необходимой «созвучностью» этого критика и этого художника.

И потому — сама «критика» неизбѣжно есть «творчество»...

Талантливое сочинительство.

(Еще о Л. Андреевѣ).

На творчествѣ Леонида Андреева мнѣ приходилось уже останавливаться подробно (въ книгѣ „О смыслѣ жизни"), и если я возвращаюсь къ нему въ этомъ этюдѣ, то лишь для того, чтобы поставить точку надъ і, чтобы на разборѣ одного разсказа — „Моихъ записокъ" — показать характерныя черты творчества и міропониманія этого писателя [1]).

1.

„Мои записки" являются новымъ подтвержденіемъ стараго мнѣнія о Л. Андреевѣ: большой талантъ, но грубый. Я не хочу этимъ сказать, чтобы талантъ Л. Андреева можно было уподобить голосу одного изъ дѣйствующихъ лицъ чеховской „Чайки", у котораго былъ „голосъ сильный, но противный", — нѣтъ, мнѣ скорѣе вспоминаются извѣстныя слова Бѣлинскаго о Некрасовѣ: „что за талантъ у этого человѣка и что за топоръ его талантъ!" Дѣйствительно, талантъ, большой талантъ, но что за топоръ этотъ талантъ! И какъ рѣзко бросается въ глаза эта „топорность" таланта Л. Андреева по сравненію съ тонкимъ и острымъ талантомъ его предшественника, Чехова, если ужъ къ слову пришлось вспомнить это имя! Взять хотя-бы ту тему, которая всю жизнь терзала Чехова, а теперь мучаетъ Л. Андреева: *ужасъ безцѣльности*. Чеховъ беретъ обыденную жизнь, обыденныхъ людей; просто и обыденно, повидимому,

[1]) Часть настоящаго этюда вошла впослѣдствіи во второе изданіе книги „О смыслѣ жизни".

описываетъ онъ какого-нибудь „Учителя словесности“ или «Іоныча», и въ результатѣ читатель чувствуетъ тотъ ужасъ безцѣльности, ужасъ безнадежности, который самъ собою вытекаетъ изъ разсказа. Правда, простота техники Чехова— только видимая, обманчивая; недаромъ самъ Л. Толстой долго не могъ понять техники чеховскаго письма, а когда понялъ, то пришелъ въ восторгъ. Л. Андреевъ, наоборотъ, сложенъ; но сложность эта часто настолько же обманчива, какъ и чеховская простота. Часто Л. Андреевъ громоздитъ Оссу на Пеліонъ, тревожитъ Бога и Дьявола, Время и Смерть, и все для того, чтобы убѣдить себя и насъ въ томъ самомъ ужасѣ безцѣльности, который Чеховъ вскрывалъ передъ нами такъ просто, такъ легко... И если бы эстетика зиждилась только на принципѣ экономіи силъ, то критика должна была бы вынести Л. Андрееву безусловно обвинительный приговоръ... Но не въ одной экономіи силъ тутъ дѣло; и грубый, «топорный» талантъ Л. Андреева является настолько большимъ талантомъ, что по справедливости далъ своему носителю первое мѣсто въ исторіи русской литературы перваго десятилѣтія нашего вѣка.

„Ужасъ безцѣльности“ — такова основная тема произведеній Л. Андреева; такова тема и „Моихъ записокъ“. Разсказъ этотъ, — какъ и многія другія произведенія этого автора,—несомнѣнно есть произведеніе à thèse. Л. Андреевъ хочетъ доказать, что міръ безцѣленъ, что жизнь безсмысленна или, по крайней мѣрѣ, неосмысленна, что нѣтъ цѣлесообразности въ мірѣ, нѣтъ смысла въ жизни. Это онъ доказывалъ себѣ и намъ еще въ „Жизни человѣка“ путемъ прямого демонстрированія всей человѣческой жизни, отъ рожденія до могилы; теперь въ „Моихъ запискахъ“ онъ доказываетъ намъ это же самое путемъ своеобразнаго „доказательства отъ противнаго“. Раньше Л. Андреевъ говорилъ намъ, что міръ есть тюрьма («тюремная канцелярія»), что въ немъ нѣтъ цѣлесообразности, что въ жизни нѣтъ объективнаго смысла; теперь онъ выводитъ передъ нами автора «Моихъ записокъ»—человѣка, десятилѣтія сидящаго въ тюрьмѣ и пришедшаго тамъ къ убѣжденію о великой цѣлесообразности міра, о великомъ законѣ, управляющемъ человѣческой жизнью... Ядовитая иронія этой аллегоріи слишкомъ бросается въ глаза съ первыхъ же страницъ разсказа.

«Единственная цѣль, какою руководился я при составленіи моихъ скромныхъ Записокъ,— пишетъ ихъ безымянный авторъ,—это—показать моему благосклонному читателю, какъ при самыхъ тягостныхъ условіяхъ, гдѣ не остается казалось бы, мѣста ни надеждѣ, ни жизни, человѣкъ, существо высшаго порядка, обладающее и разумомъ, и волей, находитъ то и другое. Я хочу показать, какъ человѣкъ, осужденный на смерть, свободными глазами взглянулъ на міръ сквозь рѣшетчатое окно своей темницы и открылъ въ мірѣ великую цѣлесообразность, гармонію и красоту»...

Еще не зная дальнѣйшаго развитія разсказа, но хорошо зная основные мотивы творчества Л. Андреева, читатель сразу видитъ, что «сатира и мораль — смыслъ этого всего». Такъ оно и есть.

2.

Начать съ того: кому поручилъ Л. Андреевъ роль „advocati Dei“, кто является борцомъ за цѣлесообразность, гармонію и красоту міра, кто безымянный авторъ „Моихъ записокъ“? Этотъ человѣкъ—воплощенная ложь: онъ лжетъ другимъ, лжетъ самому себѣ, лжетъ въ каждомъ словѣ, каждой мысли, лжетъ даже во снѣ, заставляя себя улыбаться въ то время, когда душа его во власти страшнаго кошмара. И если дьяволъ есть „ложь и отецъ лжи“, то авторъ „Записокъ“—истинный „advocatus diaboli“, старающійся надѣть на себя личину «advocati Dei». У него лжетъ не слово,—у него лжетъ самая мысль; одаренный громадной силой воли, онъ ломаетъ и гнетъ себя, принимая тотъ міръ, безсмысленность котораго ясна и для него. «Зачѣмъ вы лжете, дѣдушка?»—спрашиваетъ его сидящій рядомъ съ нимъ въ тюрьмѣ художникъ. «Я лгу?!»—«Ну, какъ хотите, ну, пусть правду, но только зачѣмъ? Я вотъ смотрю и думаю: Зачѣмъ? Зачѣмъ?». «Читатель, хорошо знающій, чего стоила мнѣ правда,—подчеркиваетъ авторъ «Записокъ»,—пойметъ мое негодованіе»... Еще бы! Вѣдь этотъ человѣкъ десятки лѣтъ ломалъ себя и лгалъ себѣ «во имя великаго принципа цѣлесообразности, гармоніи и красоты», и вдругъ ему въ упоръ говорятъ объ его лжи, хотятъ сдернуть повязку съ его

глазъ. Зачѣмъ онъ лжетъ? Затѣмъ, что ему хочется жить («Я долженъ жить», — подчеркиваетъ онъ), а для этого онъ долженъ хоть обманомъ, хоть ложью убѣдить себя и другихъ въ осмысленности, въ цѣлесообразности существованія. Онъ въ этомъ отчасти и успѣлъ: у него есть послѣдователи, его зовутъ «Учителемъ», чуть ли не святымъ, ибо, даже сидя въ тюрьмѣ, онъ съ паѳосомъ учитъ о великой цѣлесообразности тюрьмы. И самъ онъ въ концѣ-концовъ понимаетъ въ чемъ дѣло: «Если находится,—говоритъ онъ,—такой талантливый актеръ, что умѣетъ совершенно стереть границу между правдой и обманомъ, такъ что даже и они (люди) начинаютъ вѣрить, они въ восторгѣ называютъ его великимъ»...

Такъ стираетъ границу между правдой и ложью авторъ «Записокъ». Онъ присужденъ къ смертной казни, замѣненной вѣчной тюрьмой, за звѣрское убійство своего отца, брата и сестры. Онъ утверждаетъ, что не совершалъ этого убійства, но читателю чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе, что онъ лжетъ, что онъ убійца; въ концѣ-концовъ это признаніе чуть-чуть не срывается съ его устъ. Онъ,—шестидесятилѣтній старикъ,—уже помилованъ, его выпустили изъ тюрьмы; къ нему приходитъ его бывшая невѣста, вышедшая замужъ за другого, и между ними происходитъ дикая сцена ревности, любви и страсти, запоздавшей на тридцать лѣтъ «...Всѣ предали тебя,—безумно кричитъ его бывшая невѣста,—и только я одна твердила: Онъ невиненъ!» И точно оглушенный, въ припадкѣ дикаго и непонятнаго восторга, онъ кричитъ ей въ отвѣтъ: «Молчи! Я...». Я—убійца, хочетъ онъ сказать, но она его перебиваетъ, и признаніе остается невысказаннымъ, но слишкомъ явнымъ для читателя. Къ слову сказать, это постепенное выясненіе истины передъ глазами читателя Л. Андреевъ производитъ удивительно выдержанно, послѣдовательно и искусно.

3.

Итакъ, передъ нами въ началѣ разсказа—убійца, обреченный на пожизненное тюремное заключеніе; онъ одинъ въ своей одиночной камерѣ. Тюрьма для него теперь—міръ, за предѣлы котораго онъ не властенъ проникнуть (точно такъ же, какъ для всѣхъ насъ міръ, по убѣжденію Л. Андреева,

есть тюрьма, изъ-за стѣнъ которой намъ нѣтъ выхода). Ему тридцать лѣтъ; долгіе и томительные годы и десятилѣтія ему предстоитъ прожить въ этомъ каменномъ мѣшкѣ. И сначала онъ бьется головой о стѣны, онъ испытываетъ «ужасъ безнадежности», онъ проклинаетъ міръ и жизнь, онъ признаетъ ихъ «одной огромной несправедливостью, насмѣшкой и глумленіемъ», онъ приходитъ «къ полному отрицанію жизни и ея великаго смысла». Если такое настроеніе у человѣка, живущаго въ мірѣ-тюрьмѣ, продолжается, ему остается только одно: умереть. Но противъ этого возстаетъ въ человѣкѣ та «центростремительная сила» жизни, о которой говорилъ еще Иванъ Карамазовъ. Жить хочется, хотя бы весь міръ и былъ тюрьмой, хотя бы тюрьма была міромъ; жить надо. «Я долженъ жить»,—настойчиво подчеркиваетъ авторъ «Записокъ». А для того, чтобы жить, надо убѣдить себя въ осмысленности безсмыслицы, въ цѣлесообразности хаоса; легче всего сдѣлать это, придя къ тому обобщающему объективизму, который ставитъ высоко надъ человѣкомъ тотъ или иной законъ, а человѣка низводитъ до степени quantité négligeable: таковъ, напримѣръ, у Л. Андреева возвышенный пантеистъ-астрономъ (въ драмѣ «Къ звѣздамъ») съ его слѣпой вѣрой въ желѣзный законъ, управляющій Вселенной. Къ подобной же вѣрѣ, хотя и безъ пантеистическихъ настроеній, приходитъ авторъ «Записокъ». «Развѣ нѣтъ красоты,—пишетъ онъ,—въ суровой правдѣ жизни, въ мощномъ дѣйствіи ея непреложныхъ законовъ, съ великимъ безпристрастіемъ подчиняющихъ себѣ какъ движеніе небесныхъ свѣтилъ, такъ и безпокойное сцѣпленіе тѣхъ крохотныхъ существъ, что именуются людьми?».

Такъ найдена и установлена красота нашего міра-тюрьмы; теперь уже нетрудно увидѣть въ немъ и гармонію, и цѣлесообразность... Дѣйствительно, обратите фокусъ вашего вниманія не на отдѣльныхъ людей, страдающихъ и погибающихъ, а на все прогрессирующее человѣчество, и вы убѣдитесь въ гармоніи нашего міра... «Человѣчество безсмертно, не подвержено болѣзнямъ и въ гармоничномъ цѣломъ своемъ несомнѣнно движется къ совершенству»... А то, что красиво и гармонично, то, разумѣется, и цѣлесообразно: «откинувъ все личное, вглядываясь въ окружающее холоднымъ и зоркимъ взглядомъ наблюдателя, я вскорѣ пришелъ къ чрез-

вычайно цѣнному выводу, что и вся наша тюрьма построена по крайне цѣлесообразному плану, вызывающему восторгъ своею законченностью»,— пишетъ и подчеркиваетъ авторъ «Записокъ».

Нельзя отказать Л. Андрееву въ силѣ сарказма и въ ядовитости этой концепціи, этого своеобразнаго reductio ad absurdum взгляда господъ объективистовъ: вы убѣждаете меня, господа, что міръ цѣлесообразенъ, что жизнь объективно осмысленна, а я докажу вамъ, что и тюрьма есть верхъ осмысленности и цѣлесообразія... Эта концепція приводитъ мнѣ на память одну изъ картинъ талантливаго М. Добужинскаго; картина называется «Дьяволъ», но могла бы быть названа и «Смыслъ жизни». На ней изображена громадная тюремная камера съ высокими и узкими окнами съ желѣзной рѣшеткой; на далекомъ небѣ ярко горятъ звѣзды. Посрединѣ камеры стоитъ колоссальный паукъ, грузно опустивъ свое мохнатое тѣло на десять суставчатыхъ лапъ; у него человѣческое лицо, закрытое маской, изъ-за которой свѣтятся только узкіе прорѣзы огненныхъ глазъ; вокругъ головы—сіяніе. А внизу, на каменномъ полу, между широко раздвинутыми липкими лапами паука, въ покорномъ оцѣпенѣніи движется безконечнымъ кольцомъ толпа людей... Это—міръ, это — жизнь, это — смыслъ жизни... И одинъ изъ этой толпы, авторъ «Записокъ», двигаясь между лапами паука, проповѣдуетъ въ то же время окружающимъ о великой цѣлесообразности этой тюрьмы: онъ хочетъ быть advocatus Dei и является advocatus diaboli...

4.

Я не буду слѣдить, какъ доказываетъ свои мысли авторъ «Записокъ»; да впрочемъ онъ ихъ не доказываетъ, какъ не доказываютъ ихъ и всѣ объективисты: это — область вѣры, гдѣ доказательства излишни и невозможны. «Цѣлесообразность тюрьмы», это—его вѣра; безъ этой вѣры ему нечѣмъ было бы жить; эта вѣра спасаетъ его отъ ужаса безцѣльности и ужаса безнадежности. Вѣдь именно этотъ ужасъ томилъ его душу. «Велика Твоя Голгоѳа, Іисусъ,—говоритъ авторъ «Записокъ», обращаясь къ распятію, — но слишкомъ

почтенна и радостна она, и нѣтъ въ ней одного маленькаго, но очень характернаго штришка: ужаса безцѣльности!» Этотъ ужасъ преодолѣвается вѣрой въ высшую цѣлесообразность; безсмысленно двигаясь по кругу своей тюрьмы между чудовищными лапами паука, человѣкъ тѣшитъ себя вѣрой въ объективную осмысленность жизни. «Я перевернулъ міръ!—восклицаетъ авторъ «Записокъ».—Моей душѣ я придалъ ту форму, какую пожелала моя мысль; въ пустынѣ, работая одинъ, изнемогая отъ усталости, я воздвигъ стройное зданіе, въ которомъ живу нынѣ радостно и покойно, какъ царь. Разрушьте его,—и завтра же я начну новое и, обливаясь кровавымъ потомъ, построю его! Ибо я долженъ жить».

Онъ хочетъ жить, потому-то и лжетъ онъ и другимъ, и самому себѣ; потому-то и цѣпляется онъ такъ за свою теорію, когда ее нарушаетъ жизнь. Все гармонично, все цѣлесообразно, но вотъ приходитъ къ нему, старику, выпущенному изъ тюрьмы, его бывшая невѣста, тоже уже старуха; начинается сцена любви, ревности, страсти между стариками... Это до такой степени нелѣпо, что никакая теорія объективной цѣлесообразности не выдержитъ такого испытанія... «Подъ ногами моими раскрылась бездна, — пишетъ авторъ «Записокъ», — все шаталось, все падало, все становилось безсмыслицей»... Но человѣческая вѣра живуча, и черезъ немного времени авторъ «Записокъ» снова возвращаетъ своему поколебленному міросозерцанію «всю его былую стройность и желѣзную непреодолимую крѣпость». Все цѣлесообразно, все осмысленно,—но вотъ кончаетъ въ тюрьмѣ самоубійствомъ его товарищъ по заключенію, художникъ, и снова хаосъ торжествуетъ надъ цѣлесообразностью: зачѣмъ лгать, зачѣмъ строить, обливаясь потомъ, тяжелое зданіе теоріи объективной цѣлесообразности, разъ можно такъ легко побѣдить и стѣны и замокъ, правду и ложь, случайныя радости и безсмысленныя страданія? Но и на это авторъ «Записокъ» находитъ отвѣтъ: «Мой дорогой юноша,— мысленно обращается онъ къ самоубійцѣ, — мой очаровательный глупецъ, мой восхитительный безумецъ, кто сказалъ вамъ, что наша тюрьма кончается здѣсь, что изъ одной тюрьмы вы не попали въ другую, откуда ужъ едва ли придется вамъ бѣжать?..» И даже загробный міръ

онъ склоненъ представлять себѣ въ видѣ величественной тюрьмы, гдѣ есть и г. Главный Начальникъ тюрьмы, и прекрасные тюремщики съ бѣлыми крыльями за спиной. Вѣдь надъ всѣмъ равно царствуетъ общій великій законъ,—«священная формула желѣзной рѣшетки»,—великое начало причинности и объективной цѣлесообразности... Одно только огорчаетъ немного автора «Записокъ»,—то, что онъ не могъ узнать имени строителя тюрьмы: «Такъ неблагодарна память у лучшихъ людей! Впрочемъ,—утѣшаетъ онъ себя и насъ,— анонимность въ строеніи нашей тюрьмы нисколько не мѣшаетъ ея солидности и не уменьшаетъ нашей благодарности къ неизвѣстному творцу». Эта парѳянская стрѣла, — быть-можетъ одна изъ самыхъ удачныхъ во всемъ разсказѣ Л. Андреева.

Мы подошли къ концу разсказа; конецъ заключается въ томъ, что авторъ „Записокъ“ снова и добровольно устраиваетъ самъ для себя одиночное заключеніе, въ которомъ останется до смерти; въ этой заключительной главѣ передъ нами мотивъ одиночества, столь частый у Л. Андреева. Жизнь не оправдала той обобщающей теоріи міровой цѣлесообразности, которую построилъ себѣ авторъ „Записокъ“; вѣдь въ жизни такъ много случайнаго, нелѣпаго, безсмысленнаго! Факты не вмѣстились въ узкую теорію—тѣмъ хуже для фактовъ! Жизнь не вошла въ рамки искусственной схемы, не вылилась въ „формулу желѣзной рѣшетки“—да будетъ проклята жизнь! И авторъ „Записокъ“ отряхаетъ прахъ отъ ногъ своихъ; онъ не хочетъ жить вмѣстѣ съ людьми, «въ общей камерѣ для мошенниковъ»; онъ создаетъ себѣ снова одиночное заключеніе, чтобы спасти свою теорію, чтобы имѣть возможность жить. И тамъ, въ своей добровольной тюрьмѣ, онъ, несознавшійся убійца своего отца, будетъ твердо ждать смерти, готовый явиться на Страшный судъ, чтобы отстаивать тамъ свои права. Вѣдь все на свѣтѣ разумно, все цѣлесообразно, а значитъ передъ взоромъ Великаго Разума все должно найти себѣ оправданіе, все,— даже самое нелѣпое, самое безумное, даже звѣрское убійство отца сыномъ... «И если на Страшномъ судѣ я не встрѣчу справедливости,—заканчиваетъ авторъ „Записокъ“,—то терпѣливо и покорно, въ безграничности временъ, я буду ждать новаго, Страшнѣйшаго суда“...

5.

Мы пришли къ концу и теперь можемъ подвести итоги, убѣдиться, насколько удалось или не удалось Л. Андрееву рѣшеніе поставленной имъ себѣ задачи. «Сатира и мораль—смыслъ этого всего»,—да, конечно; но настолько удалась эта «сатира», настолько ясна «мораль»? Разсказъ, несомнѣнно, очень удался Л. Андрееву; онъ выдержанъ и написанъ съ большой тонкостью исполненія, столь странно иногда сочетающейся у него съ «топорностью» замысловъ; но убѣдительно ли это для инако вѣрующихъ? Вѣра въ объективную осмысленность жизни неуничтожима въ извѣстной части человѣчества,—ее не уничтожишь никакими доказательствами отъ противнаго. Но вѣдь цѣль художественнаго произведенія не заключается въ доказательствѣ той или иной отвлеченной мысли; это только анектодическій и, повидимому, не очень умный математикъ могъ спросить, прослушавъ симфонію: «Что она доказываетъ?» Новый разсказъ Л. Андреева ничего не доказываетъ; онъ только показываетъ, что Л. Андреевъ еще больше укрѣпился на своей прежней точкѣ зрѣнія,—на убѣжденіи въ объективной безсмысленности жизни. Этимъ однако онъ еще не отвѣтилъ на другой неизбѣжный вопросъ: не имѣетъ ли зато жизнь внутренней, субъективной осмысленности? Если нѣтъ,—покажите намъ это художественнымъ творчествомъ; если да,—признайте это открыто. Но въ томъ-то и дѣло, что Л. Андреевъ твердо убѣжденъ въ объективной безсмысленности жизни и нерѣшительно колеблется въ вопросѣ объ ея субъективной осмысленности; въ другомъ мѣстѣ я говорилъ объ этомъ достаточно подробно (см. книгу «О смыслѣ жизни»).

Но вотъ послѣдній вопросъ: убѣдительно ли доказывать путемъ reductionis ad absurdum мысль объ объективной безсмысленности бытія, вкладывая противоположную идею въ такого человѣка, какъ авторъ «Записокъ»? Я думаю, что неубѣдительно, т. е., иными словами, «сатира» на лицо, но «морали» не имѣется (я разумѣю «мораль», конечно, не въ смыслѣ fabula docet). Хотя авторъ «Записокъ» и является благодаря омерзѣнію, которое онъ мало-по-малу вызываетъ

въ читателѣ, «адвокатомъ дьявола» тамъ, гдѣ онъ пытается быть «адвокатомъ Бога», однако его постоянная колоссальная ложь до такой степени стираетъ границы между тѣмъ, что было, и тѣмъ, чего не было, что возможны самые неожиданные эффекты въ умахъ читателей, весьма нежелательные для настоящаго автора „Моихъ записокъ“,— Л. Андреева. Перечитывая разсказъ вторично, знакомые уже съ духовнымъ обликомъ ихъ безымяннаго автора, мы не можемъ вѣрить ни одному его слову. «Я очень много лгалъ въ этихъ моихъ Запискахъ»,—признается въ концѣ-концовъ ихъ авторъ; а у насъ невольно шевелится мысль: да, можетъ-быть, онъ все лгалъ, отъ начала до конца? Онъ говоритъ о своихъ послѣдователяхъ? Ихъ никогда не было у него, это—ложь. Онъ говоритъ, что его восхваляли и звали учителемъ? Это—ложь! Онъ говоритъ, что не онъ убійца? Ложь! Но кто-то убилъ его отца? И это—ложь! «Ничего не было! И кареты не было!», какъ «съ наслажденіемъ» кричитъ Настя барону въ горьковскомъ «Днѣ». Да, ничего этого не было, никто никого не убивалъ, никто не сидѣлъ въ тюрьмѣ, никто не писалъ этихъ „Записокъ“,—все это «про неправду написано»... Просто сидѣлъ человѣкъ въ своемъ кабинетѣ,—сидѣлъ, надумывалъ и надумалъ этотъ способъ reductionis ad absurdum несимпатичнаго ему убѣжденія... Иначе говоря, все это—талантливое сочинительство, не создающее намъ живыхъ образовъ и типовъ, а временно придающее видъ жизни восковымъ фигурамъ, ходячимъ символамъ и аллегоріямъ. Такъ можетъ, пожалуй, вопреки всѣмъ намѣреніямъ автора, подумать читатель, и неужели же онъ будетъ неправъ? Врядъ ли къ такому эффекту стремился Л. Андреевъ, когда писалъ этотъ свой разсказъ...

Въ этомъ — постоянный слабый пунктъ творчества Л. Андреева. «Онъ пугаетъ, а намъ не страшно»,—какъ геніально опредѣлилъ его Л. Толстой; а вотъ Чеховъ не старался пугать, но отъ его разсказовъ всегда становилось страшно... И если бы не громадный талантъ Л. Андреева, то не помогли бы ему никакія колоссальныя схемы, никакія громожденія Оссы на Пеліонъ. Но талантъ, большой талантъ—на-лицо, а талантъ, въ конечномъ счетѣ, всегда правъ.

1908 г.

Еще о смыслѣ жизни.

I.

Вѣчная въ своей повторяемости жизнь человѣческая, вѣчное разрушеніе стараго, вѣчное созиданіе новаго изъ разрушенныхъ обломковъ—имѣетъ ли этотъ безконечный процессъ какую-нибудь конечную объективную цѣль?

Три главныхъ отвѣта даются на этотъ вопросъ вотъ уже сотни и тысячи лѣтъ. Всего три отвѣта, всего три пути—не значитъ ли это, что всѣмъ намъ суждено только дословно повторять сказанное тысячи лѣтъ тому назадъ? Конечно, нѣтъ: семь тоновъ гаммы, три основныхъ спектральныхъ цвѣта—даютъ намъ безконечныя средства для новаго проявленія художественнаго творчества. Такъ и три отвѣта на вопросъ о смыслѣ жизни человѣка и человѣчества даютъ намъ только формы, въ которыя будетъ вкладываться вѣчно новое содержаніе творчества философскаго и религіознаго.

Богъ, Человѣчество, Человѣкъ—вотъ эти три отвѣта, три пути. Цѣль историческаго процесса есть Богъ, говорятъ мистики-объективисты; исторія имѣетъ великій трансцедентный смыслъ, великое божественное значеніе; Богъ незримо ведетъ человѣчество къ совершенію Своего предначальнаго и божественнаго замысла, постепенное осуществленіе котораго и является смысломъ исторіи. Цѣлью историческаго процесса является Человѣчество, говорятъ позитивисты-объективисты,—земное устроеніе его; исторія имѣетъ трансцендентный смыслъ лишь по отношенію къ человѣку, но имманентный—по отношенію къ Человѣчеству, которое идетъ къ ясной объективной конечной цѣли, къ блаженной жизни въ будущемъ золотомъ вѣкѣ. Цѣль историческаго процесса лежитъ въ Человѣкѣ,—говорятъ „имма-

нентные субъективисты" (которые могутъ быть и мистиками и позитивистами, но не могутъ только мириться съ объективно-трансцендентной цѣлью, лежащею внѣ человѣка); исторія не имѣетъ никакого объективнаго смысла, но мы сами вкладываемъ въ нее великій субъективный смыслъ, имманентный по отношенію ко всякому человѣку, который и является самоцѣлью.

Развитію послѣдняго ряда мыслей посвящена наша книга „О смыслѣ жизни"; настоящая статья является ея дополненіемъ и продолженіемъ. Кое-что автору хотѣлось вновь доказать, кое-что досказать, другое дополнить, иное подчеркнуть. Но, конечно, тема эта настолько обширна, что въ цѣлыхъ книгахъ можно затронуть только уголокъ ея.

II.

Объективнаго смысла, объективной цѣли жизни человѣка и человѣчества нѣтъ; этотъ смыслъ вкладываемъ въ жизнь мы сами. Шопенгауеръ замѣчаетъ, что цѣлесообразность и осмысленность, которыя мы склонны видѣть въ событіяхъ нашей жизни, похожи на тѣ человѣческія фигуры и группы, которыя мы видимъ, смотря на облака или на запачканную сыростью стѣну. Мы сами вносимъ осмысленную связь въ пятна и формы, созданныя случайностью, а затѣмъ удивляемся премудрости Бога, предустановленной гармоніи и міровому порядку, не подозрѣвая, что эта гармонія и этотъ порядокъ лежатъ не внѣ насъ, а въ насъ самихъ. Кантовская теорія субъективизма естественной цѣлесообразности никѣмъ не была до сихъ поръ не то что опровергнута, но даже и поколеблена.

Джемсъ (въ своей книгѣ „Разнообразіе религіознаго опыта") замѣчаетъ, что если я брошу на столъ тысячу зеренъ, то буду въ состояніи построить изъ нихъ любую геометрическую фигуру: стоитъ только убрать нѣкоторыя зерна, не трогая остальныхъ. Эту работу можно продѣлать и мысленно: глазъ человѣка послушенъ его воображенію. Этотъ столъ—внѣшній міръ, эти зерна на немъ—факты нашей жизни, которые мы только и умѣемъ комбинировать въ правильныя фигуры, руководствуясь регулятивнымъ принци-

помъ цѣлесообразности. То, что лежитъ внѣ этихъ линій—находится внѣ поля нашего вниманія и пониманія.

И любопытно вотъ что: въ самой явной безсмыслицѣ мы тщимся найти смыслъ. На что ужъ, кажется, явно случайны названія буквъ алфавита; но и въ сочетаніи ихъ люди пытались найти осмысленность. Пушкинъ обезсмертилъ имя одного грамотея начала XIX-го вѣка, автора „Разсужденія о древней русской словесности", Н. Ѳ. Грамматина, который „вздумалъ составить апоѳегмы" изъ буквъ славянской азбуки: азъ, буки, вѣди, глаголь, добро и т. д. Смыслъ этого случайнаго набора словъ, по мнѣнію Грамматина, слѣдующій: азъ Бугъ вѣдю (т.-е. я Бога вѣдаю); глаголъ добро есть; живетъ на землѣ, кто и какъ люди мыслитъ; нашъ онъ покой рцу; слово твержу... „и прочая" („вѣроятно въ прочемъ не могъ онъ уже найти никакого смысла"—замѣчаетъ въ скобкахъ Пушкинъ). Тутъ же Пушкинъ приводитъ и шуточную трагедію, составленную изъ буквъ французской азбуки; но шутка шуткой, а фактъ остается фактомъ: человѣкъ склоненъ даже явно случайное сочетаніе признавать объективно осмысленнымъ. Событія человѣческой жизни, всѣ эти faits divers, изъ безчисленнаго сочетанія которыхъ слагается вся наша жизнь—чѣмъ они связнѣе разрозненныкъ буквъ азбуки? Но мы выдѣляемъ изъ этой необозримой массы разныхъ фактовъ немногіе опорные пункты, черезъ которые перебрасывается мостъ регулятивнаго принципа цѣлесообразности. Этотъ мостъ позволяетъ намъ субъективно осмыслить нашу жизнь; объективные же телеологи „не сдѣлаютъ по немъ пяти шаговъ—какъ тотчасъ въ воду"...

Для сторонниковъ осмысленности во что бы то ни стало, намъ хотѣлось бы привести небольшое стихотвореніе въ прозѣ одного современнаго автора. Правда, смыслъ его не особенно ясенъ, но ужъ, разумѣется, яснѣе трансцендентнаго смысла всемірной исторіи и тому подобныхъ построеній. Вотъ это стихотвореніе въ прозѣ:

Предразсвѣтный сумракъ долог ъ,—побѣждайте радость!

Въ полѣ не видно ни зги. Отвори свою дверь: я лицо укрылъ бы въ маскѣ...

Для чего въ пустынѣ дикой, въ одеждѣ пыльной пилигрима, вижу зыбку надъ могилой?

Мнѣ страшный сонъ приснился: просыпаюсь рано, порою туманной, на сѣрой кучѣ сора...

Былыя надежды почили въ безмолвной могилѣ... Другъ мой тихій, другъ мой дальній: живи и вѣрь обманамъ! Уставъ брести житейскою пустыней, не надѣйся, не смущайся!

Читатель не будетъ слишкомъ строго относиться къ нѣкоторымъ несовершенствамъ этого произведенія, когда узнаетъ, что оно представляетъ изъ себя только дословно переписанное начало оглавленія третьей книги стиховъ Ө. Сологуба...

III.

Какъ! Въ человѣческой исторіи не больше объективнаго, общеобязательнаго, внѣ насъ лежащаго смысла, чѣмъ въ оглавленіи книги, въ буквахъ азбуки или въ пятнахъ сырости! „Какъ человѣку надобно свихнуть себѣ душу, чтобы помириться съ этими выводами и привыкнуть къ нимъ!“ Такъ говорилъ когда-то Герцену Хомяковъ и выводилъ отсюда необходимость вѣры. Въ „Дневникѣ“ Герцена приведенъ этотъ ходъ мыслей Хомякова, крайне характерный для всѣхъ мистиковъ-объективистовъ; мы напомнимъ его читателямъ. „Философія ведетъ къ имманенціи, — говорилъ Хомяковъ; — но если самопознаніе, субъективность развертывается погруженная въ міръ реальный, а міръ реальный idealiter долженъ развиться въ самопознаніе, но можетъ gehemmt sein на дорогѣ случайностью, стало, можно предположить такую эпоху вселенной, въ которой субъективности, сознанія вовсе нѣтъ, а есть dumpfes unklares für sich броженіе; а если планета такая же индивидуальность, какъ индивидуальность человѣка, то и развившись до сознанія, она можетъ погибнуть, и съ нею весь побѣжденный процессъ, который долженъ бы былъ продолжаться на всѣхъ. Но изъ нихъ каждое также зависитъ отъ случайности— отсюда хаотическое, страшное воззрѣніе... Философія доводитъ реальное въ послѣднемъ словѣ до имманенціи и рас-

падающагося хаотическаго атомизма, слѣдовательно до нелѣпости... Итакъ, логическимъ путемъ однимъ нельзя знать истину. Она воплощается въ самой жизни — отсюда религіозный путь“ [1]).

Вотъ вѣчный путь борьбы съ имманентной философіей: противъ объективной безсмысленности жизни выдвигается фантомъ случайности, а спасеніе отъ этого фантома указывается въ области вѣры. „Для этого надобно вѣру“ — говоритъ Герцену Хомяковъ, на что Герценъ отвѣчаетъ: „на нѣтъ и суда нѣтъ“...

Но насъ хотятъ убѣдить, что вѣра у насъ есть, что она должна быть. Намъ говорятъ: вотъ вы возстаете противъ вѣры въ объективную осмысленность жизни, противъ основанной на вѣрѣ мистической теоріи прогресса; но развѣ у васъ самихъ нѣтъ совершенно такой же вѣры — хотя бы, напримѣръ, вѣры въ реальность міра или въ чужое одушевленіе? Вы постулируете, что есть міръ, что есть чужое „я“, а мы постулируемъ, что есть Богъ, что есть объективный смыслъ жизни.

Вашей вѣры въ Бога, вѣры въ объективный смыслъ жизни мы ни на минуту не отвергаемъ и не оспариваемъ; наоборотъ, мы признаемъ, что блаженны вѣрующіе... Но какъ быть тѣмъ, у которыхъ этой вѣры нѣтъ? Вѣдь на нѣтъ и суда нѣтъ. Соглашаемся, далѣе, что и въ нашемъ міровоззрѣніи имѣются элементы „вѣры“ — въ чужое одушевленіе, напримѣръ. (Правда, вѣра въ объективный смыслъ жизни и „вѣра“ въ чужое одушевленіе — это совершенно разныя вещи, хотя бы по одному тому, что одна есть вѣра вопреки очевидности, а вторая — согласно съ очевидностью. Но это только въ скобкахъ; опредѣленію понятія „вѣры“ въ его многихъ значеніяхъ посвящены многочисленныя работы старыхъ и новыхъ философовъ). Пусть такъ, пусть мы „вѣримъ“ въ чужое одушевленіе; но почему же мы обязаны вѣрить тогда и въ объективный смыслъ жизни? Развѣ наличность одной вѣры является аргументомъ для принятія другой?

---

[1]) „Дневникъ“ Герцена отъ 21 декабря 1842 г.; ср. разговоръ Герцена и Хомякова, приведенный въ „Быломъ и Думахъ“. См. „О смыслѣ жизни“.

Противъ вѣры въ Бога, противъ вѣры въ объективный смыслъ жизни мы не возражаемъ, такъ какъ признаемъ логическую возможность подобной вѣры; наше отрицаніе зиждется на другой, психологической почвѣ. Когда-то Паскаль думалъ убѣдить всѣхъ людей математической теоріей вѣроятности въ неизбѣжности вѣры въ Бога, и аргументы его впослѣдствіи не разъ были развиваемы. Дѣйствительно, Богъ или существуетъ (1), или не существуетъ (2); я въ Него или вѣрю (3), или не вѣрю (4). Комбинаціи этихъ четырехъ возможностей могутъ быть или истинными, или ложными. Такъ, сочетанія 1+3 или 2+4 истинны; комбинаціи 1+4 или 2+3 ложны. Но при комбинаціи 1+4 я самъ осудилъ себя на вѣчную погибель въ будущей жизни (дѣло идетъ о церковномъ, католическомъ пониманіи Бога); а при сочетаніи 2+3 я совершаю только безобидную ошибку. Выбирайте же, что̀ лучше: вѣрить въ несуществующаго Бога или не вѣрить въ существующаго... Выборъ не труденъ: конечно, надо вѣрить во всѣхъ случаяхъ и во что бы то ни стало, ибо рискъ такъ малъ, а выигрышъ такъ великъ... On perd si peu et on gagne si beaucoup!

Когда-то все это звучало убѣдительно... Но времена перемѣнились. Наше понятіе о Богѣ теперь уже другое и наши отношенія къ проблемѣ „богоискательства“ совсѣмъ иныя. Чистый, догматическій атеизмъ отходитъ теперь въ область преданія и во всякомъ случаѣ становится удѣломъ очень нетребовательныхъ людей. Вѣра, невѣріе — не въ этомъ лежитъ теперь центръ тяжести. Можно признавать Бога и въ то же время не принимать Его.

„Я не Бога не принимаю, я міра Имъ созданнаго не принимаю и не могу согласиться принять“,— говорилъ когда-то Иванъ Карамазовъ. Но есть точка зрѣнія и совершенно противоположная: міръ мы принимаемъ (ибо принуждены его принять, если хотимъ жить), но Бога не принимаемъ, если даже Онъ и существуетъ. Мы не хотимъ трансцендентнаго оправданія міра, мы хотимъ стоять на человѣческой точкѣ зрѣнія; для насъ невозможенъ Богъ міроправитель, допускающій дѣтскія неоправданныя слезы и безвинную человѣческую муку. Эти страданія, эти муки будутъ оправданы, возмѣщены и отомщены въ будущей жизни,— утѣшаетъ вѣрующихъ религія; но нѣтъ той небесной на-

грады, которая могла бы уравновѣсить муку невинно погибшаго, растерзаннаго собаками ребенка. Такова наша человѣческая точка зрѣнія; на сверхъ-человѣческой, а потому и безчеловѣчной, мы отказываемся стоять. Допускающій безвинную муку Богъ — не нашъ Богъ, если даже Онъ и существуетъ. Быть можетъ, — замѣчаетъ Джемсъ въ своей отмѣченной выше книгѣ, — существуетъ Богъ, требующій человѣческихъ жертвоприношеній, но принять такого Бога мы не можемъ.

Итакъ, вопросъ заключается вовсе не въ томъ, вѣримъ мы или нѣтъ въ существованіе Бога, а въ томъ, принимаемъ ли мы Его, хотя бы и существующаго. Параллельно съ этимъ возникаетъ вопросъ и о принятіи нами міра: міръ существуетъ, какъ фактъ, но онъ можетъ быть нами или принятъ, или не принятъ. Эти четыре элемента — 1) міръ, 2) Богъ, 3) принятіе, 4) непринятіе — въ четырехъ различныхъ сочетаніяхъ исчерпываютъ собою проблему смысла жизни. Наша точка зрѣнія опредѣляется соединеніемъ 1+3 и 2+4; Иванъ Карамазовъ соединялъ 2+3 и 1+4; мистическая теорія прогресса принимаетъ 1+3 и 2+3; наконецъ, возможенъ и случай 1+4 и 2+4. Это случай разрыва не только съ Богомъ, но и съ міромъ— отказъ отъ жизни, разъ въ ней нѣтъ объективнаго смысла.

Всѣ эти точки зрѣнія логически равно возможны; склоняться къ той или иной насъ заставляютъ психологическія побужденія. Вопросъ о „вѣрѣ“ становится мелкимъ передъ этими новыми возникающими проблемами, такъ геніально поставленными Достоевскимъ.

IV.

Непріятіе міра есть самоистребленіе. Часто, слишкомъ часто приходится сталкиваться съ людьми, которые не въ силахъ перенести мысли объ отсутствіи объективнаго смысла жизни. Сплошь и рядомъ вы встрѣтите въ газетной хроникѣ записки самоубійцъ, Бога не пріявшихъ и міръ отвергшихъ. „Бога нѣтъ, жить нѣтъ цѣли и на свѣтѣ все глупо“,— пишетъ одинъ изъ нихъ передъ смертью. „Кто не нашелъ ключа смысла жизни, тотъ не долженъ жить. Счастливы тѣ, которые, сознавая свое безсиліе, по своей волѣ уходятъ

отъ жизни",— пишетъ другой передъ покушеніемъ на самоубійство. Приватъ-доцентъ Кіевскаго университета отравляется ціанистымъ кали, „убѣдившись въ безцѣльности жизни". Въ Одессѣ стрѣляется шестнадцатилѣтній реалистъ, которому „стало скучно на этомъ маленькомъ земномъ шарѣ, гдѣ такъ много прекраснаго". Въ Костромѣ восемнадцатилѣтній юноша кончаетъ самоубійствомъ для того, чтобы „выразить своимъ самоубійствомъ протестъ противъ законовъ природы, которые дѣлаютъ жизнь человѣка сплошнымъ рядомъ страданій" [1]). Шестидесятилѣтній старикъ бросается подъ поѣздъ, оставляя записку: „долгимъ опытомъ убѣдился, что нѣтъ смысла въ жизни. Для чего жить?"

Мы безсильны переубѣдить людей, непринимающихъ міра. Какъ и чѣмъ убѣдить ихъ, что смыслъ жизни создаемъ мы сами, что отъ насъ зависитъ расширить свой міръ до предѣловъ вселенной или низвести его до комочка грязи, что объективный смыслъ жизни не нуженъ для того, кто субъективно осмысливаетъ свою жизнь. Развѣ можно все это доказать? Это надо чувствовать. Но все же психологія отвергающихъ міръ намъ понятна; мы не можемъ раздѣлять ихъ взглядовъ, мы не можемъ принимать ихъ, но мы можемъ ихъ понимать. Вы не принимаете міра, мы принимаемъ міръ: споръ тутъ невозможенъ.

Психологія людей, принимающихъ міръ и оправдывающихъ Бога — значительно дальше отъ насъ. Мы знаемъ, что есть не мало людей, готовыхъ принять отъ руки Бога все, даже самое безсмысленное, даже невинныя муки ребенка; но ихъ душевный строй намъ чуждъ почти настолько же, какъ и вѣра въ какое-нибудь божество, требующее человѣческихъ жертвоприношеній. Оправдывать всѣ человѣческія жертвоприношенія, ежеминутно совершающіяся въ жизни человѣчества и въ жизни человѣка; безропотно принимать ихъ не какъ неизбѣжное, а какъ долженствующее и нравственно пріемлемое, ибо исходящее отъ божественной воли— вотъ вѣчная участь рабовъ трансцендентнаго. Помните, какъ у Достоевскаго: „таракан не ропщетъ"... Этотъ „тараканъ отъ дѣтства" никогда не ропщетъ, хотя онъ и „попалъ въ

[1]) Ср. Достоевскій „Дневникъ писателя", 1876 г., № 10. — Всѣ перечисленные факты взяты нами изъ газетъ первыхъ мѣсяцевъ 1909 года.

стаканъ полный мухоѣдства"... Онъ ждетъ съ тупымъ покорствомъ или благоговѣйнымъ смиреніемъ — не все ли равно? — рѣшенія своей участи, когда къ стакану подойдетъ „Никифоръ — бла-а-роднѣйшій старикъ" и выплеснетъ всю эту дрянь „мухоѣдства" въ бездонную яму Смерти. А пока — тараканъ принимаетъ всю эту мерзость, весь этотъ ужасъ жизни не какъ причинно-необходимое, а какъ этически-должное: „тараканъ не ропщетъ"... И право, если такого тупо-смиреннаго таракана давитъ своей пятой „бла-а-роднѣйшій старикъ Никифоръ" (онъ же Рокъ, Судьба, Природа, Богъ, Дьяволъ, Нѣкто въ сѣромъ или какъ тамъ его еще зовутъ), то невольно иногда думается: да полно, ужъ не по заслугамъ ли его воздается ему? Тараканъ не ропщетъ!

Психологія Ивана Карамазова намъ ближе и понятнѣе; но „непріятіе міра" не доводится имъ до конца. Онъ не принимаетъ міра только на словахъ; центростремительная сила перевѣшиваетъ въ немъ центробѣжную и онъ остается жить. А между тѣмъ истинное непріятіе міра есть самоистребленіе; и не тотъ отвергаетъ міръ, кто говоритъ: „міра не принимаю", и затѣмъ идетъ въ трактиръ ѣсть уху съ растегаями, а тотъ, кто молча сводитъ послѣдніе счеты съ жизнью. Не Иванъ Карамазовъ, а лакей Смердяковъ дѣйствительно не принялъ міра.

Остается послѣдняя возможность: мы принимаемъ міръ не какъ этически-должное, а какъ причинно необходимое; но мы не принимаемъ того Бога, котораго признаютъ мистики-объективисты. Мы не признаемъ объективной осмысленности жизни, но мы видимъ въ ней явный субъективный смыслъ; цѣль мы видимъ въ каждомъ человѣкѣ, смыслъ мы видимъ въ полнотѣ бытія. Эту точку зрѣнія «имманентнаго субъективизма» мы развивали подробно въ нашей книгѣ «О смыслѣ жизни»; мы видѣли тамъ, что она тѣсно связана со всѣмъ прошлымъ исторіи русскаго сознанія: Пушкинъ, Герценъ, Бѣлинскій, Толстой—въ разныя времена различно исповѣдывали этотъ имманентный субъективизмъ. Здѣсь мы хотимъ иллюстрировать эту точку зрѣнія примѣромъ великаго украинскаго поэта Шевченко— конечно, въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ.

V.

Нѣтъ объективнаго смысла жизни: Шевченко это не смущало. Все проходитъ, все мимолетно, все смертно; ни въ чемъ не видно конечной цѣли, да и нѣтъ ея. Эти мотивы проходятъ черезъ всю поэзію Шевченко, быть можетъ ярче всего проявляясь въ великолѣпномъ вступленіи къ «Гайдамакамъ».

Все йде, все минае—і краю немае...
Куди-ж воно ділось? Відкіля взялось?
І дурень і мудрий нічого не знае.
Живе... умірае... Одно зацвіло,
А друге завяло, на віки завяло,
І листя пожовкле вітри рознесли.
А сонечко встане, як перше вставало;
І зорі червоні, як перше плили,
Попливуть и потім; і ти, білолиций,
По синьому небу вийдеш погулять,
Вийдешь подивиться в жолобок, криницю
І в море безкрае, і будеш сиять,
Як над Вавилоном, надъ його садами,
І над тим, що буде з нашими синами...

Равнодушная природа сіяетъ мертвою красою — но это признаніе не заставляетъ поэта пасть духомъ; наоборотъ, въ признаніи этомъ сказывается великое примиреніе съ міромъ. Равнодушная природа, преломленная сквозь человѣческія чувства, загорается живой красою, сіяньемъ жизни; надо только исполнять великій завѣтъ природы, которая (по выраженію Герцена) всѣми языками своими безпрерывно манитъ къ жизни и шепчетъ на ухо всякому свое vivere memento! Въ исполненіи этого завѣта, но лишь во всей его полнотѣ—весь смыслъ человѣческой жизни; и тотъ несчастенъ, кто поздно приходитъ къ этому сознанію, какъ бѣдный чеховскій дядя Ваня, который на порогѣ старости съ ужасомъ созналъ, что „пропала жизнь! погибла жизнь!“ Въ ядовитомъ посланіи къ Н. Тарновской, написанномъ за три мѣсяца до смерти, Шевченко обращается къ типу такихъ добровольныхъ мучениковъ, которые, говоря стариннымъ присловьемъ, „никѣмъ же мучими сами ся мучаютъ“.

Великомученице кумо!
Дурна еси ти, нерозумна!
В раю веселому зросла,
Рожевим цвітомъ процвіла,
І раю красного не зріла,
Не бачила—бо не хотіла
Поглянути на божий день,
На ясний світ животворящий!
Сліпа була-еси, незряща,
Недвига сердцемъ...

О какомъ раѣ говоритъ поэтъ? Этотъ рай — земля; и всякій, имѣющій очи, можетъ его видѣть, хотя и не всякій хочетъ его видѣть и имъ удовлетвориться. Люди жаждутъ трансцендентнаго смысла бытія, полнота земной жизни ихъ не удовлетворяетъ, земной рай имъ кажется блѣднымъ и они ищутъ рая небеснаго. Шевченко негодуетъ:

Якого-ж ми раю
У Бога благаем?!
Рай у вічі лізе,
А ми в церкву лізем
Заплющивши очі;
Такого не хочем!

Правда, этотъ земной рай люди превратили въ „пекло“— Шевченко это чувствовалъ острѣе, чѣмъ кто-либо иной: недаромъ же онъ провелъ десять лѣтъ своей короткой жизни въ ужасныхъ условіяхъ подневольной солдатчины въ оренбургскихъ и аральскихъ степяхъ. И вотъ именно за то, что Богъ — „сивий Верхотворець“ — допускаетъ существованіе „пекла“ на прекрасной землѣ, именно за то поэтъ и не принимаетъ Бога, признавая его существованіе. Вѣрить въ Бога и въ то же время не принимать его — это соединеніе особенно ярко выразилось въ поэзіи Шевченко. Человѣкъ призываетъ къ отвѣту Бога за человѣческія страданія, за кровь, за муку, за слезы; старое богоборчество воскресаетъ съ новой силой въ новыхъ формахъ. Вотъ, смотри, — обращается поэтъ къ „сивому Верхотворцю“:—

Он гай зелений похиливсь,
А он з-за гаю виглядае
Ставок, неначе полотно,
А верби геть по-над ставом
Тихесенько собі купають

Зелені віти... Правда, рай?
А подивися та спитай,
Що тамъ твориться у тім раї!
Звичайне, радість та хвала
Тобі единому святому
За дивниї Твої діла...
Оттим бо й ба! Хвали—нікому,
А кров, та сльози, та хула,
Хула всьому! Ні, ні! нічого
Нема святого на землі!
Мені здаеться, що й самого
Тебе вже люде прокляли...

Это разрывъ съ Богомъ, а не съ міромъ: міръ, жизнь поэтъ принимаетъ, но лишь какъ сущее, а не какъ должное. Какъ никто другой, Шевченко чувствовалъ всю тяжесть, весь ужасъ хотя бы одной соціальной несправедливости въ человѣческой жизни; мало того, что существуютъ горе, болѣзнь, смерть на землѣ,—ихъ еще усугубляютъ звѣрскія отношенія человѣка къ человѣку: мы — горько шутитъ поэтъ — „з братами тихо живемо, лани братами оремо, і їх сльозами поливаем“...

Такиї, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній Твоїй землі!
Ми в раї пекло развели,
А в Тебѣ другого благаем...

И поэту непонятно только одно: какъ можетъ „сам сивий Верхотворець“ допускать и терпѣть это „пекло“ въ раю; если Онъ допускаетъ все это — говоритъ поэтъ, — то Онъ либо безсиленъ, либо жестокосердъ. А быть можетъ онъ, какъ андреевскій „Нѣкто въ сѣромъ“, просто смѣется надъ нами, надъ человѣческимъ горемъ, надъ людскими страданіями:

А може й те ще... Ні, не знаю,
А так здаеться, сам еси...
(Бо без Твоеї, Боже, волі,
Ми б не нудились въ раї голи!)
А може й Сам на небеси
Сміешся, батечку, над нами?!...

Шевченко безсознательно чувствовалъ то, что до сихъ поръ еще не понимаютъ очень многіе: центръ тяжести

міровоззрѣнія лежитъ не въ вѣрѣ или невѣріи, а въ принятіи или отверженіи Бога. Въ послѣднемъ случаѣ совершенно обходится неразрѣшимая метафизическая проблема о бытіи или небытіи Бога и на мѣсто ея ставится неизмѣримо болѣе важная альтернатива пріятія или непріятія Бога, пріятія или непріятія міра. И на примѣрѣ великаго украинскаго поэта мы лишній разъ убѣждаемся въ возможности отвѣта: міръ пріемлю, но Бога не принимаю. Бога не принимаю — это значитъ: отказываюсь принимать трансцендентный смыслъ имманентной безсмыслицы. Міръ пріемлю — это значитъ: вижу въ жизни великій субъективный смыслъ и силою психологическаго оптимизма побѣждаю метафизическій пессимизмъ. Такъ чувствовалъ и Шевченко:

О, Боже мій милий!
Тяжко жить на світі, а хочется жить:
Хочеться дивитись, як сонечко сяе,
Хочеться послухать, як море заграе,
Як пташка щебече, байрак гомонить,
Або чернобрива въ гаю заспівае...
О, Боже мій милий, як весело жить!

Жить всѣми сторонами личной и общественной жизни — въ этомъ весь имманентный смыслъ человѣческаго существованія.

VI.

Поэзія Шевченко является, быть можетъ, лучшимъ примѣромъ соединенія идей (вѣрнѣе, не столько идей, сколько чувствъ) имманентнаго субъективизма съ крайнимъ радикализмомъ и демократизмомъ въ области идей соціальныхъ и политическихъ. Это слѣдуетъ отмѣтить хотя бы по одному тому, что обычнымъ возраженіемъ противъ имманентнаго субъективизма со стороны „объективныхъ“ позитивистовъ является указаніе на анти-соціальность этого воззрѣнія и на его анти-демократичность. Жить полной жизнью, жить всѣми струнами души—это, якобы, рецептъ только для крайняго индивидуалиста, да къ тому же еще достаточно обезпеченнаго трудами рукъ сотенъ тысячъ „трудящихъ“... А эти „трудящіе—они просто несчастные... лошади“—по вы-

раженію горьковскаго Өомы Гордѣева, и философія имманентнаго субъективизма не для нихъ и не про нихъ писана.

Въ такихъ словахъ кроется крайне вульгарное пониманіе „полноты бытія“. Жизнь широкая и полная не за деньги покупается, и тотъ босякъ М. Горькаго, который могъ часами сидѣть на берегу моря, вслушиваясь въ говоръ волнъ, глубже и полнѣе жилъ въ это время, чѣмъ большинство изъ слушающихъ моднаго тенора въ дорогомъ театрѣ. Вспомните также тургеневскихъ „Пѣвцовъ“ и рѣшите, гдѣ глубже эстетическое чувствованіе, интенсивнѣй полнота переживаній. И то, что справедливо въ области эстетики, то сохраняетъ свою силу и въ области всей человѣческой жизни, всѣхъ мыслей, переживаній, чувствованій; если бы понадобились доказательства и подтвержденія этого и если бы переживанія и мысли Шевченко показались бы неубѣдительными, то мы могли бы обратиться къ Гл. Успенскому, къ его чуткому и проникновенному пониманію крестьянской жизни.

Въ своихъ удивительныхъ очеркахъ „Крестьянинъ и крестьянскій трудъ“ (которые намъ представляются высшей точкой творчества Успенскаго, превышающей даже его знаменитую „Власть земли“), Гл. Успенскій попытался объяснить себѣ смыслъ жизни народной. Несомнѣнно, что самъ народъ, въ своемъ большинствѣ, объясняетъ свою жизнь съ точки зрѣнія трансцендентнаго объективизма; взглядъ этотъ давно уже сталъ догмой, пропитавшей народныя массы, несмотря на различныя теченія, борющіяся въ ея глубинѣ. Это хорошо зналъ и понималъ Гл. Успенскій. „Типическимъ лицомъ, въ которомъ наилучшимъ образомъ сосредоточена одна изъ самыхъ существенныхъ группъ характернѣйшихъ народныхъ свойствъ,— говорилъ Гл. Успенскій,—безъ сомнѣнія является Платонъ Каратаевъ, такъ удивительно изображенный Л. Толстымъ“... Какія же это народныя свойства, по крайней мѣрѣ одна группа изъ нихъ? „Жизнь Каратаева, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ отдѣльная жизнь,—приводитъ Гл. Успенскій слова Л. Толстого:—она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ“... Это цѣлое—„Рассея“, „міръ“, а на болѣе высокихъ ступеняхъ

развитія еще общнѣе: „Человѣчество“—это цѣлое, какъ бы оно ни называлось, позволяетъ намъ объяснять смыслъ нашей жизни отсыланіемъ отъ Понтія къ Пилату, отъ человѣка къ человѣчеству. Но и въ самомъ народѣ были и есть другія группы, не удовлетворявшіяся такимъ отвѣтомъ, и самъ Гл. Успенскій не могъ удовлетвориться имъ. А если трансцендентный объективизмъ не удовлетворяетъ, то волей-неволей приходится перейти на почву имманентнаго субъективизма.

Каковъ смыслъ жизни крестьянина—какого-нибудь Ивана Ермолаевича, о которомъ говоритъ Гл. Успенскій? Мистическая теорія прогресса чужда Гл. Успенскому; ничего не объясняетъ ему и позитивная теорія прогресса. Иванъ Ермолаевичъ живетъ и „бьется“ надъ работой на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ точно такъ же бились тысячу лѣтъ подъ рядъ его предки („въ настоящее время давно распаханные подъ овесъ и въ видѣ овса съѣденные скотиной“...). Трудъ поглощалъ и поглощаетъ всю жизнь крестьянина, не оставляя ему ни минуты досуга; а если случайно появится этотъ досугъ, то вліяніе его на крестьянскую жизнь только отрицательное. Гдѣ ужъ тутъ, казалось бы, говорить о „полнотѣ бытія“, когда „невѣроятные размѣры труда“ поглащаютъ собою всю крестьянскую жизнь безъ остатка! „Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, что это за жизнь, и посудите, изъ-за чего человѣкъ бьется. Крестьянская пословица говоритъ: лѣто работаетъ на зиму, а зима на лѣто. И точно: лѣтомъ съ утра до ночи безъ передышки бьются съ косьбой, съ жнивомъ, а зимой скотина съѣстъ сѣно, а люди хлѣбъ; весну и осень идутъ хлопоты приготовить пашню для людей и животныхъ, лѣтомъ соберутъ, что дастъ пашня, а зимой съѣдятъ. Трудъ постоянный—и никакого результата, кромѣ навоза, да и того не останется, ибо и онъ идетъ въ землю: земля ѣстъ навозъ, люди и скотъ ѣдятъ, что даетъ земля. Самъ Богъ, Отецъ Небесный, поминается только какъ участникъ въ этой безплодной по результатамъ дѣятельности лабораторіи. Богъ даетъ дождь, вёдро, нужные для сѣна, овса, ржи, которые нужны для лошадей, овецъ, коровъ и людей, а въ результатѣ—навозъ, нужный для земли, и т. д. до безконечности“...

Какой смыслъ всего этого круговорота? „Объясняя себѣ эту загадку существованія, я приходилъ къ самымъ мрачнымъ и безобразнымъ выводамъ“,—говоритъ Гл. Успенскій.

Онъ пробовалъ объяснять себѣ эту загадку разными „трансцендентными“ отвѣтами, но ничего путнаго не получалось: „тайна безплодности и непрестанности труда, изъ которыхъ сотканы дни, часы и годы существованія Ивана Ермолаевича и многихъ ему подобныхъ, такъ и оставалась досадною, неразгаданною тайной“—до тѣхъ поръ, пока Гл. Успенскій не сталъ искать отвѣта на почвѣ имманентнаго субъективизма. Тогда онъ сразу понялъ: смыслъ жизни Ивана Ермолаевича лежитъ въ ней самой; объективно безсмысленный круговоротъ событій имѣетъ глубокій субъективный смыслъ. Въ жизни Ивана Ермолаевича Гл. Успенскій увидѣлъ тогда ту самую „полноту бытія“, которая субъективно осмысливаетъ жизнь каждаго человѣка; въ томъ трудѣ, который казался ему объективно безсмысленнымъ и безцѣльнымъ, онъ увидѣлъ субъективный смыслъ, увидѣлъ даже „поэзію земледѣльческаго труда“.

„Жизнь Ивана Ермолаевича, что называется, полнехонька впечатлѣніями до краевъ“,—увидѣлъ тогда Гл. Успенскій; онъ увидѣлъ, что „Иванъ Ермолаевичъ, кромѣ видимыхъ міру слезъ, бѣдствій, недоимокъ, всевозможныхъ притѣсненій и другихъ мрачныхъ чертъ, рисующихъ его жизнь, какъ безпрерывное мученіе и каторгу, имѣетъ въ самой глубинѣ своего существованія нѣчто такое, что даетъ ему силу переносить всѣ эти невзгоды цѣлыя тысячелѣтія“; онъ увидѣлъ, что „кажущееся влаченіе по браздамъ, безплодное, тяжкое существованіе — оказывается явленіемъ вполнѣ объяснимымъ, а главное—вовсе не влаченіемъ, а существованіемъ... въ которомъ осмысленъ каждый шагъ, каждый поступокъ“... Гл. Успенскій увидѣлъ „творчество“ въ крестьянскомъ трудѣ, увидѣлъ эстетическую цѣльность и красоту въ земледѣльческомъ укладѣ жизни. Онъ понялъ, что Иванъ Ермолаевичъ „бьется“ не потому только, чтобы быть сытымъ и платить подати, „но и потому еще, что земледѣльческій трудъ со всѣми его развѣтвленіями, приспособленіями, случайностями поглащаетъ и его мысль, сосредоточиваетъ въ себѣ почти всю его умственную и даже нравственную дѣятельность“... Полнота бытія—это слово придаетъ смыслъ всякой человѣческой жизни, и въ этомъ отношеніи имманентный субъективизмъ является настолько же всечеловѣческимъ, какъ и два другихъ трансцендентныхъ пути.

Правда, не всѣ такъ счастливы, какъ Иванъ Ермолаевичъ: не у всякаго трудъ является въ то же время элементомъ, субъективно осмысливающимъ жизнь. Именно такое счастливое сочетаніе заставляло, между прочимъ, старыхъ народниковъ такъ рьяно отстаивать земледѣльческій укладъ жизни. Кромѣ крестьянства, немногіе могутъ считать свой трудъ элементомъ полноты бытія: это удѣлъ сравнительно очень немногихъ „свободныхъ профессій". Для остальныхъ трудъ есть только средство и жизнь идетъ мимо, полнота бытія не захватываетъ труда; но такъ или иначе—полнота бытія и только она одна есть вѣчный субъективный смыслъ всякой жизни. Имманентный субъективизмъ, повторяемъ это, не есть путь для немногихъ; по этому пути идетъ, кто хочетъ; по этому пути могутъ идти всѣ люди, все живое, существующее въ мірѣ.

VII.

Крайній индивидуализмъ, крайняя анти - соціальность этого пути также являются вполнѣ миѳическими. Девизъ „vivere memento!" ведетъ, якобы, къ крайностямъ абсолютнаго эгоизма; всякій прожигатель жизни можетъ укрыться за философіей имманентнаго субъективизма. Да, можетъ; но вѣдь даже и за ученіемъ Христа укрывались и укрываются разные великіе и малые инквизиторы, вѣдь нѣтъ ни одного ученія, ни одной системы, ни одной теоріи, ни одного вѣрованія, которыхъ не могли бы запятнать своимъ признаніемъ и сочувствіемъ разные человѣкоподобные. „У всякаго человѣка есть своя обезьяна": у всякаго ученія есть или можетъ быть пародія, кривляющееся отображеніе; у всякаго Ивана Карамазова есть свой Смердяковъ или свой Чортъ—обезьяна или „лакей". Эти „лакеи", эти обезьяны неизбѣжны тамъ, гдѣ есть исканіе, творчество. Они сейчасъ же хватаются за результаты, отвлеченные отъ процесса ихъ выработки, треплютъ ихъ, вульгаризируютъ, толкуютъ на свой ладъ, искажаютъ до неузнаваемости. За примѣромъ недалеко ходить: въ свое время имманентный субъективизмъ Герцена уже подвергся такому разлагающему процессу въ нигилизмѣ конца шестидесятыхъ годовъ.

Первый шагъ къ этому сдѣлали уже „мыслящіе реалисты“ типа Писарева. Писаревъ впервые развилъ для широкой публики взгляды Герцена, выраженные послѣднимъ десятью годами ранѣе; но при этомъ даже Писаревъ слишкомъ обезцвѣтилъ глубокія мысли Герцена: будто перевелъ его мысли изъ области трехъ въ область двухъ измѣреній. Вотъ, прочитайте, напримѣръ, слѣдующія строки Писарева (изъ „Схоластики XIX вѣка“):

„Цѣль жизни! Какое громкое слово, и какъ часто оно оглушаетъ и вводитъ въ заблужденіе, отуманивая слишкомъ довѣрчиваго слушателя.... Старайтесь жить полной жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду заведенному порядку и вкусу толпы—и, живя такимъ образомъ, не спрашивайте о цѣли; цѣль сама найдется, и жизнь рѣшитъ вопросы прежде, нежели вы ихъ предложите. Васъ затрудняетъ, можетъ быть, одинъ вопросъ: какъ согласить эти эгоистическія начала съ любовью къ человѣчеству? Объ этомъ нечего заботиться. Человѣкъ отъ природы—существо очень доброе, и если не окислять его противорѣчіями и дрессировкой, если не требовать отъ него неестественныхъ нравственныхъ фокусовъ, то въ немъ естественно разовьются самыя любовныя чувства къ окружающимъ людямъ, и онъ будетъ помогать имъ въ бѣдѣ ради собственнаго удовольствія, а не изъ сознанія долга“...

Читаешь это—точно въ кривое зеркало глядишься: такъ, вѣроятно, чувствовалъ себя Герценъ при чтеніи этихъ строкъ; недаромъ подобныя мысли Писарева Герценъ считалъ проявленіемъ крайней незрѣлости мысли, говоря про „базаровщину“, что „болѣзнь эта къ лицу только до окончанія университетскаго курса; она, какъ прорѣзываніе зубовъ, совершеннолѣтію не пристала“. Эти наивныя утвержденія, что „человѣкъ отъ природы существо очень доброе“ и что потому онъ будетъ помогать людямъ въ бѣдѣ ради собственнаго удовольствія—что все это такое, какъ не младенческое прорѣзываніе зубовъ русской мысли и въ то же время—искаженіе имманентнаго субъективизма Герцена?

Vivere memento!—этотъ девизъ ведетъ вовсе не къ такимъ наивно-гедонистическимъ положеніямъ. Полнота бытія, полная жизнь—вовсе не однозначна съ жизнью въ свое

удовольствіе; „жить во-всю“ (по слову Михайловскаго вовсе не значитъ жить для себя. Жить во-всю и жить внѣ могучаго чувства соціальности—невозможно; и тотъ, кто живетъ лишь для себя—не зналъ и не знаетъ, что такое полнота бытія. Чувствовать свое „я“ неразрывно слитымъ съ общественнымъ „ты“—это значитъ безгранично расширить діапазонъ своей личной жизни; изолировать свое «я» отъ соприкосновенія съ общественнымъ «ты»—это значитъ безмѣрно суживать границы своего бытія, И тотъ, кто прожилъ всю жизнь на холодныхъ вершинахъ крайняго индивидуализма—тотъ духовно бѣденъ и нищъ, какъ бы ни была напряжена и богата личными переживаніями его жизнь онъ бѣденъ и нищъ, ибо лишенъ громаднаго и могучаго чувства соціальности, придающаго такую полноту человѣческой жизни.

Чувство соціальности въ духовномъ мірѣ человѣка аналогично зрѣнію въ области его физическихъ чувствъ: эти чувства вводятъ насъ въ общеніе не только съ непосредственно окружающимъ насъ, но и съ отдѣленнымъ отъ насъ громадными разстояніями. И не потому я вижу, что это доставляетъ мнѣ удовольствіе, а потому, что я не могу не видѣть; наоборотъ, часто я вижу вещи, доставляющія мнѣ острое страданіе. «О, если бы не видѣть!»—восклицаемъ иногда мы; но мы не можемъ не видѣть и никогда не захотимъ добровольно лишить себя зрѣнія; быть можетъ, мы предпочтемъ умереть, чѣмъ не видѣть. Въ чувствѣ зрѣнія есть различныя градаціи: есть нормальное зрѣніе, есть болѣзни его, есть близорукость, дальнозоркость, дальтонизмъ, есть величайшее несчастіе—слѣпота; и хотя мы часто проклинаемъ то, что видимъ, но никогда не согласимся промѣнять муки зрѣнія на невѣдѣніе слѣпоты. Все это отъ слова до слова примѣнимо къ нашему нравственному міру, къ чувству соціальности, дающему возможность единичному «я» видѣть и чувствовать многочисленное «ты». Не потому мы подчиняемся чувству соціальности, что это доставляетъ намъ удовольствіе, а потому, что мы не можемъ не подчиняться ему; наоборотъ, это чувство заставляетъ насъ часто испытывать острое страданіе. Правда, не всѣ обладаютъ этимъ чувствомъ: иные страдаютъ притупленіемъ и ослабленіемъ его, иные нравственнымъ дальтонизмомъ: есть, на-

конецъ, люди, у которыхъ это чувство вполнѣ атрофировано. Эта соціальная слѣпота—величайшее несчастіе человѣка; и хотя наше чувство соціальности доставляетъ намъ часто острыя страданія, но мы, быть можетъ, предпочтемъ умереть, чѣмъ добровольно лишить себя чувства соціальности, предаться соціальной слѣпотѣ. Смерть и мученія за соціальные идеалы—развѣ это такое рѣдкое явленіе? Вспомните хотя бы исторію русской интеллигенціи за послѣднія сто лѣтъ...

Итакъ, «полнота бытія» немыслима внѣ чувства соціальности; тѣ человѣкоподобные, которые хотятъ запачкать своимъ признаніемъ имманентный субъективизмъ Герцена, напрасно теряютъ время и трудъ: имъ не удастся запятнать міровоззрѣніе Герцена такъ же, какъ не удастся отождествить свое прожиганіе жизни съ «полнотой бытія». Тщетно пытались бы ухватиться за имманентный субъектизмъ и тѣ крайніе индивидуалисты, у которыхъ атрофировано чувство соціальности, которые страдаютъ соціальной слѣпотой: какъ бы ни была полна ихъ жизнь эстетическими переживаніями или творчествомъ философской и научной мысли, но если они лишены переживаній соціальныхъ, то не имъ говорить о полнотѣ бытія. Имманентный субъективизмъ есть міровоззрѣніе всечеловѣческое; но именно потому оно дѣйствительно только на соціальной почвѣ, именно потому оно соединяетъ признаніе величайшей цѣнности человѣческой личности съ величайшей соціальной активностью.

VIII.

Но если такъ, если міровоззрѣніе имманентнаго субъективизма оказывается соціальнымъ и не можетъ быть инымъ, то, спрашивается, какая же разница между нимъ и позитивной теоріей прогресса? Вѣдь тамъ тоже соціальность выдвигается на первый планъ — настолько выдвигается, что даже смыслъ жизни человѣка оказывается лежащимъ въ Человѣчествѣ, въ его блаженномъ будущемъ.

Вотъ именно въ этомъ и лежитъ коренной пунктъ расхожденія. Позитивная теорія прогресса придаетъ объективный смыслъ и значеніе человѣческой жизни, считая ее кир-

пичемъ для зданія будущаго; для насъ же никакіе грядущіе „хрустальные дворцы“ не въ силахъ осмыслить безсмыслицу настоящаго. Осуществленіе въ грядущемъ идеаловъ правды-справедливости не придаетъ объективнаго смысла моей настоящей жизни, но моя борьба за осуществленіе идеаловъ правды-справедливости входитъ въ рядъ переживаній, субъективно осмысливающихъ мою жизнь. Здѣсь пунктъ расхожденія имманентнаго субъективизма со всѣми трансцендентными теоріями и системами.

Это расхожденіе несомнѣнно, и оно позволяетъ намъ говорить о трехъ путяхъ, о трехъ отвѣтахъ на вопросъ о смыслѣ жизни. Но при этомъ не надо забывать, что всякое раздѣленіе схематично, что оно намѣчаетъ только рѣзкія черты, сглаживая оттѣнки. Богъ, Человѣчество, Человѣкъ—эти три пути несомнѣнны, но не менѣе несомнѣнна и возможность различнаго пересѣченія различныхъ тропинокъ этихъ путей. Мы только-что видѣли, что, исходя отъ человѣка, мы неизбѣжно приходимъ къ человѣчеству, если не хотимъ пожертвовать безпредѣльно расширяющимъ нашу жизнь чувствомъ соціальности; и хотя мы рѣзко расходимся съ позитивной теоріей прогресса, но указанное сближеніе двухъ путей слишкомъ несомнѣнно. Точно также, какъ ни рѣзко расходимся мы съ мистической теоріей прогресса, но и съ ней у насъ есть точки пересѣченія.

Если, исходя отъ человѣка, мы приходили къ человѣчеству, то не менѣе неизбѣжно мы приходимъ отъ человѣка къ вселенной, къ космосу, къ космической жизни. Если отсутствіе чувства соціальности мы называли великимъ несчастьемъ, соціальной слѣпотой, то не менѣе великимъ несчастьемъ является и то, что можно назвать «космической слѣпотой», отсутствіемъ того чувства, проявленія котораго носятъ въ философіи крайне неудачное названіе «универсальнаго аффекта». Это вселенское чувство, говоря словами Канта, «расширяетъ мое единеніе среди міровъ надъ мірами и системами изъ системъ»; это вселенское чувство, въ своихъ разнообразныхъ проявленіяхъ, выводитъ человѣка на міровой просторъ изъ узкаго тупика его личной жизни. Это вселенское чувство — психологическій фактъ [1]);

---

[1]) Обо всемъ этомъ см. въ цитированной выше книгѣ Джемса.

соотвѣтствуетъ ли этому факту что-либо внѣ насъ — мы не знаемъ: категорическое «да» мистиковъ здѣсь настолько же голословно, какъ и категорическое «нѣтъ» позитивистовъ.

Намъ одинаково чужда и эта мистическая вѣра и эта позитивная увѣренность. Міръ есть великая Тайна; и мы менѣе всего хотѣли бы проповѣдывать позитивную удовлетворенность, отрицать великую Загадку бытія. Но мы заранѣе отвергаемъ одно изъ возможныхъ рѣшеній этой вселенской Загадки—рѣшеніе, открывающееся на трансцендентной почвѣ. Да, міръ есть вѣчная Тайна, которую не перестанутъ разгадывать религіозные мыслители, философы и поэты; да, мы не можемъ утверждать съ непоколебимой достовѣрностью, что безвинныя муки не найдутъ себѣ объясненія—а значитъ и оправданія—«въ томъ мірѣ, гдѣ нѣтъ времени». Но имъ нѣтъ оправданія съ нашей земной, человѣческой точки зрѣнія; всю вселенскую гармонію мы отдадимъ за одну слезу ребенка. И если «тамъ» мы могли бы найти нуменальный смыслъ дѣтской слезинки, то мы теперь «заблаговременно» (какъ говорилъ Иванъ Карамазовъ) отказываемся отъ этой вселенской гармоніи, отъ трансцендентнаго примиренія и оправданія. Мы отвергаемъ это рѣшеніе міровой Загадки, хотя бы оно и было сверхъ-человѣческой Истиной: эта Истина—не для человѣка.

Да къ тому же еще вопросъ: эта трансцендентная Истина—полно, истинна ли она? Эта «трансцендентная гармонія»—не великій ли соблазнъ, великое испытаніе человѣческаго духа? И быть можетъ, по слову Л. Шестова, «кто выдержитъ его, это испытаніе, кто отстоитъ себя, не испугавшись ни Бога, ни Дьявола съ его прислужниками — тотъ войдетъ побѣдителемъ въ иной міръ»? Мы только скажемъ — не въ иной міръ, а въ земной міръ, въ міръ человѣческихъ слезъ, радостей, печалей, творчества, исканій, борьбы, полноты бытія...

IX.

Заключаемъ тѣмъ, съ чего начали: указаніемъ на три пути, по которымъ люди идутъ за поисками смысла жизни. Мы видѣли только-что, что боковыя тропинки этихъ путей переплетаются, но это не мѣшаетъ главнымъ дорогамъ рас-

ходиться далеко въ разныя стороны отъ одного общаго исходнаго пункта.

Всѣ мы помнимъ сказочнаго витязя у камня, на распутіи трехъ дорогъ: сидитъ мòлодецъ на добрòмъ конѣ и читаетъ надпись на камнѣ. А на камнѣ томъ напи́сано: на̀право поѣдешь — вмѣстѣ съ конемъ пропадешь; налѣво поѣдешь— голову сложишь, а конь уцѣлѣетъ; прямо поѣдешь — конь пропадетъ, а самъ будешь живъ. Это исторія каждаго изъ насъ: каждый изъ насъ въ свое время приходитъ къ великому распутію трехъ дорогъ; каждый изъ насъ — на добрòмъ конѣ (имя ему — «метафизическія иллюзіи»), и летаетъ этотъ конь выше дерева стоячаго, выше облака ходячаго... И читаемъ мы на камнѣ при распутіи великія и загадочныя слова: Б о г ъ, Ч е л о в ѣ ч е с т в о, Ч е л о в ѣ к ъ...

Мистическая теорія прогресса усиленно убѣждаетъ насъ повернуть направо, увѣровать въ Б о г а, увѣровать въ трансцендентный смыслъ исторіи, въ божественный смыслъ всего бытія. Но на этой дорогѣ, того и гляди, вмѣстѣ съ конемъ пропадешь: будешь всю жизнь вѣровать въ невѣроятное, будешь возлагать надежды на трансцендентное—и все ближе и ближе будешь подходить къ тому мѣсту пути, гдѣ ждетъ тебя неизбѣжная Смерть. И что же, если тогда окажется, что (по слову Ренана) nous avons été dupés? Когда потухнетъ наше сознаніе, когда мы перейдемъ во мракъ и небытіе, когда метафизическія иллюзіи—состоянія нашего сознанія — погибнутъ вмѣстѣ съ нимъ, когда великій трансцендентный смыслъ бытія окажется насмѣшливой сказкой, тогда исполнится пророчество, начертанное на камнѣ: направо поѣдешь—вмѣстѣ съ конемъ пропадешь...

Позитивная теорія прогресса старается, напротивъ, убѣдить насъ свернуть налѣво, увѣровать въ Ч е л о в ѣ ч е с т в о, въ его счастье, въ его радостное и свѣтлое будущее, построенное на нашей крови и на нашихъ страданіяхъ. Однако на этомъ пути хотя конь, быть можетъ, и уцѣлѣетъ (вѣдь метафизическія иллюзіи этого сорта часто составляютъ своего рода групповое, соціальное вѣрованіе), но самъ-то ужъ навѣрное голову сложишь. Всю жизнь будешь возлагать надежды на будущее, будешь вѣровать въ невѣроятное—въ грядущій земной рай, въ земное блаженство дале-

кихъ поколѣній; всю жизнь будешь считать себя средствомъ для миѳической цѣли—и съ этой вѣрой подойдешь къ тому мѣсту пути, гдѣ стережетъ неизмѣнная Смерть. Что, если только тогда станетъ яснымъ человѣку, что всю жизнь онъ обманывалъ себя дѣтской сказкой, что земное блаженство человѣчества—миѳъ, что рано или поздно все человѣчество исчезнетъ съ лица земли, что впереди нѣтъ никакой объективной цѣли?..

Остается третій путь, и слѣдовать по этому пути насъ убѣждаетъ міровоззрѣніе имманентнаго субъективизма, геніальнымъ выразителемъ котораго въ русской литературѣ былъ Герценъ. Конь пропадетъ, а самъ будешь живъ: мы должны понять и принять, что объективной цѣли нѣтъ, что субъективной самоцѣлью является Человѣкъ, что смысломъ жизни является вся доступная человѣку полнота бытія—и тогда только „самъ будешь живъ". Правда, и на этомъ пути раньше или позже встрѣтишь неизбѣжную Смерть; но не побѣдительницей является она здѣсь, а побѣжденной. Ибо не въ будущемъ искалъ я смысла и цѣли своего бытія — надъ чѣмъ всегда иронически торжествуетъ Смерть,—а въ каждомъ мигѣ своей жизни. Смерть безсильна загородить дорогу къ той трансцендентной сказкѣ, къ которой человѣкъ вовсе и не стремился; смерть безсильна зачеркнуть прошлое человѣка; смерть безсильна передъ тѣмъ, кто цѣлью считалъ полноту бытія каждаго мига своей жизни... Горе только тому, кто слишкомъ поздно приходитъ къ сознанію бѣднаго дяди Вани: „погибла жизнь пропала жизнь!".

Эта полнота бытія—главное въ міровоззрѣніи человѣка; если вы принимаете ее, то намъ, пожалуй, даже не о чемъ спорить. Васъ утѣшаетъ вѣра въ загробное воздаяніе?—вѣрьте! Вы услаждаетесь мыслью о грядушемъ блаженствѣ человѣчества?—услаждайтесь, утѣшайтесь, вѣрьте въ Бога, въ Человѣчество, въ прогрессъ, во что вамъ угодно, вѣрьте, если не можете жить безъ вѣры. Вѣрьте — но при этомъ живите полной жизнью, живите всѣми струнами души; расширяйте жизнь—а потому дорожите соціальнымъ чувствомъ; углубляйте жизнь—а потому проникайте въ глубь научнаго и художественнаго творчества. Живите „во-всю", живите всѣмъ: и борьбой за великіе субъективные идеалы, и шу-

момъ валовъ моря, и исканіемъ, и творчествомъ, и переливомъ голосовъ лѣса, и яркими радостями, и острыми печалями... Живите такой полной жизнью, чтобы, если понадобится, не жаль было завершить ее гибелью за великіе субъективные идеалы человѣческой правды, человѣческой справедливости, во имя великаго чувства соціальности...

1909 г.

Великій Панъ.

(О творчествѣ М. Пришвина).

I.

«Первою моею мыслью былъ Богъ, второю— Человѣчество, третьею и послѣднею — Человѣкъ»: эта знаменитая фраза Фейербаха формулируетъ собою почти общій законъ развитія человѣческой мысли. Правда, многіе останавливаются въ своемъ развитіи на первомъ или второмъ этапѣ; другіе, пытливые и ищущіе, продѣлываютъ второй путь обратнаго развитія: отъ Человѣка они снова идутъ къ Человѣчеству или Богу — но уже новымъ углубленнымъ путемъ. Здѣсь тысячи тропинокъ, здѣсь обобщать нельзя, здѣсь все личное, индивидуальное; но общій законъ все-же остается въ силѣ. Если нужны типичные примѣры — то вотъ Бѣлинскій, продѣлавшій за тысячи и десятки тысячъ людей этотъ общій путь развитія мысли [1]).

Такъ въ мысли; иное въ чувствѣ. Перефразируя слова Фейербаха, можно сказать: первымъ моимъ чувствомъ было индивидуальное, вторымъ—соціальное, третьимъ и послѣднимъ—универсальное. Начиная съ «я», человѣкъ приходитъ къ «ты»—и только такимъ путемъ можетъ расширить діапазонъ жизни своего «я»; чувство индивидуальности дополняется чувствомъ соціальности [2]). Это только первый шагъ;правда, многіе не дѣлаютъ и этого перваго шага, но общій законъ развитія чувства именно таковъ. Слѣдующій шагъ—даль-

---

[1]) Подробно останавливаюсь я на этомъ въ книгѣ „Великія исканія“.

[2]) См. объ этомъ выше въ статьѣ „Еще о смыслѣ жизни“, а также и въ книгѣ „О смыслѣ жизни“.

нѣйшее расширеніе своего «я», переходъ къ чувству универсальности, къ тому великому чувству, которое—по выраженію Канта—«расширяетъ мое единеніе среди міровъ надъ мірами... Такимъ путемъ мы приходимъ къ «универсу», «космосу»—и приходимъ не путемъ отвлеченной мысли, а путемъ непосредственнаго чувства, непосредственнаго переживанія. Не всякому это дано—какъ не всякому дано и соціальное чувство; здѣсь снова тысячи тропинокъ, здѣсь снова обобщать нельзя: у иного личность растворяется въ соціальномъ или космическомъ, у другого личность сохраняется и только жадно впитываетъ въ себя расширяющія ея міръ ощущенія.

Если, говоря о мірѣ мысли, мы обыкновенно иллюстрируемъ наши положенія примѣрами изъ области въ широкомъ смыслѣ философіи, то разные типы развитія чувства мы неизбѣжно черпаемъ изъ сферы художественнаго творчества. Художникъ-творецъ, доступный «вселенскому чувству», вводитъ насъ въ область «космическихъ чувствованій»,—если только мы сами имѣемъ въ себѣ хоть задатокъ этого чувства; художникъ заражаетъ насъ, заставляетъ переживать—хотя бы отраженнымъ чувствомъ—то, что самъ онъ переживалъ и переживаетъ. Но, конечно—не всѣмъ даетъ онъ эту возможность. Соціальное и универсальное чувство аналогичны зрѣнію—это мнѣ уже приходилось отмѣчать. Nie kazden sliepy widzi — гласитъ съ великолѣпнымъ народнымъ юморомъ польская пословица. И какъ слѣпому никогда не получить понятія о цвѣтѣ, такъ и страдающему соціальной или космической слѣпотой—никогда (или впредь до излеченія) не переживать соціальныхъ и космическихъ чувствованій. По отношенію къ такимъ людямъ—самый геніальный художникъ безсиленъ, какъ, напримѣръ, былъ безсиленъ Шиллеръ по отношенію къ Бѣлинскому, который въ тридцатыхъ годахъ болѣлъ своего рода соціальной слѣпотой. То-же относится и къ художнику-космологу: онъ заражаетъ «вселенскимъ чувствомъ» только тѣхъ, которые способны хоть въ малой степени переживать чувство своего единства съ травинкой на землѣ и звѣздой на небѣ, которые чувствуютъ и знаютъ, что «живъ Великій Панъ». Но насильно заставить идти съ собой къ Великому Пану нельзя.

Въ современной русской литературѣ есть одинъ художникъ, почти никому неизвѣстный, въ произведеніяхъ котораго ярко проявляется «Великій Панъ». Это—М. Пришвинъ. Многимъ-ли извѣстно это имя? А между тѣмъ въ лицѣ его мы имѣемъ подлиннаго творца-художника, что особенно цѣнно въ наше, наводненное «беллетристикой» время. Да впрочемъ — такъ было и не только въ «наше время»: это явленіе—внѣ времени и пространства...

Бѣлинскій когда-то дѣлилъ представителей «изящной словесности» на двѣ группы, неравныя по величинѣ и по значенію: беллетристы и художники. Художникъ— это милостію Божіей поэтъ; онъ творитъ; онъ «мыслитъ образами»; онъ создаетъ художественныя, эстетическія цѣнности. Беллетристъ — это не поэтъ, но, иной разъ, очень почтенный человѣкъ, избравшій своей профессіей литературу; онъ сочиняетъ, комбинируетъ, усердствуетъ и вырабатываетъ иногда очень «полезныя» произведенія. Беллетристовъ много, художниковъ мало; но цѣнность и значеніе литературѣ даютъ только «художники».

Давно уже были высказаны подобныя мысли, съ тѣхъ поръ многое измѣнилось подъ нашимъ литературнымъ зодіакомъ, но все же и теперь, какъ въ дни Бѣлинскаго, какъ было всегда и какъ будетъ всегда, «художники» — наперечетъ, а «беллетристы» существуютъ въ неограниченномъ количествѣ. Сколько ихъ, кто ихъ гонитъ въ литературу? Пересмотрите наши толстые и тонкіе журналы, безчисленные альманахи, отдѣльныя изданія—и вы будете подавлены грудой беллетристической макулатуры. Тутъ и «полезныя» произведенія писателей «старой школы»: надо любить «младшаго брата»; надо бороться за освобожденіе народа; надо быть нравственными... Тутъ и нарочито «вредныя» произведенія, провозглашающія «новую истину»: оголяйтесь! насилуйте! все позволено! (бѣдный Достоевскій! бѣдный Нитцше!). Тутъ и беллетристы, мнящіе себя художниками: безконечно расплодившіеся за послѣднее время, точно кролики, «стилизаторы» разныхъ мастей и степеней—кто подъ «ампиръ», кто подъ рококо, кто подъ эллинизмъ, а кто и на всѣ руки мастеръ. А потомъ всѣ эти стилисты ради стиля, всѣ эти подражатели каждому посредственному таланту, всѣ эти самые передовые «беллетристы», стремящіеся épater le bourgeois, и т. д., и т. д...

Задыхаешься подъ грудой всей это макулатуры. По неволѣ съ недовѣріемъ берешься за каждую новую повѣсть, разсказъ, книгу новаго автора: такъ много вѣроятія, что однимъ «беллетристомъ» въ русской литературѣ будетъ больше! И такъ радостно ошибиться и встрѣтить «художника» въ новомъ, незнакомомъ раньше авторѣ!

Съ такимъ радостнымъ чувствомъ читаешь книги М. Пришвина. Имя это, повторяю, мало кому извѣстно, и врядъ-ли много говоритъ оно даже тѣмъ, которые это имя знаютъ. Читающіе «Русскую Мысль» припомнятъ, что не такъ давно они встрѣтили эту подпись подъ очерками «Черный арабъ» и «Птичье кладбище», а нѣсколько раньше въ томъ же журналѣ были помѣщены путевыя впечатлѣнія М. Пришвина въ лѣсахъ Заволжья («У стѣнъ града невидимаго»). Читатели «Русскихъ Вѣдомостей» вспомнятъ, что довольно часто въ этой газетѣ помѣщались и помѣщаются статьи М. Пришвина полу-публицистическаго характера; тамъ же часто помѣщались различные дорожные очерки этого автора, этнографическаго характера («Адамъ и Ева», впечатлѣнія отъ переселенчества и др.). Спеціалисты словесники и этнографы прибавятъ, что М. Пришвинымъ напечатанъ рядъ матеріаловъ народнаго творчества, собранныхъ имъ на нашемъ далекомъ сѣверѣ. И, наконецъ, только очень и очень немногіе, внимательно слѣдящіе за литературой читатели, дополнятъ все это свѣдѣніемъ, что у М. Пришвина есть двѣ большія книги (кому онѣ извѣстны?), описанія его путешествій по сѣверу, по Мурману, Лапландіи, Норвегіи: «Въ краю непуганныхъ птицъ» и «За волшебнымъ колобкомъ» (обѣ изд. Девріена, 1907 и 1908 гг.). Однимъ словомъ, передъ нами почтенный этнографъ, объективный изслѣдователь народной жизни и творчества, публицистъ старой, почтенной либеральной газеты... Многимъ ли придетъ въ голову, что эта характеристика не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительностью, что передъ нами не объективный этнографъ, а чуткій и тонкій художникъ, быть можетъ субъективнѣйшій изъ всѣхъ современныхъ, художникъ въ этнографіи, художникъ въ своей псевдо-публицистикѣ... Поистинѣ: духъ дышитъ, гдѣ хочетъ...

М. Пришвинъ — крупный, сформировавшійся, цѣльный художникъ; о немъ можно, о немъ нужно говорить. У него

есть своя выработанная форма, свой стиль, живой и развивающійся; но—и это еще важнѣе въ наше время—у него есть также свой Богъ, которому онъ служитъ. Однимъ чувствомъ, однимъ настроеніемъ пронизано все его художественное творчество; одинъ Богъ царитъ въ его душѣ; одна тема проходитъ черезъ всѣ его произведенія—Великій Панъ. Онъ хочетъ подойти къ рѣшенію вѣчныхъ міровыхъ вопросовъ, но чувствуетъ, что для этого недостаточно «безумно вопить» (какъ многіе изъ современныхъ писателей) или биться головою о «желѣзныя врата необходимости». Нѣтъ, для этого надо прежде всего сумѣть слиться съ тѣмъ міромъ природы, въ которомъ живешь, который тебя окружаетъ. Не среди каменныхъ стѣнъ города ищетъ отвѣта М. Пришвинъ на «проклятые вопросы»; нѣтъ, онъ уходитъ въ степь, на море, въ глухіе далекіе лѣса...

Онъ описываетъ свои впечатлѣнія—и какъ будто бы передъ нами этнографическія статьи, путевые очерки; но это только фонъ картины. Вся сущность—въ интимнѣйшихъ переживаніяхъ автора лицомъ къ лицу съ «природой», будь то мертвыя скалы Ледовитаго океана или выжженныя киргизскія степи, будь то распластанная акула на палубѣ траулера, лопарская семья на берегу озера, или толпа «дѣтей природы»—звѣрей въ лѣсу, людей въ пустынѣ, рыбъ въ океанѣ. Передъ нами всюду—тонко чувствующій, чуткій, субъективнѣйшій художникъ, ищущій (быть можетъ безсознательно для самого себя) у природы отвѣта на вѣковѣчные вопросы духа. Зло міра, грѣхъ, смерть... Не среди каменныхъ стѣнъ задается онъ этими вопросами; онъ идетъ искать отвѣта у Великаго Пана.

II.

Первая книга М. Пришвина — «Въ краю непуганныхъ птицъ»—появилась еще въ 1907 году; годомъ раньше былъ напечатанъ въ журналѣ «Родникъ» небольшой его разсказъ «Сашокъ», очень характерный для всего дальнѣйшаго творчества этого писателя. Видно было, что молодого автора тянетъ подальше отъ людей и городовъ, поближе къ землѣ и свободѣ, «въ край непуганныхъ птицъ». Если это гдѣ еще и возможно, то именно у насъ, въ Россіи: «черезъ два-три

дня ѣзды отъ Петербурга у насъ можно попасть почти въ совсѣмъ неизученную страну»—говоритъ въ одной изъ своихъ книгъ авторъ (II, стр. VII [1]). Онъ и отправился въ эту «неизученную страну»—Выговскій край, Заонѣжье,—отправился, чтобы «отвести свою душу, чтобы уже не оставалось тѣни сомнѣній въ окружающей меня природѣ, чтобы сами люди, эти опаснѣйшіе враги природы, ничего не имѣли общаго съ городомъ, почти не знали о немъ и не отличались отъ природы» (I, 2). И черезъ немного дней пути онъ попалъ въ эти мѣста свободныхъ людей и непуганныхъ птицъ...

«Охотникъ насторожился. Что-то завозилось на верху, на ближайшей соснѣ у костра.

— Птица шевéлится. Вѣрно рябокъ подлетѣлъ. Ишь ты, не боится!..

Посмотрѣлъ на меня, сказалъ значительно, почти таинственно:

— Въ нашихъ лѣсахъ много такой птицы, что и вовсе человѣка не знаетъ.

— Непуганная птица?

— Нетрáщенная, много такой птицы, есть такая»... (I, стр. VI).

По двумъ-тремъ словамъ узнаешь художника; «этнографія», какъ я уже сказалъ, была только маской, формой, оболочкой. Да и самъ авторъ не скрываетъ этого; на первыхъ же страницахъ первой своей книги онъ откровенно сообщаетъ о причинѣ своихъ этнографическихъ занятій. «По опыту я зналъ,—говоритъ онъ,—что въ нашемъ отечествѣ теперь уже нѣтъ такого края непуганныхъ птицъ, гдѣ бы не было урядника. Вотъ почему я запасся отъ Академіи Наукъ и губернатора открытымъ листомъ: я ѣхалъ для собиранія этнографическаго матеріала»... (I, 2). Правда, не только force majeur, въ образѣ урядника, заставила М. Пришвина обратиться къ этнографіи, но и самъ онъ съ любовью отдавался «этому прекрасному и глубоко интересному занятію»: свидѣтельствомъ этого являются хотя бы напечатанные его этнографическіе труды. Но все же, повторяю, это

[1]) Книги М. Пришвина мы будемъ, для сокращенія, обозначать цифрами: I—„Въ краю непуганныхъ птицъ"; II—„За волшебнымъ колобкомъ"; III—„У стѣнъ града невидимаго".

было только внѣшнимъ дѣломъ, оболочкой; душа художника устремлялась въ другую сторону — не объективнаго изученія, а субъективнаго проникновенія. Да и внѣшнее дѣло свое онъ понималъ не какъ ученый, а какъ художникъ. «Мое занятіе — пишетъ онъ, — этнографія, изученіе жизни людей. Почему бы не понимать его, какъ изученіе души человѣческой вообще. Всѣ эти сказки и былины говорятъ о какой-то невѣдомой общечеловѣческой душѣ. Въ созданіи ихъ участвовалъ не одинъ только русскій народъ. Нѣтъ, я имѣю передъ собою не національную душу, а всемірную, стихійную, такую, какою она вышла изъ рукъ Творца». (II. 28).

Подъ такимъ «аспектомъ» написалась первая книга М. Пришвина — «Въ краю непуганныхъ птицъ». Это была только проба пера начинающаго художника. Написана она суховато, такъ что, пожалуй, у читателей могло, дѣйствительно, остаться впечатлѣніе полной «объективности» автора, «эпичности» его повѣствованія. Авторъ прячетъ самого себя, какъ будто хочетъ быть только фотографомъ, только объективнымъ изслѣдователемъ. Это ему не удается: всюду прорывается художникъ, дающій цѣлые типы — сказочника и охотника Мануйлы, вопленицы Максимовны, колдуна Микулаича... Всюду чувствуется, что фотографической правды здѣсь нѣтъ, что въ одномъ типѣ соединены, быть можетъ, три-четыре живыхъ человѣка, встрѣтившихся автору въ далекихъ сѣверныхъ лѣсахъ. Всюду чувствуется, кромѣ того, что не отдѣльныя лица интересуютъ автора, а вся стихія народной жизни, вся стихія природы. Всюду чувствуется, наконецъ, что художникъ не даетъ себѣ воли, втискиваетъ себя на прокрустово ложе; и все-таки передъ нами—художественное произведеніе, хотя и, повторяю, написанное съ намѣренной, плохо удающейся суховатостью. Особенно характеренъ въ этомъ отношеніи небольшой этюдъ «На угорѣ», написанный «вмѣсто предисловія» къ этой первой книгѣ М. Пришвина. Этюдъ этотъ набросанъ въ свободной художественной формѣ, составляющей довольно рѣзкій контрастъ съ дальнѣйшей quasi-эпической формой изложенія.

Если вглядѣться глубже, то начинаетъ казаться что и эта «эпичность» имѣетъ свои вѣскія причины. Нашего автора всюду и вездѣ интересуетъ общее, а не частное: лѣсъ

и вода, а не вотъ это покрившееся дерево или вотъ этотъ пѣвучій ручей: Великаго Пана онъ ощущаетъ въ массѣ, а не въ личности. И такое ощущеніе сопутствуетъ ему всюду— и около волнъ Воицкаго падуна, и среди людскихъ волнъ Невскаго проспекта. Отдѣльныя брызги, отдѣльные люди нужны автору только для того, чтобы понять, осмыслить, ощутить массу, цѣлое. Вотъ картина водопада: «...гулъ, хаосъ! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себѣ отчетъ, что же я вижу? Но тянетъ и тянетъ смотрѣть, словно эта масса сцѣпленныхъ частицъ хочетъ захватить и увлечь съ собою въ бездну, испытать вмѣстѣ все, что тамъ случится. Но внимательно всматриваясь, замѣчаешь, что прыгающія брызги у темной скалы не всегда взлетаютъ на одну и ту же высоту: въ прошедшую секунду выше или ниже, въ слѣдующую—не знаешь, какъ высоко онѣ прыгнутъ. Смотришь на столбики пѣны. Они вѣчно отходятъ въ тихое мѣстечко подъ навѣсъ черной каменной глыбы, танцуютъ тамъ на чуть колеблющейся водѣ. Но каждый изъ этихъ столбиковъ не такой, какъ другой. А дальше и все различно, все не то въ настоящую секунду, что въ прошедшую, и ждешь неизвѣстной будущей секунды. Очевидно, какія-то таинственныя силы вліяютъ на паденія воды, и въ каждый моментъ всѣ частички иныя: водопадъ живетъ какою то безконечно сложной собственной жизнью...» (I, 37). А вотъ картина Невскаго проспекта: «...гулъ и хаосъ! Темная масса спѣшитъ, бѣжитъ, движется впередъ и назадъ, перебирается изъ стороны въ сторону между безпрерывно мчащимися экипажами и исчезаетъ въ переулкахъ. Утомительно смотрѣть, невозможно себѣ выбрать отдѣльное лицо: оно сейчасъ же исчезаетъ, смѣняется другимъ, третьимъ, и такъ безъ конца. Но вотъ мысленно проводится раздѣляющая линія. Черезъ нее мелькаютъ люди и застываютъ въ сознаніи: генералъ въ красномъ, трубочистъ, барыня въ шляпѣ, ребенокъ, толстый купецъ, рабочій. Они другъ возлѣ друга, почти касаются. Вдругъ становится легко, раздѣляющая линія больше не нужна, все понятно. Это не толпа, это не отдѣльные люди. Это глубина души одного гигантскаго существа, похожаго на человѣка. Мелькаютъ, смѣняются его желанія, стремленія, ощущенія. Но само невѣдомое существо спокойно шагаетъ впередъ и впередъ» (I, 193).

Вотъ характернѣйшія для М. Пришвина ощущенія, настроенія. Казалось бы, повторяю, что все это невольно приводитъ къ «эпичности», «объективности». И дѣйствительно—что найдете вы «эпичнѣе», «объективнѣе» Великаго Пана, въ которомъ растворяется все субъективное, личное, индивидуальное? Это такъ; но вотъ и другой вопросъ: какъ же подойдете вы къ Великому Пану иначе, чѣмъ съ глубочайшей, интимнѣйшей, субъективнѣйшей стороны своей личности, своей сущности? И этотъ кажущійся «эпосъ» М. Пришвина есть въ дѣйствительности интимнѣйшая «лирика», есть только глубокое субъективное проникновеніе художника въ окружающій его міръ; еще разъ повторяю, что М. Пришвинъ—быть можетъ субъективнѣйшій изъ всѣхъ современныхъ нашихъ художниковъ.

До какой степени умѣетъ онъ растворять въ себѣ все окружающее, преломлять его черезъ призму своего чувства, своего настроенія — объ этомъ можно составить понятіе, только прочтя и перечтя его книги. Но и наоборотъ: удивляешься, читая эти книги, до какой степени умѣетъ авторъ самъ растворяться во всемъ окружающемъ. Художникъ, онъ заражаетъ насъ своими чувствованіями и переживаніями; наблюдатель, — онъ самъ заражается чувствованіями и переживаніями всего окружающаго. Когда онъ попадаетъ въ глухіе заонѣжскіе лѣса, на пустынный Корельскій островъ, гдѣ добрый колдунъ Микулаичъ «отпущаетъ скотину», заговариваетъ ее отъ нападенія звѣря, а злой колдунъ Максимка «портитъ» эти заговоры, «напуская» медвѣдя на коровъ,—то онъ начинаетъ вѣрить рѣшительно во все, чему вѣритъ окружающее. И дѣло здѣсь не только въ томъ, что—чувствуетъ онъ — глубокая истина скрыта подъ корой самыхъ нелѣпыхъ повѣрій, а въ томъ, что переживанія и чувствованія окружающаго заражаютъ его, заставляютъ резонировать его чувствованія, его настроенія. Я даже думаю, что услышавъ отъ мѣстныхъ людей разсказъ о томъ, какъ въ одинъ запомнившійся голодный годъ «Выгъ-озерскій хозяинъ (водяной) Сегъ-озерскому рыбу въ карты проигралъ, и всѣ голодные круглый годъ сидѣли» (I, 70—71),—М. Пришвинъ хоть на минуту повѣрилъ этому разсказу; хоть на мгновенье — да повѣрилъ... Конечно, я слегка сгущаю краски; но именно въ этомъ только направленіи можно

войти въ міръ ощущеній и переживаній этого чуткаго художника.

Когда увидишь все это, тогда только поймешь, какъ далеко отъ всякой «этнографіи», отъ всякаго «эпоса» стоитъ М. Пришвинъ въ первой своей книгѣ, «очеркахъ Выговскаго края»; тогда только почувствуешь, на какое прокрустово ложе клалъ себя самъ авторъ, пытаясь — хотя и неудачно—дать только «фотографическое изображеніе края».

Такъ продолжаться не могло: «художникъ» долженъ былъ побѣдить «объективнаго изслѣдователя». Появилась вторая книга М. Пришвина—«За волшебнымъ колобкомъ». Это яркое художественное произведеніе почти никому неизвѣстно. Да и немудрено: издатель отнесъ его въ рубрику «книгъ для юношества» (!), соотвѣтственно издалъ и этимъ устроилъ книгѣ похороны по первому разряду... Кому изъ читателей и изъ критиковъ интересна «книга для юношества»? А между тѣмъ, эта книга — яркое художественное произведеніе, въ которомъ авторъ сдѣлалъ громадный шагъ впередъ отъ своей первой книги. Здѣсь онъ уже не старается скрыть всю интимную субъективность своего творчества; яркія краски, причудливые цвѣта, которые видитъ читатель, явно прошли сквозь призму художественнаго творчества автора. Бѣлаго цвѣта нѣтъ въ этой книгѣ; весь міръ разложенъ на цвѣта. Форма письма оригинальная, характерная для М. Пришвина; стиль яркій, пользующійся всѣми завоеваніями въ этой области послѣднихъ десятилѣтій. Что такая книга могла оставаться неизвѣстной или малоизвѣстной— это одинъ изъ курьезовъ нашей литературной жизни.

III.

«Бабушка, испеки ты мнѣ волшебный колобокъ, пусть онъ уведетъ меня въ лѣса дремучіе, за синія моря, за океаны.

Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусѣку помела, набралось муки пригоршни съ двѣ и сдѣлала волшебный колобокъ. Онъ полежалъ, полежалъ, да вдругъ и покатился съ окна на лавку, съ лавки на полъ, по полу да къ дверямъ, перепрыгнулъ черезъ порогъ въ сѣни, изъ

сѣней на крыльцо, съ крыльца на дворъ, со двора за ворота, дальше, дальше...

Я за колобкомъ, куда приведетъ»... (II, 1—2).

Такъ начинаетъ М. Пришвинъ свою вторую книгу, свое путешествіе «въ страну безъ имени, безъ территоріи, куда мы въ дѣтствѣ бѣжимъ»... Это уже разрывъ со всякой «этнографіей» и «эпосомъ»; и хотя вмѣсто «страны безъ имени» авторъ попалъ въ Соловки, Поморье, Лапландію, Норвегію, однако все его путешествіе дѣйствительно представляется какимъ то исканіемъ невѣдомой страны. Конечно, не новую страну искалъ М. Пришвинъ, а только новыхъ впечатлѣній, новаго приближенія къ Великому Пану; этнографія и эпосъ покорились «автографіи» и лирикѣ. А на всякій случай, для «скептиковъ», авторъ все-таки приберегъ отговорку: «я имѣлъ серьезныя порученія отъ Географическаго общества» (II, 1). Но дальше, во всей книгѣ объ этомъ нѣтъ ни одного слова: «серьезныя порученія», этнографизмъ, эпичность всюду замѣнились, повторяю, субъективнѣйшей интимной лирикой души, идущей «за волшебнымъ колобкомъ»—къ Великому Пану. Да и какъ же можно подойти къ Великому Пану иначе, чѣмъ отъ глубины тайниковъ души человѣческой, спрошу я еще разъ?

Отъ индивидуальнаго къ универсальному, отъ личности къ космосу; но все-же на лонѣ Великаго Пана нужна и цѣнна автору живая душа человѣческая, нужна индивидуальность живого существа. И не потому, чтобы онъ боялся одиночества. «Это одиночество—думаетъ онъ, сидя въ глухой поморской деревушкѣ—меня нисколько не стѣсняетъ, даже освобождаетъ. Если захочу общенія, то люди всегда подъ рукой. Развѣ тутъ въ деревнѣ не люди? Чѣмъ проще душа, тѣмъ легче увидѣть въ ней начало всего. Потомъ, когда я поѣду въ Лапландію, вѣроятно людей не будетъ, останутся птицы и звѣри. Какъ тогда? Ничего. Я выберу какого-нибудь умнаго звѣря. Говорятъ, тюлени очень кроткіе и умные. А потомъ, когда останутся только черные скалы и постоянный блескъ не сходящаго съ неба солнца? Что тогда? Камни и свѣтъ... Нѣтъ, этого я не хочу... Мнѣ сейчасъ страшно... Мнѣ необходимо нуженъ хоть какой-нибудь кончикъ природы, похожій на человѣка. Какъ же быть тогда? Ахъ, да, очень просто, я загляну туда въ бездну и удеру:

ла-та-та... И опять запою: я отъ дѣдушки ушелъ, я отъ бабушки ушелъ» (II, 29).

Нѣтъ одиночества тамъ, гдѣ есть жизнь, гдѣ царитъ Великій Панъ. И даже, чѣмъ дальше отъ людей, чѣмъ ближе къ одиночеству, тѣмъ ближе къ великому, космическому, вселенскому чувству. Авторъ попадаетъ въ Соловецкій монастырь, присутствуетъ на торжественныхъ богослуженіяхъ, видитъ истомленныя, измученныя, но счастливыя и сіяющія лица съ такимъ трудомъ добравшихся сюда богомольцевъ. Торжественныя церковныя богослуженія оставляютъ его холоднымъ; ему понятнѣе и ближе хотя бы то богослуженіе въ природѣ, которое совершается каждый день при восходѣ солнца. Сіяющая вѣра народная трогаетъ его, но не больше, чѣмъ устремленіе души къ Великому Пану. «Эта простая народная вѣра—пишетъ онъ изъ Соловковъ—меня волнуетъ такъ-же, какъ зелень лѣсовъ, такъ-же, какъ природа въ тѣ моменты, когда увлечешься охотой и станешь однимъ изъ тѣхъ лѣсныхъ существъ, которыя живутъ подъ каждымъ деревомъ» (II, 97). Обѣдня передъ черными иконами, подъ сводами церкви ему чужда; но вотъ послушайте, какъ онъ описываетъ, «птичью обѣдню», богослуженіе Великому Пану при восходѣ солнечномъ, на берегу Бѣлаго моря:

«Стукнулъ весломъ Иванушка, разбудилъ въ водѣ огнистыя зыбульки.

Зыбульки зыбаются...

А тамъ парусъ, судно бѣжитъ!

...Не парусъ, это чайка уснула на камнѣ.

Мы подъѣзжаемъ къ ней. Она лѣниво потягивается крыльями, зѣваетъ и летитъ далеко, далеко въ море. Летитъ, будто знаетъ, зачѣмъ и куда. Но куда-же она летитъ? Есть тамъ другой камень? Нѣтъ... Тамъ дальше морская глубина. А можетъ быть тамъ въ неизвѣстной пурпуровой дали гдѣнибудь служатъ обѣдню? Это первая, мы ее разбудили, она полетѣла, но еще не звонили.

Прозвенѣла свѣтлая, острая стрѣла...

Будто наши южныя степи откликнулись сюда на сѣверъ.

— Что это?

— Журавли проснулись.

— А тамъ наверху?

— Гагара вопитъ.

— Тамъ?

— Кривки на песочкѣ накликаютъ.

Протянулись веревочкой гуси, строгіе, старые, въ черномъ, одинъ за другимъ, всѣ туда, гдѣ исчезла таинственной темной точкой бѣлая чайка.

Гуси совсѣмъ какъ первые старики по дорогѣ въ деревенскую церковь. Потомъ повалили несмѣтными стаями гаги, утки, чайки. Но странно, всѣ туда, въ одномъ направленіи, гдѣ горитъ общій край моря и неба. Летятъ молча, только крылья шумятъ.

Къ обѣднѣ, къ обѣднѣ!

Но благовѣста нѣтъ... Странно... Почему это?

Когда это, гдѣ это служили еще такую прекрасную, таинственную и веселую обѣдню?» (II, 15—16).

Когда читаешь это, то снова чудится, что хоть на одно мгновеніе да всетаки увѣровалъ авторъ, что гдѣ-то тамъ, на краю моря и неба, воистину служится таинственная, торжественная и прекрасная «птичья обѣдня»; хоть на одно мгновеніе, но вполнѣ искренно удивился онъ: странно, почему-же нѣтъ благовѣста?.. Прочтите позднѣйшій его очеркъ «Птичье кладбище» („Русская Мысль“, 1911 г., № 7): вы сами заразитесь этой вѣрой и въ птичье кладбище, и въ птичью обѣдню, и во все то великое богослуженіе, которое безпрерывно совершается въ природѣ; ибо для автора, почувствуете вы, воистину живъ Великій Панъ. И это не только на берегу океана, но всюду и вездѣ: гдѣ есть жизнь, тамъ идетъ священнослуженіе предъ лицомъ Великаго Пана.

Но вѣдь тамъ, гдѣ жизнь, тамъ всюду и страданія, и муки, стоны раненнаго, хрипъ умирающаго, торжество сильнаго, гибель невиннаго? Какъ же входитъ все это, не диссонируя, въ великую литургію природы? Или быть можетъ, литургія эта идетъ только тамъ, гдѣ нѣтъ слезъ, нѣтъ муки, нѣтъ грѣха? Нѣтъ, наоборотъ: тамъ гдѣ «грѣха нѣтъ», тамъ мѣсто христіанской святости, монашескому аскезу; тамъ почти умолкаютъ голоса богослуженія Великому Пану. Стоя съ монахомъ на горѣ Анзерскаго острова въ Бѣломъ морѣ, подчиняясь впечатлѣнію «святости» въ окружающей природѣ, полуночнаго солнца, тишины и безгрѣховности — авторъ вспоминаетъ не о жизни, а о гробѣ. «Полуночный огонекъ глядитъ на насъ съ монахомъ, а мы стоимъ наверху высокой

горы, и отъ насъ внизъ сбѣгаютъ ели, сверкаютъ озера и море, море... Самимъ Богомъ предназначено это мѣсто для спасенія души, потому что въ этой природѣ, въ этой свѣтлости нѣтъ грѣха. Эта природа будто еще не доразвилась до грѣха... Это гробъ, и всѣ эти озера, зеленыя ели, весь этотъ дивный пейзажъ не что иное, какъ серебряныя ручки къ черной, мрачной гробницѣ [1])» (II, 81). Это гробъ потому, что во всей этой свѣтлости будто нѣтъ грѣха. Но спуститесь съ вершины горы, войдите подъ сѣнь елей, приблизьтесь къ плеску озеръ, къ волнамъ моря—и вы сейчасъ войдете въ область жизни, а значитъ и въ область «грѣха», въ область жизни природы и гибели тысячи тысячъ существъ. И вотъ это уже не «гробъ», а великая литургія жизни, ибо предъ лицомъ Великаго Пана гибель и смерть такъ-же прекрасны, какъ побѣда и жизнь, ибо нѣтъ грѣха предъ лицомъ Великаго Пана!

Въ первой своей книгѣ, говоря о народномъ творчествѣ языческаго періода, о великолѣпныхъ поэтическихъ «плачахъ» и «вопляхъ», М. Пришвинъ выражалъ мнѣніе, что въ этомъ языческомъ творчествѣ «разработана одна великая драма—борьба со смертью. И борьба не въ какомъ-либо переносномъ значеніи, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не упокоеніе и радость, какъ для христіанина, а величайшій врагъ. Человѣкъ могъ-бы жить вѣчно, но вотъ является это чудовище и поражаетъ его» (I, 44—45). Такъ нашъ авторъ разсуждаетъ; но, какъ художникъ, онъ великолѣпно побиваетъ свои-же разсужденія. Всѣ книги самого М. Пришвина, типичнаго и глубокаго «язычника», показываютъ, что и для язычника (—для него самого, но, конечно, не для близкихъ его) смерть не врагъ, а такое же прекрасное, естественное и великое *явленіе жизни*, какъ и все остальное. Такъ побѣждается Смерть и всѣ спутники ея; такъ отвѣчаетъ Великій Панъ вопрошающему его о жизни человѣку. Зло, смерть, убійство, гибель—все прекрасно; все хорошо, *ни въ чемъ грѣха нѣтъ*. Вспомните дядю Ерошку у Л. Толстого—вотъ пророкъ и глашатай Великаго Пана! «Ни въ чемъ грѣха нѣтъ, и на себѣ я не чувствую никакого изначальнаго грѣха, никакой

[1]) Объ этомъ выраженіи мы еще скажемъ ниже.

вины»—вотъ постоянное чувство самого М. Пришвина, и чувствомъ этимъ пронизаны всѣ его книги. Нѣтъ ни въ чемъ грѣха, зла, ужаса; предъ лицомъ Великаго Пана—нѣтъ трагедіи.

«Путь мой лежалъ по краю лѣсовъ у моря. Тутъ мѣсто борьбы, страданій. На одинокія сосны страшно и больно смотрѣть. Онѣ еще живыя, но изуродованы вѣтромъ, онѣ будто бабочки съ оборванными крыльями. Но иногда деревья срастаются въ густую чащу, встрѣчаютъ полярный вѣтеръ, пригибаются въ сторону земли, стонутъ, но стоятъ, и выращиваютъ подъ своей защитой стройныя зеленыя ели и чистыя прямыя березки. Высокій берегъ Бѣлаго моря кажется щетинистымъ хребтомъ какого-то сѣвернаго звѣря. Тутъ много погибшихъ, почернѣвшихъ стволовъ, о которые стучитъ нога, какъ о крышку гроба; есть совсѣмъ пустыя черныя мѣста. Тутъ много могилъ. Но я о нихъ не думалъ. Когда я шелъ, не было битвы, было объявлено перемиріе, была весна; березки, пригнутыя къ землѣ, поднимали зеленыя, головки, сосны вытягивались, выправлялись. А мнѣ нужно было добывать себѣ пищу, и я позволялъ себѣ увлекаться охотой, какъ серьезнымъ жизненнымъ дѣломъ»... (II, 7—8).

Вы видите: нѣтъ перемирія въ царствѣ Великаго Пана, нѣтъ мѣста для мысли о могилахъ; и если человѣку иногда становится «страшно и больно» за одинокую, обреченную гибели сосну, то это только мимолетная вспышка «человѣческаго, слишкомъ человѣческаго» чувства. Но тутъ же, отбросивъ мимолетную мысль и чувство, въ царствѣ Великаго Пана «человѣкъ» обращается въ «охотника»—и сразу переносится въ область, гдѣ нѣтъ грѣха, нѣтъ трагедіи. Вотъ охотникъ осторожно подкрадывается къ птицамъ: «я ползу совсѣмъ одинъ подъ небомъ и солнцемъ къ морю, но ничего этого не замѣчаю потому, что такъ много всего этого въ себѣ; я ползу, какъ звѣрь, и только слышу, какъ больно и громко стучитъ сердце: стукъ, стукъ. Вотъ на пути протягивается ко мнѣ какая-то наивная зеленая вѣточка, тянется, вѣроятно, съ любовью и лаской, но я ее тихонько, осторожно отвожу, пригибаю къ землѣ и хочу неслышно сломать: пусть не смѣетъ въ другой разъ попадаться мнѣ на пути, разъ... разъ... Она громко стонетъ»... (II, 9). Вотъ сломана живая вѣтка; вотъ убита птица, оставившая выводокъ птенцовъ—

ни въ чемъ грѣха нѣтъ у Великаго Пана. Иной разъ охотникъ старается убѣдить себя холодными разсужденіями, что убійство—грѣхъ. «Страсть къ охотѣ и природѣ,—разсуждаетъ онъ тогда,—питается одновременнымъ стремленіемъ къ убійству и любви, а такъ какъ эта страсть исходитъ изъ нѣдръ природы, то и природа для меня, какъ охотника,—только тѣснѣйшее соприкосновеніе убійства и любви»... (II, 10). Но это только холодныя разсужденія; снова раздается въ лѣсу, въ степи, на морѣ голосъ Великаго Пана—и снова нашъ авторъ твердо чувствуетъ, что голосъ этотъ даетъ ему отвѣтъ на вопросы жизни: ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Да и не въ убійствѣ вовсе дѣло: «ищешь птицу, чтобы убитъ ее, а мечтаешь о такой странѣ, гдѣ ихъ не убиваютъ, но и не кормятъ, и не охраняютъ, а живутъ съ ними по-просту, вотъ какъ этотъ діаконъ (на Соловкахъ), который бѣгалъ вокругъ березки за куропаткой, и, наконецъ, прогналъ ее камнемъ»... (II, 91). Но это возможно только въ мечтахъ о странѣ безъ имени, или, пожалуй, на Соловкахъ, гдѣ звѣри состоятъ на иждевеніи у монаховъ; царство Великаго Пана иное. Въ немъ убиваютъ, ибо въ немъ умираютъ; въ этомъ царствѣ нѣтъ жалости, ибо нѣтъ сознанія грѣха. Сознаніе это—голосъ иного міра, иного круга понятій; высшаго или низшаго круга и міра—не въ этомъ теперь дѣло, достаточно пока знать, что этотъ міръ иной, противоположный. Путешественникъ наводитъ ружье на бѣгущую спасать своихъ птенцовъ куропатку, а спутникъ его, лопарь-христіанинъ, останавливаетъ его руку: «У нея дѣтки, нельзя стрѣлять, надо пожалѣть... Назадъ бѣжитъ, къ дѣткамъ. Нельзя стрѣлять. Грѣхъ!» (II, 143). Вотъ голосъ этого иного міра: «надо пожалѣть», «грѣхъ!». Этихъ понятій нѣтъ и не можетъ быть въ царствѣ Великаго Пана, и нашъ авторъ-охотникъ, культурный европеецъ, ближе стоитъ въ этомъ отношеніи къ природѣ, чѣмъ остановившій его руку дикарь. «Если бы не лопарь,—размышляетъ нашъ путешественникъ,—я бы убилъ куропатку и не подумалъ бы о ея дѣтяхъ... Когда я убиваю птицу, я не чувствую состраданія. Когда я думаю объ этомъ... Но я не думаю. Развѣ можно думать объ этомъ... Охота есть забвеніе, возвращеніе къ себѣ первоначальному, туда, гдѣ начинается золотой вѣкъ, гдѣ та прекрасная страна, куда мы въ дѣтствѣ бѣжали, и гдѣ убиваютъ, не

думая объ этомъ и не чувствуя грѣха. Откуда у этого дикаря сознаніе грѣха? Узналъ-ли онъ его отъ такихъ праведниковъ, какъ св. Трифонъ (просвѣтитель лопарей), или такъ уже заложена въ самомъ человѣкѣ жалость къ птицамъ? Какъ-то странно, что охотничій инстинктъ во мнѣ начинается такой чистой, поэтичной любовью къ солнцу и зеленымъ листьямъ и къ людямъ, похожимъ на птицъ и оленей, и непремѣнно оканчивается, если я ему отдамся вполнѣ, маленькимъ убійствомъ, каплями крови на невинной жертвѣ. Но откуда эти инстинкты? Не изъ самой-ли природы, отъ которой далеки даже и лопари? Такъ подъ свистомъ комаровъ я раздумываю о своемъ непоколебимомъ, очищающемъ душу охотничьемъ инстинктѣ»... (II, 143—144). И еще: «охотничій инстинктъ—таинственное переселеніе, за тысячелѣтія назадъ... Будто снопъ зеленаго свѣта, цѣлый потокъ огромныхъ исцѣляющихъ силъ. Пусть надъ нами, охотниками, смѣются культурные люди, пусть охота имъ кажется невинной забавой. Но для меня это тайна, такая-же, какъ вдохновеніе, творчество. Это—переселеніе внутрь природы, внутрь того міра, о которомъ культурный человѣкъ стонетъ и плачетъ» (II, 108). Міръ этотъ, сродный душѣ М. Пришвина, и есть, повторяю, царство Великаго Пана.

Конечно, не всякій охотникъ можетъ въ это царство проникнуть, и наоборотъ, не всякій обитатель этого царства непремѣнно охотникъ. Если мы, вслѣдъ за авторомъ, остановились на «охотѣ», то только потому, что при этомъ простомъ примѣрѣ яснѣе всего выступаетъ надпись надъ вратами этого царства, этого храма природы: «ни въ чемъ грѣха нѣтъ»,—вотъ возгласъ, который раздается всюду на богослуженіи природы, на литургіи Великому Пану. И конечно, не въ одной охотѣ тутъ дѣло, а въ умѣніи всюду слышать и всегда слушать этотъ голосъ великаго язычника. Слышенъ этотъ голосъ — и понятна, и оправдана для М. Пришвина вся жизнь земная, вся жизнь человѣческая; заглохъ, умолкъ этотъ голосъ — и все ненужно, все непонятно. Интересно слѣдить за авторомъ, когда онъ изъ лѣсовъ и пустынь попадаетъ въ гущу европейской цивилизаціи, изъ дебрей Лапландіи и Мурмана—въ трудовую мѣщанскую Норвегію. «Ясенъ и простъ кажется теперь этотъ смыслъ человѣческой жизни, направленной по твердой ко-

леѣ упорнаго будничнаго труда» (II, 285). Но ясно, что эту твердую колею радъ покинуть нашъ авторъ для бездорожья лѣсовъ и степей, для общей жизни съ природой. Живъ Великій Панъ—и только къ нему тяготѣетъ язычникъ-авторъ. И даже въ Норвегіи онъ прежде всего замѣтилъ не культуру, не человѣческій трудъ, а землю, деревья, листья... «Путешествіе съ сѣвера на югъ Норвегіи—это прежде всего радость отъ встрѣчи съ зеленой землей. Хорошо на небесахъ, но на землѣ куда, куда лучше»... (II, 290). На небѣ быть можетъ есть Богъ, но на землѣ навѣрное живъ Великій Панъ—это М. Пришвинъ знаетъ, видитъ, переживаетъ; обѣдня подъ сводами церкви его не трогаетъ, но въ богослуженіи подъ шатромъ неба—онъ самъ дѣйствующее лицо.

Я не затронулъ здѣсь и десятой части содержанія «Волшебнаго колобка»; мнѣ хотѣлось только намѣтить существенное, только намекнуть на настроеніе, на впечатлѣніе отъ этой воистину живой книги. Живой — и потому ярко художественной. Сколько цѣльныхъ и тонко очерченныхъ типовъ въ этой книгѣ—монахи, лопари, морскіе волки, поморы, норвежцы, — всѣхъ не перечесть. Одни монахи чего стоятъ! Но монахи стоятъ нѣсколько особнякомъ: они уже развращены тепличной культурой, почти всѣ они въ маскахъ наружнаго смиренія и елейныхъ улыбочекъ. Всѣ остальные герои М. Пришвина, проходящіе передъ нами «за волшебнымъ колобкомъ», всѣ они—люди примитивные, стихійные, и именно этимъ дорогіе и близкіе автору. Но какое богатство индивидуальностей, не смотря на общность типа! Здѣсь М. Пришвинъ показываетъ себя истиннымъ художникомъ.

Отмѣтимъ кстати, что этотъ общій типъ въ высшей степени характеренъ для всего творчества молодого автора. Когда М. Пришвинъ записалъ въ своемъ дневникѣ между прочимъ: «я размышлялъ о примитивной стихійной душѣ, какою она выходитъ изъ рукъ Бога» (II, 75), то онъ, быть можетъ, и не подозрѣвалъ, что формулируетъ этими словами свою постоянную тему, тему всего своего творчества. Примитивная, стихійная душа—мы еще увидимъ, что именно таковы герои художественнаго творчества М. Пришвина, быть можетъ во исполненіе извѣстной поговорки: tel maitre—tel valet, tel peintre—tel portrait... Ибо изъ всѣхъ

книгъ М. Пришвина передъ нами ярко обрисовывается примитивная, стихійная душа самого автора: примитивная — въ смыслѣ «лукаваго мудрствованія» и сложнѣйшая въ смыслѣ глубины, силы и оттѣнковъ чувствованія и переживанія. И именно потому такъ тянетъ его къ Великому Пану — къ великой, примитивной и стихійной міровой душѣ. И именно потому примитивностью стихійной жизни переполнена вся книга молодого автора: все живетъ въ ней—люди, звѣри, пустыня, море, лѣса, ибо воистину для автора живъ Великій Панъ.

IV.

И все-таки остается какая-то мертвая черная точка, которую не можетъ освѣтить авторъ, которую не можетъ оживить Великій Язычникъ. Это, разумѣется,—черная «зарудѣлая» икона стараго письма; это — другое, противоположное міровоззрѣніе, враждебное свѣтлому Великому Пану. Это враждебное—«свѣтъ міру», «солнечная гора»; но для нашего автора оно окрашено въ черный цвѣтъ.

«Черныя водоросли хрустятъ подъ ногами... И пахнетъ чѣмъ-то не живымъ, мертвымъ. Мнѣ начинаетъ чудиться, что наверху той солнечной горы, куда я стремлюсь, нѣтъ жизни... Вмѣсто радостнаго, знакомаго мнѣ, охотнику, солнечнаго бога, котораго ненужно называть, который самъ приходитъ и веселитъ, я чувствую, другой какой-то черный богъ требуетъ своего названія, выраженія. Мгновенье, и я назову его, и то, и что лежитъ гдѣ-то темнымъ бременемъ, станетъ легко и свободно. Но въ самый рѣшительный моментъ мнѣ становится ясно, что если я сдѣлаю такъ, то отъ чего-то цѣннѣйшаго въ мірѣ нужно отказаться безъ остатка, бросить даже это ружье и идти черной тропой, опустивши голову внизъ. Я протестую, и черный богъ остается безъ выраженія...» (II, 41—42),

«Цѣннѣйшее въ мірѣ», «солнечный богъ»: мы знаемъ, что это для нашего автора самъ Великій Панъ. Но «черный богъ»: неужели это Христосъ, православный Христосъ въ его народномъ пониманіи? Непроизвольно, безсознательно, но именно этотъ вопросъ стоялъ передъ нашимъ авторомъ; недаромъ его потянуло послѣ поморья, Лапландіи, послѣ

культурной Норвегіи, послѣ мертвенныхъ петербургскихъ религіозно-философскихъ собраній — въ Заволжье, въ Керженскіе лѣса, къ стѣнамъ невидимаго града Китежа. Описанію этого путешествія посвящена третья книга М. Пришвина: «У стѣнъ града невидимаго». Новая книга — новый шагъ впередъ со стороны формы, еще болѣе сжатой и лапидарной; новая книга — снова яркое художественное произведеніе, съ незабываемыми типами. «Немоляка» Дмитрій Ивановичъ, главарь секты — сколько беллетристовъ позавидовали бы автору, сумѣвшему двумя-тремя штрихами дать такой превосходный типическій портретъ! А батюшка миссіонеръ; а благочестивая вдовица Татьянушка; а эти богомольцы, эти религіозные споры на холмахъ свѣтлаго Озера! Все это написано настоящимъ милостію Божіею художникомъ, все это подлинное творчество, подлинное преломленіе жизни въ душѣ художника.

Что-же увидѣлъ авторъ на берегу Свѣтлаго Озера? Попрежнему сопровождали его въ путешествіи знакомые ему съ дѣтства свѣтлый и черный богъ.

Еще идя «за волшебнымъ колобкомъ», М. Пришвинъ испытывалъ въ душѣ эту борьбу между свѣтлымъ и чернымъ богомъ. Когда колобокъ привелъ его къ берегу Бѣлаго моря, къ распутью дорогъ, «я—разсказываетъ нашъ путешественникъ—сѣлъ на камень и сталъ думать: куда мнѣ идти? Направо, налѣво, прямо?.. Налѣво со странниками въ лѣсъ, или направо съ моряками въ океанъ? Я присматриваюсь къ людямъ на оживленной Архангельской набережной, любуясь загорѣлыми выразительными лицами моряковъ, и тутъ же возлѣ замѣчаю смиренныя фигуры соловецкихъ богомольцевъ. Если я пойду за ними, думаю я, налѣво, то приду не на сѣверъ за полярный кругъ, а въ родную деревеньку въ черноземной Россіи, я приду въ ея самую глубину и впередъ знаю, чѣмъ это кончится. Я увижу черную икону съ краснымъ огонькомъ, на которую молятся наши крестьяне. На этой таинственной и страшной иконѣ нѣтъ лика. Кажется, стоитъ показаться на ней хоть какимъ-нибудь очертаніямъ, какъ исчезнетъ обаяніе, исчезнетъ вся притягательная сила. Но ликъ не показывается и всѣ идутъ туда, покорные, къ этому черному сердцу Россіи. Почему это кажется мнѣ, что на этой иконѣ не Богъ-Сынъ, мило-

сердый и всепрощающій, но Богъ-Отецъ, безпощадно посылающій грѣшниковъ въ адскій огонь? Можетъ быть потому такъ, что кроткій огонекъ лампады на черной безликой иконѣ всегда отражается краснымъ, безпокойнымъ, зловѣщимъ пламенемъ. Вотъ что значитъ идти налѣво. Но тамъ лѣсъ и, быть можетъ, потому такъ тянетъ туда мой волшебный колобокъ» (II, 2—3).

И онъ пошелъ за волшебнымъ колобкомъ налѣво, со странниками, въ Соловецкій монастырь, — но пошелъ туда лѣсомъ, царствомъ Великаго Пана, а не той «черной тропой», идя по которой надо бросить ружье и смиренно опустить голову внизъ. Онъ пошелъ къ черной иконѣ,—но пошелъ только взглянуть и уйти, и пошелъ своимъ путемъ. Не одинъ разъ однако на этомъ пути сталкивались въ его душѣ богъ свѣтлый и черный. Когда онъ ѣдетъ вмѣстѣ съ богомольцами на пароходѣ по Сѣверной Двинѣ и любуется въ сумеркахъ на фантастическія алебастровыя горы, то вдругъ—разсказываетъ онъ—«ничтожная причина перевертываетъ мой духъ на другую, темную сторону. Маленькая старушка, недалеко отъ меня, усѣвшись на грязномъ мѣшкѣ, вынимаетъ небольшую черную икону и начинаетъ тутъ же, въ виду алебастровыхъ горъ, молиться... Она молится, а я припоминаю, какъ меня когда-то такая же старушка учила молиться такой-же черной иконѣ. Она грозила мнѣ, если я буду грѣшить, такими ужасными муками, что я навсегда сталъ думать объ Отцѣ, какъ о безпощадномъ, жестокомъ Богѣ...» (II, 46). И когда онъ потомъ спускается внизъ парохода, побесѣдовать съ богомольцами, то онъ говоритъ со странникомъ Аѳанасіемъ на родственныя черной иконѣ темы,—о ребрахъ, какъ мѣстопребываніи Бога, о какихъ-то предѣлахъ Господнихъ. «Я едва-едва могу понять смыслъ его безсвязныхъ рѣчей, а богомольцы навѣрно ничего не понимаютъ. Но всѣ слушаютъ его съ величайшимъ благоговѣніемъ, и у нихъ въ душѣ медленно разматываются съ большого клубка черныя нитки и путаются, путаются, путаются... Скучно быть долго въ этомъ подвалѣ котомокъ. Тягостно. Заглянулъ и довольно. Наверхъ! Тамъ еще бѣлѣютъ фантастическія алебастровыя горы». (II, 49).

Такъ всегда побѣждалъ въ душѣ М. Пришвина свѣтлый богъ чернаго; но все-же его потянуло, въ концѣ-концовъ,

въ царство чернаго бога—къ Свѣтлому озеру, захотѣлось узнать религіозную душу народную не на фонѣ оффиціальнаго монашества, а въ дебряхъ заволжскихъ лѣсовъ, въ цидатели «старой вѣры», въ которой М. Пришвинъ видитъ усиленное, сгущенное, сконцентрированное православіе (I, 178 и др.). И если смотря на православныхъ богомольцевъ, на смиренное подавленное выраженіе ихъ лицъ, онъ думаетъ, что «въ этихъ лѣсахъ, на этомъ небѣ, въ этой водѣ живетъ какой-то особенный, мрачный богъ» (II 45), то крайнее проявленіе этого чернаго бога онъ думаетъ найти въ странѣ самосожженій и начетчиковъ, бѣгуновъ и подвижниковъ, въ Заволжьѣ, крѣпости старой вѣры. «Эхъ, Михайло!—говорилъ ему однажды старый начетчикъ,—я тебѣ вотъ что скажу: чтó ты знаешь, того мы близко не знаемъ; чтò мы знаемъ, того ты близко не знаешь...» (I, 190—191). Надо было близко подойти къ этому царству чернаго бога, чтобы если и не принять, то хоть понять его и разсказать объ этомъ другимъ. «Я оторву кусочекъ большого таинственнаго міра и разскажу другимъ людямъ по своему» (III, 5). Онъ и сдѣлалъ это въ книгѣ «У стѣнъ града невидимаго».

Передъ поѣздкой къ стѣнамъ этого невидимаго града Китежа, нашъ авторъ уже столкнулся съ чернымъ богомъ въ глубинѣ черноземной Россіи, на собраніи сектантовъ, книжныхъ начетчиковъ. Всюду, по всей землѣ черный богъ со свѣтлымъ богомъ борятся, а поле битвы—сердца людей; такъ можно было бы сказать, повторяя слова Достоевскаго.

«Мужикъ, обыкновенный, сѣрый, спросилъ сектантовъ:

— Да вѣдь Богъ же изобрѣлъ человѣка?

— Богъ,—отвѣтили ему.

— Богъ, — опять сказалъ мужикъ, — а какъ то чуднò: помремъ.

— Ваша радость на землѣ. Помрете, какъ животныя.

— Ка-а-къ животныя!—согласился мужикъ.

Опять помолчали.

— А что, Егоръ Ивановичъ, — снова спросилъ лапотникъ,—пожалуй, тамъ ничего нѣту?..

— Господь сказалъ: позову только избранныхъ, а тѣхъ въ геенну огненную.

Да это же не Христосъ, — думаю я. Христосъ милостивый, ясный безъ книгъ...» (III, 19).

Ваша радость на землѣ: съ какимъ презрѣніемъ говорятъ *эту фразу поклонники* чернаго бога! И немудрено: вѣдь эти же слова служатъ выраженіемъ всей религіи Великаго Пана! И наоборотъ: въ царствѣ черной иконы есть свои формулы, отъ которыхъ съ негодованіемъ отшатнулся бы всякій поклонникъ бога свѣтлаго. Вѣчная геенна огненная—одно это чего стоитъ! Но главная мысль, главное понятіе, ось вѣры поклонниковъ чернаго бога — это понятіе грѣха, понятіе такъ глубоко внѣдрявшееся всегда вмѣстѣ съ христіанствомъ. Немудрено, что иной разъ и поклонникъ свѣтлаго бога можетъ заразиться этой мыслью; иной разъ ему можетъ почудиться, что и соловей весной поетъ не о любви и счастіи, а о грѣхопаденіи,—и тутъ же почувствуетъ онъ тоску и тѣсноту душевную при этой измѣнѣ вѣрѣ свѣтлаго бога (III, 9). Правда, это только минутная измѣна, и язычникъ-авторъ снова находитъ самого себя, снова «соловей поетъ, что люди невинны» (III, 21); но всетаки—какъ велика сила чернаго яда, давно уже отравляющаго человѣчество! И еще болѣе велика жизненная сила человѣчества, сила свѣтлаго бога жизни, служащая вѣчнымъ противоядіемъ черному яду.

Да, вѣчная борьба ведется между свѣтлымъ и чернымъ богомъ; и чтобы увидѣть ее — не надо никуда путешествовать, достаточно въ собственную душу заглянуть. Вотъ вспоминаются М. Пришвину далекіе годы дѣтства. «Черезъ мозолистую стѣну годовъ открывается окно въ страну обѣтованную. Бѣгаютъ тамъ, кружатся свѣтлые боги зеленые. Но тамъ же были и черные боги. За оградой, на кладбищѣ есть церковь, а въ ней ихъ много. Мы разъ хотѣли пробраться туда и ударить въ набатъ. Стали подниматься по ступенькамъ на колокольню. А на лѣстницѣ была тяжелая желѣзная дверь. Что тамъ за ней? Открыли мы... Темно... Какія-то ризы, иконы. Взяли одну — и на свѣтъ. Просто черная доска. Стали протирать пыль. И вдругъ показались глаза... Да какіе!.. По могиламъ за ограду, скорѣй, скорѣе въ садъ... Остановились было, а тутъ, должно быть, ежъ подъ яблоней фыркнулъ. Бѣжимъ опять, а за нами-то икона черная, безликая, съ глазами... — Кружатся весенніе клубы свѣта, разсыпаются искрами. Скатываются по склонамъ зеленые шары внизъ къ потоку. Какъ слѣдъ остаются отъ нихъ по

лугу большіе, какъ солнце, цвѣты. А на краю горизонта, за старымъ прошлогоднимъ жнивьемъ, глядитъ сюда черный, безликій богъ, съ глазами...» (III, 11—12).

Смотритъ черный, безликій богъ на радость жизни, на свѣтлыя искры счастья, на творчество свѣтлаго бога, на большіе, какъ солнце цвѣты—и отравляетъ всякую радость, всякое творчество, всякую жизнь однимъ общимъ мертвящимъ словомъ: грѣхъ. Еще и еще разъ: какая разница, какая противоположность! Для свѣтлаго бога—ни въ чемъ грѣха нѣтъ; для чернаго бога—все грѣхъ. И снова повторяю: даже для служителей свѣтлаго бога бываетъ заразительна эта мысль, эта темная вѣра; иной разъ и они хотятъ пережить это чуждое имъ чувство, иной разъ и они хотятъ замолить грѣхъ свой и чужой, ибо свой или чужой—не все ли это равно?

Узнаётъ нашъ авторъ, что ежегодно въ городѣ Варнавинѣ собираются богомольцы со всей Руси — и ползутъ ночью на колѣняхъ вокругъ церкви св. Варнавы, ползутъ «ободомъ другъ за дружкой, всю ночь»... Вотъ вѣрные служители чернаго бога! «Сѣдая рѣка. Темныя ели. Сѣрое небо. Люди ползутъ... Куда я попалъ? Что это?—ужасается язычникъ-авторъ, и тутъ-же рѣшаетъ: —я непремѣнно хочу это видѣть, хочу пережить вмѣстѣ съ этими людьми ихъ страхъ и грѣхъ. Люди ползутъ. Изъ далекаго-далекаго дѣтства грезятся мнѣ страхи и ужасы, забытый міръ шевелится во мнѣ. Хочу видѣть...» (III, 29).

И онъ увидѣлъ. Черная ночь. Грязь, дождь, слякоть. Въ грязи ползутъ на колѣняхъ люди въ нѣсколько рядовъ, ободомъ окружая всю церковь. Подъ колѣнями чавкаетъ слякоть, жидкая грязь заливаетъ слѣды... Вотъ ползетъ женщина—и ей труднѣе всего: къ ея шеѣ привязанъ ребенокъ... Вотъ на ея пути бревно. Она отвязываетъ ребенка, кладетъ въ грязь за бревно, переползаетъ сама и снова подвязываетъ ребенка... Разъ оползли — опять молятся на церковь, опять ползутъ и исчезаютъ во тьмѣ. Ребенокъ кричитъ...

И все это—во имя Христа!

«— Бабушка, неужели это Христосъ?

— Христосъ, родимый, Іисусъ Христосъ. Богъ-то Саваоѳъ непростимый. А Христосъ за насъ смерть принялъ. Лучше его не найдешь и въ царство небесное съ нимъ попадешь... А Богъ-то непростимый, безъ Христа нельзя...» (III, 37—38).

Но такого народнаго Христа нашъ авторъ принять не въ силахъ; такой Христосъ — не его Христосъ. И кто же тогда «черный богъ»—Христосъ или Богъ-Саваоѳъ «непростимый»? Это во всякомъ случаѣ Богъ не-христіанскій, а только монашескій, ибо монашество уже съ давнихъ поръ (и не въ одномъ только христіанствѣ) внѣдряло въ человѣчество эту идею чернаго бога, идею вѣчнаго грѣха, идею непростимости. Много-ли въ этихъ идеяхъ истиннаго христіанства—говорить объ этомъ здѣсь не приходится; можно только сказать, что «христіанство» есть явленіе настолько многозахватывающее и понятіе настолько «многосмысленное», что и такое пониманіе христіанства не можетъ не имѣть многихъ адептовъ. И даже враги «чернаго бога» монашескаго готовы иногда признать, что вся истинная сущность Евангелія и христіанства сосредоточена именно въ черномъ пониманіи христіанства монашествомъ. Не входя въ подробности, достаточно указать — пока только мимоходомъ—на статьи послѣднихъ лѣтъ В. Розанова, посвященныя «метафизикѣ христіанства» и собранныя въ книгахъ «Темный ликъ» и «Люди луннаго свѣта». Уже одно заглавіе первой книги говоритъ объ ея родствѣ съ темами, затрагиваемыми въ художественномъ творчествѣ М. Пришвина. Только для В. Розанова «Темный Ликъ» и есть именно Христосъ, хотя и враждебный жизни, но правильно истолкованный монахами... «Черный свѣтъ и около Чернаго Солнца. Не взглянешь на Него—ничего не поймешь (въ христіанствѣ); а взглянешь—повѣришь, что Солнце въ самомъ дѣлѣ черно: и все сразу поймешь, до ниточки, до послѣдняго словца. Этому Черному Солнцу, великой мiровой Смерти, метафизикѣ Смерти и поклоняются монахи, по самымъ одеждамъ своимъ именуемые черноризцами...» (В. Розановъ, «Темный Ликъ», стр. 205). Вѣдь это именно то самое, что въ художественной формѣ и порой полу-безсознательно перерабатываетъ въ своей душѣ, въ своемъ творчествѣ М. Пришвинъ.

И это не случайное совпаденіе. Къ книгамъ В. Розанова мы еще впослѣдствіи вернемся [1]); здѣсь же я упомянулъ о нихъ только для того, чтобы указать на тотъ фактъ,

---

[1]) См. въ концѣ настоящей книги статью „Юродивый русской литературы“.

что въ эпоху «Волшебнаго колобка» и «Стѣнъ града невидимаго» М. Пришвинъ находился въ нѣкоторой части своихъ писаній подъ вліяніемъ статей В. Розанова о христіанствѣ. Въ одномъ мѣстѣ есть даже непосредственное указаніе на такое вліяніе: стоя на горѣ Анзерскаго острова и смотря на окружающую свѣтлую природу, недаромъ вспоминаетъ М. Пришвинъ «слова одного религіознаго мыслителя» о томъ, что для христіанства все это гробъ и что вся эта красота окружающаго міра есть не что иное какъ «серебряныя ручки къ черной, мрачной гробницѣ» (II, 81; см. выше примѣчаніе). Этимъ «религіознымъ мыслителемъ» не случайно является именно В. Розановъ (см. его «Темный Ликъ», стр. 264).

Вліяніе В. Розанова на М. Пришвина несомнѣнно; но оно частично. Оба они ненавидятъ «чернаго бога»; но для В. Розанова несомнѣнно, что Черное Солнце монашества и есть истинный Христосъ, онъ это понялъ «сразу до ниточки, до послѣдняго словца»... М. Пришвинъ этого о себѣ никогда не скажетъ. И онъ ненавидитъ чернаго бога, но никогда онъ не отождествитъ монашескаго христіанства со Христомъ. Различна и ихъ любовь: В. Розановъ входитъ въ космическое только въ точкѣ «пола»—и здѣсь онъ единственный въ своемъ родѣ апологетъ «святой плоти»; для М. Пришвина «святая плоть» — только частность религіи Великаго Пана; ему не надо входить въ космическое — онъ весь въ немъ.

О Розановѣ мы могли сказать здѣсь только вскользь; этому часто глубокому и интересному юродивому русской литературы слѣдуетъ посвятить гораздо больше вниманія. Возвращаюсь къ художественному творчеству М. Пришвина и еще разъ подчеркиваю, что кто-бы ни былъ «чернымъ богомъ»—нашъ авторъ принять его не можетъ. Пусть это монашескій, пусть даже это народный Христосъ—такого народнаго Христа, повторяю, М. Пришвинъ принять не въ силахъ. Правда, иногда и черный богъ ему милъ—какъ дуновеніе прошлаго, какъ воспоминаніе дѣтства. Да и тутъ язычество его всюду прорывается.

Темная раскольничья часовня въ заволжскихъ лѣсахъ. Старикъ, хранитель часовни, показываетъ автору старовѣрскія книги и иконы съ темными ликами.

«— Заведеніе хорошее, — повторяетъ онъ, — и книги, и божество.

— Хорошее божество,--повторяю я за нимъ.

— Николай явленный,—показываетъ мнѣ радостно жрецъ на темную старую икону.—Въ ручьѣ явился.

— Черный...—говорю я,—ничего не понять.

— Зарудѣлъ,—отвѣчаетъ старикъ, и протираетъ святой ликъ рукавомъ.

Да, это боги, думаю я, настоящіе боги... Ребенкомъ зналъ я ихъ, чтилъ, боялся и поклонялся. Страшные, но все-таки милые дѣтскіе боги.

— Божество хорошее,—твержу я безсознательно.

— Хорошее божество, все заведеніе хорошее,—повторяетъ за мной радостно кроткій жрецъ». (III, 47—48).

Не принимаетъ чернаго бога М. Пришвинъ, но народную вѣру глубоко чувствуетъ и переживаетъ. Стоитъ прочесть ту главу его книги, въ которой онъ описываетъ свою вѣру въ «градъ невидимый», Китежъ, въ подземное «Знаменье», «Здвиженье», «Успеніе» (III, 130 — 135), свои бесѣды съ раскольниками, свое отношеніе къ нимъ. Но чернаго народнаго Христа—онъ взять не можетъ. Есть другой Христосъ—«ясный, милостивый», не осуждающій грѣха, не проклинающій міра. И когда нашъ авторъ беретъ этого Христа свѣтлаго, «зеленаго», «солнечнаго», который не говоритъ, что «все грѣхъ», но свѣтло и радостно провозглашаетъ: «ни въ чемъ нѣтъ грѣха», то свѣтлый Христосъ его оказывается на одно лицо съ Великимъ Паномъ...

V.

«Въ краю непуганныхъ птицъ», «За волшебнымъ колобкомъ» и «У стѣнъ града невидимаго»—эти три книги вполнѣ опредѣляютъ литературное лицо М. Пришвина и сущность его художественнаго творчества. Но все это—пройденный этапъ его писательскаго пути; послѣднія его произведенія показываютъ, что онъ неустанно идетъ впередъ и впередъ. Онъ сдѣлалъ послѣдній шагъ: перешелъ къ новой формѣ, формѣ разсказа, повѣсти, перешелъ къ фабулѣ, иной разъ возвращаясь и къ прежнему типу своихъ писаній—къ типу

quasi-эпическихъ описаній путешествія. Таковъ его большой очеркъ «Черный арабъ» («Русская Мысль», 1910 г., № 11), сводящій къ одному художественному фокусу впечатлѣнія автора отъ путешествія въ киргизскихъ степяхъ. Снова авторъ лицомъ къ лицу съ Великимъ Паномъ,—но на этотъ разъ Панъ одѣтъ киргизомъ; огромный, всезаполняющій сидитъ онъ среди безконечной степи, въ широкомъ халатѣ, съ нагайкой въ рукѣ, съ лоснящимися скулами и щелками, вмѣсто глазъ... Въ стилѣ—новый шагъ впередъ: еще никогда не писалъ М. Пришвинъ такъ ярко и такъ просто, съ такой художественной наивностью, съ такой обманчиво-легкой простотой. Въ московскихъ газетахъ промелькнуло сообщеніе, что «Черный арабъ» былъ только одной главой новой книги М. Пришвина, и что вся эта книга въ рукописи сгорѣла у автора. Если это такъ, и если вся книга была такъ же хороша, какъ и «Черный арабъ», то всѣ мы лишились прекраснаго художественнаго произведенія.—Въ тѣхъ же тонахъ написанъ и очеркъ «Птичье кладбище», о которомъ приходилось уже упоминать выше.

Но повидимому этими очерками завершается цѣлый періодъ художественнаго творчества М. Пришвина. Онъ искалъ и находилъ Великаго Пана въ онѣжскихъ лѣсахъ, среди лапландскихъ озеръ, въ Ледовитомъ океанѣ, въ заволжской равнинѣ, въ киргизскихъ степяхъ; но теперь онъ показываетъ намъ своего «свѣтлаго бога» въ человѣческой душѣ, переходя къ формѣ разсказа и повѣсти. Таковъ небольшой его разсказъ «У горѣлаго пня» («Аполлонъ», 1910 г., № 7), такова и большая повѣсть его «Крутоярскій звѣрь» (XV-ый альманахъ «Шиповника»). Это еще только первые шаги по новому пути, но по этимъ первымъ шагамъ можно съ увѣренностью заключить, что М. Пришвину предстоитъ впереди своя особая широкая дорога. Основную, постоянную тему повѣстей и разсказовъ этого писателя можно предсказать заранѣе—и мы уже отмѣтили, что темой всего творчества М. Пришвина была и будетъ *примитивная стихійная душа*. Трагедія этой примитивной души, Павлика Верхне-Бродскаго, ярко обрисована въ «Крутоярскомъ звѣрѣ»; красочный реализмъ первой половины повѣсти, кошмарно-фантастическая вторая половина — одинаково блестящи и сильны. При этомъ — живые типы и образы, и настоящая,

непроизвольная, безсознательная стихійная глубина. Достаточно прочесть хотя-бы только третью главу повѣсти, описаніе первой охоты, чтобы увидѣть подлинность этой глубины стихійности, сліянности съ жизнью лѣсной и луговой, сліянности съ жизнью земли — съ космической жизнью. Многаго и многаго можно ожидать отъ художника, такъ написавшаго первую свою повѣсть.

Что будетъ—увидимъ; но уже теперь видно, что о творчествѣ М. Пришвина можно говорить и должно говорить. Пора понять, что М. Пришвинъ вовсе не «этнографъ», вовсе не объективный наблюдатель, вовсе не «эпикъ»; наоборотъ, онъ интимнѣйшій лирикъ, онъ субъективнѣйшій изъ поэтовъ—и притомъ поэтъ космическаго чувства, поэтъ вселенскаго чувства, призванный бардъ свѣтлаго бога, Великаго Пана. И, наконецъ,—онъ истинный Божіею милостію художникъ. Когда все это поймутъ, то имя М. Пришвина выйдетъ, наконецъ, изъ незаслуженной неизвѣстности и займетъ свое особое оригинальное мѣсто въ русской литературѣ нашего времени.

1910—1911 г.

Алексѣй Толстой № 2-ой.

Попробуйте сдѣлать «анкету» среди массы современной читающей публики: многіе-ли знаютъ имя сравнительно давно пишущаго М. Пришвина, и многіе-ли не знаютъ имени только что начавшаго свой писательскій путь гр. Алексѣя Н. Толстого?

Этотъ молодой писатель теперь «въ модѣ»: о немъ говорятъ, кричатъ, пишутъ, его всячески восхваляютъ и превозносятъ. И дѣйствительно, онъ талантливъ, онъ «подаетъ надежды»; поговорить о немъ стоитъ. Къ тому же и поводъ достаточный есть: молодой авторъ уже выпустилъ въ свѣтъ не бездѣлушку, не пустякъ, не мелкій разсказъ или повѣсть, а цѣлый романъ въ двухъ частяхъ, съ эпиграфами изъ Пушкина и Баратынскаго...

Чеховъ къ концу жизни какъ-то конфузился небольшого размѣра своихъ разсказовъ и все собирался написать романъ листовъ такъ въ 20—30. Конечно, небольшой «художественный» разсказъ можетъ перевѣсить многотомный «беллетристическій» романъ, это—азбучная истина, но все-таки мы знаемъ, что Чеховъ такъ-таки и не написалъ романа «въ шести частяхъ, съ прологомъ и эпилогомъ», въ то время какъ такихъ романовъ ежегодно появлялось по нѣсколько штукъ: просмотрите журналы восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ.

Разумѣется, дѣло тутъ не въ формѣ. Кому-кому, а ужъ Чехову не представляло никакого труда придумать сложнѣйшую фабулу для громаднаго романа. Дѣло здѣсь не въ формѣ, а въ сущности. Художникъ долженъ сознавать, что ему есть что сказать въ задуманномъ романѣ. Достоевскому и Толстому было тѣсно и въ рамкахъ громаднаго романа, ибо имъ, поистинѣ, было что сказать; такого

права Чеховъ за собой не сознавалъ. И уже одно это показываетъ, какимъ большимъ и истиннымъ художникомъ онъ былъ.

Современные художники далеки отъ сомнѣній Чехова. Не говорю уже о безчисленныхъ «беллетристахъ» ремесленникахъ: для нихъ ничего не стоитъ испечь романъ какой угодно величины и съ какой угодно начинкой. Но даже болѣе одаренные писатели, съ несомнѣннымъ художественнымъ даромъ,—они, не задумываясь, напишутъ вамъ романъ и въ 20, и въ 30 листовъ. Вотъ, напримѣръ, появился романъ въ 33-хъ главахъ г-жи З. Гиппіусъ «Чортова кукла». Для чего онъ написанъ? Это, вѣроятно, для автора — не меньшая тайна, чѣмъ для читателей. Очень грамотно, прилично, съ навыкомъ, съ недурно схваченными мелочами, но скучно, вяло, а главное — никому не нужно, и не нужно потому, что авторъ не задался вопросомъ: да полно, есть ли мнѣ что сказать въ большомъ романѣ? Нѣтъ художественной чуткости, молчитъ художественная совѣсть, и въ результатѣ—Чеховъ такъ вотъ и не написалъ романа, а г-жа Зинаида Гиппіусъ храбро сѣла и написала «Чортову куклу». Есть на свѣтѣ «лишніе люди», почему-жъ бы не быть и «лишнимъ романамъ?»

Или вотъ романъ гр. Алексѣя Н. Толстого «Двѣ жизни». О немъ, впрочемъ, слѣдуетъ поговорить подробнѣе, именно въ виду того, что молодой авторъ—несомнѣнный художникъ и «подающій надежды» талантъ. О немъ теперь, повторяю, много пишутъ, чрезмѣрно восхваляютъ,—и это очень жаль, такъ какъ начинающему писателю восторженныя и преувеличенныя похвалы всегда опаснѣе суроваго порицанія. Результатъ похвалъ на-лицо: Ал. Толстому показалось, что онъ можетъ и романъ написать. Конечно, можетъ; но опять-таки, конечно, не задавался онъ вопросомъ, есть что сказать ему въ романѣ или нѣтъ.

Ал. Толстой дебютировалъ стихами и томикомъ очень милыхъ «Сорочьихъ сказокъ». Ни въ стихахъ, ни въ сказкахъ онъ не сказалъ никакого «новаго слова», да и зачѣмъ же непремѣнно ждать отъ начинающаго писателя «новыхъ словъ»? Въ стихахъ были отзвуки Городецкаго, Брюсова и Блока, въ сказкахъ — отраженія «Посолони» Ремизова и сказочекъ Сологуба. Но все это было, несомнѣнно, съ своимъ запахомъ,

все было очень мило, иной разъ очень хорошо и очень часто художественно. Почти одновременно съ этимъ появились и первые разсказы А. Толстого, обратившіе на себя вниманіе. А такъ какъ въ наше время не успѣетъ авторъ написать десять разсказовъ, какъ ужъ издаетъ собраніе своихъ сочиненій, то и разсказы Ал. Толстого уже вышли отдѣльнымъ томомъ: «Сочиненія. Книга первая».

Въ этой «первой книгѣ» помѣщено нѣсколько разсказовъ, изъ которыхъ одни очень слабы («Архипъ», «Сватовство»), другіе—не дурны («Два друга», «Недѣля въ Туреневѣ») и, наконецъ, два лучшихъ разсказа («Заволжье» и «Аггѣй Коровинъ») дѣйствительно заслуживаютъ вниманія. Въ нихъ обрисовывается вся литературная физіономія А. Толстого, какъ автора повѣстей и разсказовъ, въ нихъ весь «паѳосъ» его творчества. Критика уже отмѣчала, что Ал. Толстой—пѣвецъ отмирающихъ «дворянскихъ гнѣздъ», которыя, къ слову сказать, «отмираютъ» вотъ уже полвѣка. Два основныхъ типа вымирающихъ дворянъ видитъ и знаетъ Ал. Толстой: это — либо Мишука Налымовъ изъ «Заволжья», дворянинъ стараго закала, съ арапникомъ, со сворами псовъ, съ гаремомъ, буйно прожигающій нелѣпую жизнь, либо Аггѣй Коровинъ—мягкій, грузный, дряблый, безвольный, мечтающій. И типы эти очерчены, дѣйствительно, интересно, красочно; въ существованіе этихъ людей вѣришь, хотя бы и не зналъ такихъ. А это великое дѣло, когда художникъ заставляетъ читателя вѣрить; это—первый признакъ подлиннаго искусства.

Молодой писатель имѣлъ большой успѣхъ. Нѣкоторые увидѣли въ этихъ разсказахъ много новаго: какъ! до сихъ поръ жива дворянская, помѣщичья Россія и чуть ли не въ формахъ крѣпостного права! Другіе, люди наивные, огорчались и повторяли слова Пушкина: «Боже, какъ грустна наша Россія!»—точно Налымовы и Коровины такъ ужъ характерны для современности. Третьи подходили къ разсказамъ Ал. Толстого съ аршиномъ классово-либеральнымъ: вотъ какія сословныя язвы честно и добросовѣстно вскрываетъ въ своемъ художественномъ творчествѣ молодой писатель! Эти послѣдніе не видѣли, что Ал. Толстой любитъ своихъ отмирающихъ героевъ и заставляетъ читателей полюбить и безпутнаго Мишуку, и безвольнаго Аггѣя. Развѣ не то же самое имѣли мы и у Чехова съ его безпомощными Гаевыми

и Раневскими, такими безпутными и лишними, и такими милыми?

Какъ бы то ни было, но уже изъ этихъ разсказовъ опредѣлился несомнѣнный талантъ Ал. Толстого; и въ этихъ разсказахъ ему было что сказать. Онъ не мудрствовалъ лукаво, описывалъ, что видѣлъ, слышалъ и зналъ,—и невольно все это отливалось въ художественные образы,—а вѣдь въ этомъ и состоитъ всякое творчество. Были и многія слабыя стороны въ его разсказахъ и повѣстяхъ, но по мѣрѣ естественнаго развитія таланта молодого писателя, эти стороны могли современемъ сойти на нѣтъ, а многіе читатели могли ихъ и не замѣтить. Но Ал. Толстому, взбодренному общими шумными похвалами, захотѣлось ускорить событія, захотѣлось, какъ извѣстному герою нѣмецкой сказки, самому себя поднять за волосы на воздухъ. Онъ написалъ романъ въ двадцать печатныхъ листовъ, въ двухъ частяхъ,—и все тайное стало явнымъ.

Романъ, какъ романъ; фабула, какъ фабула. Многія лица живо очерчены, многое очень удалось, читается романъ легко, — въ этомъ отношеніи его и сравнить нельзя съ томительной „Чортовой куклой“, которую заставляешь себя дочитать. Есть повторенія старыхъ типовъ, даже старыхъ фразъ: Сергунька Образцовъ во многомъ повторяетъ Мишуку Налымова, состоящая „по кроватной части“ Мунька Варваръ, находится въ родствѣ съ Настей изъ „Недѣли въ Гуреневѣ“ и такъ далѣе, и такъ далѣе. Но дѣло не въ этомъ: отчего бы не быть и повтореніямъ? Недурно очерченъ и петербургскій пшютъ, дѣлающій карьеру, грубое и циничное животное; хороша генеральша Степанида Ивановна; за-то кое-что шаржировано и грубо шаржировано. Вообще же, повторяю, романъ читается „легко и съ удовольствіемъ“: для кого литература состоитъ только въ этомъ, тотъ можетъ быть доволенъ. Но тотъ, который предъявляетъ къ литературѣ и иныя требованія — тотъ пожалѣетъ о молодомъ авторѣ.

Вотъ онъ написалъ романъ, цѣлый томъ; но сказать ему рѣшительно нечего. А при этомъ онъ знаетъ, что въ романѣ ему надо что-нибудь сказать. И онъ старается, онъ топорщится и надувается до глубокой мысли, — а ея нѣтъ, какъ нѣтъ. Онъ не хочетъ писать просто, что видитъ и

какъ видитъ, а въ этомъ вся его сила, большаго ему не дано. Пусть пишетъ, какъ пишется, не пытаясь поднять себя за волосы—и выйдетъ хорошо; а основная мысль, „паѳосъ“ сами скажутся, если будутъ. Вспомните Гончарова, который сперва говорилъ что-де „на глубину я не претендую“, а потомъ попробовалъ (правда, post factum) углубить смыслъ своихъ романовъ, сравнивая „паденіе Вѣры“ (изъ „Обрыва“) съ паденіемъ Севастополя и т. п. Не все можно углублять безнаказанно.

Такъ вотъ и съ Ал. Толстымъ. Пока онъ писалъ свои маленькіе разсказы и повѣсти, — не всѣмъ было видно, что, кромѣ художественнаго воспроизведенія быта (а это вѣдь немало!), ему нечего сказать. Теперь, послѣ появленія романа, многимъ уже станетъ ясно, что у этого писателя пока за душой ничего нѣтъ. И чтобы это не бросилось въ глаза, онъ тщетно пытается „углубить“ свое произведеніе. И смѣшно, и жалко смотрѣть, какъ онъ старается придать „высшій смыслъ“ роману введеніемъ въ него всякихъ „богоискательныхъ“ мотивовъ. Тутъ и теософія, мимоходомъ и съ насмѣшкой пристегнутая, тутъ и процессъ перехода отъ вѣры къ безвѣрію старика Ильи Рѣпьева, котораго, какъ и одного чеховскаго персонажа, можно было бы назвать „двадцать два несчастья“. Сначала Рѣпьевъ молится: „Господи, чѣмъ дольше я живу, тѣмъ страшнѣе мнѣ подумать, что не повѣрю я въ Твою мудрую Разумность“; а въ концѣ-концовъ, послѣ двадцати двухъ несчастій, онъ проповѣдуетъ мужикамъ: „Я, мужики, умнѣе васъ, я не одинъ день думалъ, я Бога со всѣхъ сторонъ обошелъ, и мнѣ пожить хотѣлось, а Его нѣтъ, нѣту. Ерунда“... Тутъ ему и смерть приключилась,—самъ себя сжегъ. И въ этомъ процессѣ перехода къ невѣрію — попытка автора „углубить смыслъ“ романа,—попытка, оставляющая поистинѣ жалостное впечатлѣніе.

Ал. Толстой хочетъ изобразить глубокую трагедію духа, хватается за оружіе богоискательства и богоборчества, — и все это напускное, головное, не претворившееся въ плоть и кровь, а потому въ этой части и не художественное. Ему тутъ нечего сказать, а онъ, поощренный похвалами, говоритъ и говоритъ. Ему, повидимому, ничего не стоило сдѣлать то, чего такъ и не могъ сдѣлать Чеховъ: взять да и

написать романъ въ двадцать печатныхъ листовъ. И я увѣренъ, что не сегодня-завтра можетъ появиться и новый его романъ, листовъ въ сорокъ, въ шести частяхъ, съ прологомъ и эпилогомъ. „Пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь. — Думаю себѣ: пожалуй, изволь, братецъ. — И тутъ же, въ одинъ вечеръ, кажется, все написалъ. У меня легкость необыкновенная въ мысляхъ". Дайте даже Хлестакову художественный талантъ, — вы думаете онъ не написалъ бы романа въ шести частяхъ, живого и легко читаемаго?

Вотъ слабый пунктъ творчества Ал. Толстого. Онъ живо и красочно описываетъ, какъ помѣщики кутятъ и безпутничаютъ, какъ коровы подрались, какъ прозябаютъ люди гдѣ-то въ глухой дырѣ, — и все это выходитъ подлиннымъ искусствомъ; но ему этого мало, ему хочется дотянуться до богоборчества, до трагедіи, а во внѣшней формѣ — до романа. Зачѣмъ? Ему въ романѣ пока нечего сказать, у него пока нѣтъ ничего за душой, у него „легкость необычайная въ мысляхъ". Кстати сказать, форма въ этомъ случаѣ соотвѣтствуетъ содержанію, стиль характеризуетъ человѣка: у Ал. Толстого очень „легкій", текучій слогъ. Обратите вниманіе на такую частность: это писатель безъ точекъ съ запятой, безъ точекъ (не поймите меня буквально), это писатель на сплошныхъ запятыхъ. Одинъ изъ тысячи примѣровъ, взятый изъ романа на-удачу:

„Ну, флиртируйте, — сказалъ Николай Николаевичъ, похлопывая Сергуньку по плечу, — я оставляю васъ, чтобы не стѣснялись, ахъ, дѣти, дѣти, — повернулся на каблукахъ и ушелъ, весело насвистывая, а Сонечка воскликнула: — Николай! — быстро сѣла и, блѣднѣя, стала глядѣть въ глаза Сергунькѣ".

Такъ пишетъ вообще Ал. Толстой, это его стиль, — и къ этому случаю примѣнимо, какъ никогда, вѣчное крылатое слово: „le style—c'est l'homme". „Легкость необыкновенная въ мысляхъ" и такая же легкость конструкціи фразы: она течетъ безъ перерыва, безъ передышки, безъ сложныхъ интонацій. Это—мелочь, но характерная. Такая же мелочь—рядъ „реминисценцій" изъ другихъ писателей, особенно изъ Льва Толстого. Эти, мягко выражаясь, „реминисценціи" иногда настолько явны, что рѣжутъ глазъ и ухо. Въ одномъ

небольшомъ разсказикѣ Ал. Толстого герой стрѣляетъ на-пари въ цѣль и наивно молитъ Бога, чтобы тотъ ему помогъ: кто не вспомнитъ при этомъ „Войну и миръ“, описаніе охоты и молитву „о ниспосланіи волка“? А когда въ томъ же разсказѣ Ал. Толстого герой, кончая самоубійствомъ, спускаетъ курокъ револьвера „жалобно улыбаясь“, то подобное простое заимствованіе переходитъ, пожалуй, предѣлы дозволеннаго. Но пусть все это—мелочь, характеризующая только поспѣшность и легкость творчества Ал. Толстого. Такая же мелочь, конечно, и то, что героиня романа, Софья Ильинишна, на протяженіи десятка страницъ первой части (XIV альманахъ „Шиповника“, стр. 82—88) оказывается вдругъ Софьей Петровной, но потомъ благополучно возстановляется въ правахъ; такая же мелочь и то, что нѣкій Андрей Ивановичъ Образцовъ почему то вдругъ оказывается Андреемъ Леонтьевичемъ (id., т. XV, стр. 69); такая же мелочь и то, что героиня Сонечка вмѣстѣ съ авторомъ всюду упорно именуетъ своего дядю дѣдомъ, а тетку—бабушкой. Все это мелочи, но въ суммѣ онѣ еще разъ характеризуютъ ту „легкость“, внѣшнюю и внутреннюю, съ которой создавался этотъ романъ. Если бы не эта легкость и, пожалуй, „легкомысленность“ творчества, то никогда бы Ал. Толстому и въ голову не пришло вставить въ свой романъ неудачный шаржъ-пародію на живое лицо: во второй части романа неожиданно появляется на сценѣ поэтъ Максъ, декламирующій стихи Максимиліана Волошина. Для чего?—Впрочемъ, это теперь въ нравахъ извѣстной части русскихъ литераторовъ... Неужели эти писатели думаютъ, что Достоевскій прибавилъ себѣ славы, выведя въ одномъ изъ своихъ романовъ Тургенева въ видѣ довольно комичномъ?

Возвращаюсь къ Ал. Толстому и повторяю: онъ стоитъ на опасномъ пути. Ему отведена область небольшая, а онъ насильственно пытается расширить ее; ему дано сказать два—три интересныхъ и цѣнныхъ слова, а онъ говоритъ говоритъ, говоритъ; за душой у него еще ничего нѣтъ, а онъ топорщится, пыхтитъ и надувается, чтобы обнажить передъ читателями всю глубину ея. Быть можетъ, придетъ современемъ къ нему и тяжкая духовная трагедія, и богатый внутренній опытъ,—тогда дѣло другое; предвосхищая ихъ

результаты, говоря о томъ, чего онъ не знаетъ и не понимаетъ, — молодой писатель ставитъ себя въ комичное и жалкое положеніе.

„Претендовать на глубину"—дѣло безнадежное. Глубина должна сама сказаться. И въ этомъ отношеніи очень интересенъ, какъ контрастъ, М. Пришвинъ, повѣсть котораго „Крутоярскій звѣрь" была помѣщена въ томъ же XV альманахѣ „Шиповника", непосредственно вслѣдъ за окончаніемъ романа Ал. Толстого. Говорю здѣсь объ этомъ только мимоходомъ, такъ какъ художественному творчеству М. Пришвина мною уже посвящена выше особая статья; но я намѣренно снова упоминаю о немъ, чтобы противопоставить подлинную безсознательную, ненамѣренную глубину земляной, стихійной поэзіи М. Пришвина—легковѣсному и легкомысленному художественному творчеству Ал. Толстого, претендующаго въ то же время на глубину. Да и вообще Ал. Толстой и М. Пришвинъ—противоположные во многомъ писатели. Противоположна и ихъ судьба. Уже давно вышли первыя книги М. Пришвина, но до сихъ поръ онъ, какъ художникъ, былъ—быть можетъ къ счастью для себя—почти никому неизвѣстенъ, а въ тишинѣ работалъ надъ своимъ дарованіемъ; Ал. Толстой сразу попалъ въ полосу преувеличенныхъ похвалъ, а это—самое опасное для начинающаго писателя. Его вообще переоцѣнили и продолжаютъ переоцѣнивать, такъ какъ онъ пришелся удивительно по плечу широкимъ кругамъ читающей публики. И все-таки онъ подлиный, хотя и второстепенный художникъ, которому можно только пожелать дальнѣйшаго развитія. Но многіе ли увидятъ и согласятся, что небольшая повѣсть М. Пришвина, его „проба пера", обѣщаетъ больше, чѣмъ большой романъ Ал. Толстого?

Во всякомъ случаѣ, именно таково наше мнѣніе. Оно, быть можетъ, не совпадетъ съ мнѣніемъ и вкусами большинства, но не это будетъ служить критеріемъ его истинности или неистинности. Въ этомъ случаѣ критерій истины—время. И невольно вспоминаются слова, которыми Бѣлинскій закончилъ одну изъ своихъ статей о Бенедиктовѣ: „Мы никому не навязываемъ своего мнѣнія. Справедливо оно,—намъ лестно; ложно, — тѣмъ хуже намъ, а не поэту: истина рано или поздно должна оправдаться, а ложь постыдиться"...

Скажу откровенно: я очень желалъ бы „устыдиться“ въ будущемъ этого своего мнѣнія о молодомъ писателѣ, увидѣть развитіе его таланта до звѣзды первой величины; но я сильно опасаюсь, что онъ такъ навсегда и останется „Алексѣемъ Толстымъ вторымъ“, какъ его безъ всякой задней мысли, а просто „для краткости“ назвалъ одинъ изъ современныхъ критиковъ (С. Венгеровъ). По крайней мѣрѣ вся та литературная мелочь, которую такъ поспѣшно выбрасываетъ теперь Алексѣй Толстой № 2-ой на журнальныя страницы и газетные столбцы, не внушаетъ никакихъ радостныхъ надеждъ. Молодой авторъ поспѣшно печетъ пироги съ разнообразнѣйшей начинкой (есть даже одинъ поистинѣ невозможнѣйшій разсказъ изъ кавказской жизни— нѣчто ужасное!); иной разъ оно и горячо выходитъ, но... но кромѣ опасеній за молодой талантъ, ничего не вызываетъ. „Легкость творчества“—наклонная плоскость, и по ней легко докатиться до ступеньки № 3, а затѣмъ все дальше и ниже.

Молодому писателю нужно много и трудно работать: быть можетъ тогда ему и удастся удержаться на той высотѣ, на которую онъ незаслуженно поставленъ теперь преувеличенными похвалами. И пусть только онъ не претендуетъ на глубину, на трагедію, на богоборчество—по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока сама жизнь не дастъ ему богатаго внутренняго опыта; потуги безкрылой птицы на полетъ ничего кромѣ жалости вызвать не могутъ. Пусть остается въ своей сферѣ—въ области безпретенціознаго, милаго, не крупнаго, но истинно художественнаго творчества: пусть не пытается поднять себя за волосы. Первой величиной, думается мнѣ, ему никогда не быть; а во второмъ ряду современныхъ художниковъ слова онъ будетъ занимать и занимаетъ свое опредѣленное мѣсто. Вотъ почему и названіе „Алексѣй Толстой № 2-ой“ является, повидимому, точно соотвѣтствующимъ дѣйствительности.

1911 г.

Творчество А. Ремизова.

I.

Бурковъ дворъ.

1.

Повѣсть Алексѣя Ремизова „Крестовыя сестры“ (1910 г.) обратила, наконецъ-то, вниманіе „читающей публики“ на этого писателя—одного изъ самыхъ крупныхъ и оригинальнѣйшихъ въ современной русской литературѣ. И дѣйствительно—повѣсть прекрасная, къ тому же во многихъ отношеніяхъ являющаяся „центральной вещью“ творчества А. Ремизова, ключемъ къ этому творчеству. Прочтя „Крестовыхъ сестеръ“, невольно возвращаешься къ началу, чтобы еще и еще разъ перечитать, и перечитываешь съ радостнымъ и съ тяжелымъ чувствомъ: гнететъ тяжелое впечатлѣніе отъ содержанія этой вещи, и въ то же время радостно чувствуешь, что стоишь лицомъ къ лицу съ подлинно-крупнымъ художественнымъ произведеніемъ большого писателя.

Странная судьба этого писателя! Послѣ немногихъ мелкихъ выступленій, онъ сразу дебютировалъ въ литературѣ большимъ романомъ „Прудъ“ (въ Вопросахъ жизни, 1905 г.), и сразу „запугалъ“ этимъ романомъ широкіе слои читающей публики: за А. Ремизовымъ твердо установилась слава самаго крайняго, самаго неумѣреннаго „модерниста“, „декадента“. Проницательные критики съ своей стороны нашли въ этомъ романѣ вліяніе Пшибышевскаго, съ которымъ у А. Ремизова нѣтъ буквально ничего общаго... „Прудъ“ написанъ трудно и читается тяжело: читая его, все глубже и безнадежнѣе тонешь въ той липкой грязи пруда, какою представляется автору вся жизнь въ ея цѣ-

ломъ. Но объ этомъ романѣ ниже придется еще много говорить, а потому лучше вовсе не будемъ говорить о немъ здѣсь; достаточно знать то общее впечатлѣніе, которое осталось у большинства отъ „Пруда“: крайнее проявленіе „модернизма“, широкая, но туманная и неясная импрессіонистическая картина...

Но вотъ почти въ то же самое время появляется книга сказокъ А. Ремизова „Посолонь“, яркая, простая, кристально-прозрачная, дѣтская. Казалось бы, трудно не принять эту поэтическую книгу, въ которой съ такой кажущейся простотой переработаны мотивы сказокъ, дѣтскихъ игръ, повѣрій; однако ее не приняли, и до сихъ поръ она является книгой „для немногихъ“; большинство же твердо запомнило, что А. Ремизовъ, это—авторъ „Пруда“.

А между тѣмъ въ творчествѣ А. Ремизова идутъ рядомъ эти два теченія; понять его, пренебрегая однимъ изъ нихъ, невозможно. Онъ пишетъ „Прудъ“; но тутъ же пишетъ и „Посолонь“; пишетъ кошмарные „Часы“—и вмѣстѣ съ ними наивную „Морщинку“ и повѣствованіе по апокрифамъ „Лимонарь“, въ которомъ ему удается такъ удивительно проникнуть въ эту сферу народнаго религіознаго творчества, а также и юмора („Что есть табакъ“ — апокрифическая повѣсть, недоступная, къ сожалѣнію, для читающей публики, такъ какъ издана на правахъ рукописи въ количествѣ двадцати пяти именныхъ экземпляровъ). Онъ пишетъ разсказы такіе же, какъ „Прудъ“, гнетущіе, черные, кошмарные—и рядомъ съ ними нѣжные, тонкіе разсказы изъ дѣтской жизни, которые такъ ему удаются („Мака“, „Слоненокъ“). Но и то, и другое—„для немногихъ“; даже въ реалистическихъ разсказахъ у А. Ремизова постоянно была своя, особая форма письма, свой способъ рисунка импрессіонистическими мазками. Но при этомъ, — и это самое, на первый взглядъ, удивительное,—въ кружкахъ нашихъ модернистовъ къ Ремизову относятся почти такъ же холодно, какъ и въ средѣ широкой публики. Конечно, его признаютъ; но при этомъ въ Вѣсахъ его едва принимали, въ органѣ современныхъ эстетовъ—Аполлонѣ его не печатали, наши „богоискатели“ отъ него сторонятся. Въ чемъ дѣло? Дѣло въ томъ, что А. Ремизовъ и Бога на землѣ не видитъ, и чистымъ эстетизмомъ не ограничивается. Всѣ его „Часы“, „Прудъ“,

кошмарные разсказы—одинъ сплошной, мучительный стонъ, одинъ вопросъ о правдѣ жизни, о цѣнѣ жизни. Бога онъ ищетъ, человѣка онъ ищетъ и въ то же время ищетъ вселенской правды здѣсь, на землѣ, ищетъ и не находитъ. Вотъ почему онъ слишкомъ непріятенъ для нашихъ „богоискателей", слишкомъ сложенъ для эстетовъ; а для широкихъ круговъ читающей публики онъ слишкомъ чуждъ, какъ „модернистъ", „импрессіонистъ"... По-истинѣ трагическая судьба.

И вотъ, передъ нами его повѣсть „Крестовыя сестры". Это — вещь такая же давящая и гнетущая, какъ „Прудъ" или „Часы", но форма письма въ ней—новая, ясная, простая. Къ этой обманчивой простотѣ уже давно приближался Ремизовъ и особенно сталъ близокъ къ ней въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ („Станъ половецкій"); но „Крестовыя сестры" и въ этомъ отношеніи — громадный шагъ впередъ. Правда, и раньше Ремизовъ никогда не доходилъ до тѣхъ границъ, гдѣ изысканность и вычурность стиля доходятъ до своей крайности и обращаются въ ужасающее, дубовое безвкусіе, чѣмъ, напримѣръ, испорченъ замѣчательный романъ Андрея Бѣлаго „Серебряный Голубь"; но теперь Ремизовъ, повидимому, убѣдился, что простота рисунка часто только усиливаетъ потрясающее впечатлѣніе тяжелаго разсказа. Простота эта, повторяю, обманчивая, кажущаяся: за ней скрывается тяжелый трудъ и упорная работа; и недаромъ Ремизовъ прошелъ черезъ „модернизмъ". Теперь, вѣроятно, почти всѣ согласны хотя бы въ большомъ „стилистическомъ" значеніи былого модернизма и „декадентства": многіе пріемы письма стали гибче, тоньше; языкъ и стиль сдѣлали много завоеваній, — и всѣми ими пользуется Ремизовъ въ своемъ произведеніи. Однимъ словомъ, оставаясь прежнимъ Ремизовымъ, онъ является въ новомъ видѣ; и это не только со стороны формы. Содержаніе, сущность „Крестовыхъ сестеръ" вполнѣ гармонируютъ съ этимъ блескомъ формы; и врядъ ли мы ошибемся, если скажемъ, что „Крестовыя сестры" были вообще громаднымъ шагомъ впередъ, расцвѣтомъ таланта Ремизова...

2.

Содержаніе „Крестовыхъ сестеръ“ передать невозможно,— эту вещь надо самому прочесть; но для нашей цѣли необходимо обрисовать общіе контуры этого произведенія, центральнаго въ творчествѣ А. Ремизова.

Банковскій чиновникъ Маракулинъ выгнанъ со службы; онъ терпитъ нужду, вынужденъ бросить свою квартиру и переѣхать въ захудалыя петербургскія меблированныя комнаты. Комнаты эти находятся во дворѣ дома генерала Буркова, и этотъ „Бурковъ дворъ“ является сценой дѣйствія всей повѣсти. Кого только ни видитъ Маракулинъ на этомъ дворѣ, чего только ни узнаетъ! Старикъ, нанимающій уголъ „за полтора рубля съ огурцами“; іоаннитъ Горбачевъ, перемѣшивающій молитвы и пѣснопѣнія съ густой руганью и ненавидящій дѣтей; студенты, собирающіе пожертвованія въ пользу бѣдныхъ товарищей и оказывающіеся „самыми форменными жуликами“; хозяйка меблированныхъ комнатъ Адонія Ивойловна, рыхлая богомольная купчиха, разъѣзжающая каждое лѣто по монастырямъ; самъ хозяинъ дома генералъ Бурковъ, „самоистребитель“; два брата „артиста“— Василій Александровичъ, „клоунъ“, и Сергѣй Александровичъ, „балетчикъ“, увлеченный ввозомъ русскаго искусства въ Парижъ; докторъ-нѣмецъ, Виттенштаубе, который лѣчитъ отъ всѣхъ болѣзней рентгеновскими лучами; генеральша Холмогорова, живущая на парадной,—она ходитъ на прогулку со складнымъ стуломъ, здоровая, сытая, „безсмертная“,—ѣстъ, пьетъ, növariваетъ и „закаляется“... Весь „Бурковъ дворъ“ скоро становится близко извѣстенъ Маракулину, и онъ прямо задавленъ бременемъ того неисходнаго, безсмысленнаго, страшнаго человѣческаго горя, какое открывается передъ нимъ. Уже передъ самымъ переѣздомъ въ эти меблированныя комнаты на Бурковомъ дворѣ, Маракулинъ смотритъ изъ окна на мученія кошки Мурки, которую кто-то „для шутки“ накормилъ битымъ стекломъ— и мучительные вопросы встаютъ въ бѣдной маракулинской головѣ. Прежде, во времена своего беззаботнаго житья, Маракулинъ не умѣлъ думать, спрашивать; теперь вопросы пришли сами. За что? Кто дастъ отвѣтъ за страданія, кто

вознаградитъ и уравновѣситъ въ мiровой гармонiи хотя бы мученiя бѣдной кошки Мурки?

Сперва Маракулинъ пытается спастись отъ этихъ вопросовъ: не въ будущемъ ищетъ онъ возмездiя, а въ прошломъ хочетъ допустить какой-то „изначальный Мурк инъ грѣхъ“. Но не выдерживаетъ душа его этой ветхозавѣтной правды о казни семидесяти семи поколѣнiй за изначальный грѣхъ,—особенно когда Маракулинъ мучительно соприкасается съ безысходнымъ человѣческимъ горемъ. Рядомъ съ нимъ, въ сосѣдней комнатѣ, живетъ Вѣрочка, мечтающая стать «великой актрисой», чтобы опозорившiй и бросившiй ее человѣкъ (а она и до сихъ поръ безумно его любитъ) увидѣлъ, кого онъ лишился, и вернулся бы къ ней; въ другой сосѣдней комнатѣ живетъ Вѣра Ивановна, упорная, вѣковѣчная труженица, мечтающая выдержать экзаменъ на аттестатъ зрѣлости и попасть въ медицинскiй институтъ; когда-нибудь она,—думаетъ Маракулинъ,—такъ и умретъ за учебникомъ физики Краевича. Тамъ—разбитая любовь, разбитая жизнь; здѣсь — безнадежный трудъ, разбивающiй жизнь; и тамъ, и здѣсь—горе неисходное. И тутъ же служанка меблированныхъ комнатъ, старая, полу-юродивая, хорошая старуха, «божественная Акумовна», которую еще дѣвочкой проклялъ умиравшiй отецъ, благословивъ ее на всю жизнь идти «коло бѣлаго свѣта катучимъ камнемъ». Всю тяжелую жизнь Акумовны узнаетъ Маракулинъ, и еще тяжелѣе холодъ сдавливаетъ ему сердце, не облегчаетъ его обычное присловiе Акумовны: «обвиноватить никого нельзя». Пусть виноватыхъ нѣтъ, нѣтъ изначальнаго грѣха, но вѣдь есть безъисходное, гнетущее горе, тяжкая мука человѣческая: такъ развѣ отъ этого легче? Виноватыхъ нѣтъ, но тутъ же рядомъ живетъ и процвѣтаетъ сытая, здоровая, «безсмертная» генеральша Холмогорова, — «вошь», какъ ее прозвали на Бурковомъ дворѣ; она ѣстъ, пьетъ, переваривает, закаляется и безмятежно спитъ по ночамъ. И вся мучительная ненависть Маракулина къ «Кому-то» обрушивается на эту «безсмертную вошь», генеральшу Холмогорову; она выростаетъ для него въ символъ, въ кошмаръ; на нее переноситъ онъ свою ненависть за все горе, за весь ужасъ человѣческой жизни. Иной разъ ему мучительно хочется хоть одинъ день, хоть одинъ часъ пожить блаженной,

безмятежной, бездумной жизнью генеральши, самому стать хоть на день, хоть на часъ такой «вошью» человѣчества; но тутъ же онъ чувствуетъ, что лучше цѣлая жизнь горя и ужаса, чѣмъ одинъ часъ безмятежнаго житія генеральши Холмогоровой; и все-таки тѣмъ сильнѣе ненавидитъ онъ эту «безсмертную вошь». И когда однажды, ночью, слышитъ онъ, какъ Вѣрочка, въ припадкѣ безконечной тоски, молча бьется головою о стѣну и о желѣзную рѣшетку кровати; когда вспоминаетъ онъ, что генеральша Холмогорова, нагулявшись и закалившись за день, теперь спокойно и сладко спитъ, то его охватываетъ такая ненависть, такая злоба, что какъ безумный распахиваетъ онъ форточку и кричитъ въ молчаливый, темный дворъ: «Помогите, православные! Вошь спитъ!»

Дальше и дальше развертывается повѣсть, новыя лица входятъ въ нее: тутъ и два эпизодическихъ типа,—учителя провинціальной гимназіи; тутъ и прогнанная жена одного изъ нихъ, убитая, потерявшая вѣру въ людей, всѣми обманываемая, печальная; тутъ и помощница Акумовны, подростокъ Вѣруша, грубо поруганная звѣрьми-людьми. Все это видитъ, все это болѣзненно воспринимаетъ Маракулинъ. Прежняя сосѣдка его, Вѣрочка, мечтавшая стать великой артисткой, быстро и неизбѣжно падаетъ по наклонной плоскости: сперва содержанка богатаго сановника, она вскорѣ становится уличной проституткой. А Маракулинъ любитъ ее, самъ того не сознавая; онъ связанъ съ нею ея страданіями, которыя стали и его страданіями. Безнадежно захлестывается Маракулинъ этой мертвой петлей человѣческаго горя; такъ дальше жить нельзя, и чувствуется, что еще одинъ шагъ, еще одна капля, и не выдержитъ онъ, самъ себя приговоритъ къ смерти. Но тутъ ему дается судьбой небольшая отсрочка, — его вызываютъ въ Москву, къ его школьному товарищу, богатому купцу Плотникову, который самъ ждетъ спасенія отъ Маракулина, восклицая: «Я въ тебя, Петруша, какъ въ Бога вѣрую!» Этотъ купецъ Плотниковъ, въ запойномъ бреду, сидитъ и пьетъ въ своемъ кабинетѣ; на одной стѣнѣ у него виситъ нестеровская «Святая Русь», а у другой стѣны — клѣтка съ обезьянами:—удивительная «бытовая» картина и, какъ увидимъ, ключъ ко всему творчеству Алексѣя Ремизова! Плотниковъ мелетъ пьяный вздоръ, а Мараку-

линъ еще болѣе запутывается въ своихъ тяжелыхъ вопросахъ; не можетъ осмыслить онъ этого человѣка между обезьянами и «Святою Русью». Еще въ вагонѣ между Петербургомъ и Москвой вспомнилъ онъ свое дѣтство, свою мать Евгенію Маракулину, — и еще одна капля горечи воспоминанія прибавилось въ испиваемую имъ чашу. Безотвѣтная, слабая, безвольная, кроткая дѣвушка Женя, которую насильно бралъ, кто хотѣлъ, не исключая и родного брата, и которая себя, только себя винила во всемъ происходившемъ и жаждала искупленія грѣха своего, — Женя эта еще увеличиваетъ въ памяти Маракулина число «крестовыхъ сестеръ» по горю, страданію, мукѣ, насилію. Возвращается Маракулинъ въ Петербургъ и снова попадаетъ въ атмосферу безнадежности, отчаянія, сознанія безсмысленности всего, ужаса всей жизни. На мгновеніе вспыхиваетъ въ немъ безумная надежда, что спасеніе гдѣ-то внѣ его, что надо скорѣе уѣхать изъ Буркова двора, уѣхать подальше, хотя бы въ Парижъ, куда ѣдетъ его сосѣдъ, «балетчикъ» Сергѣй Александровичъ, вполнѣ удовлетворенный своимъ ввозомъ русскаго искусства въ Парижъ; и подобно тому, какъ чеховскія три сестры все плакали: «Въ Москву! Въ Москву!» и искали въ ней спасенія, такъ и Маракулинъ на мгновеніе хочетъ надѣяться, что его спасетъ какой-то невѣдомый, далекій «Парижъ». Деньги, какую-нибудь тысячу рублей, ему пришлетъ богатый Плотниковъ, который вѣдь въ него «какъ въ Бога вѣруетъ». Но Плотниковъ, конечно, присылаетъ Маракулину только 25 рублей, и надежда, которой пытался обмануть себя Маракулинъ, гаснетъ въ его сердцѣ. Надѣяться больше не на что; обманывать себя больше нечѣмъ; жить больше незачѣмъ,—ужасъ горя человѣческаго заморозилъ сердце Маракулина. И послѣдней каплей, переполнившей чашу, является сцена, которую снова видитъ Маракулинъ на Бурковомъ дворѣ изъ своего окна: поетъ нищенка, бродящая со двора во дворъ, безногая дѣвочка Маша, Мурка... Довольно! Не нужно больше Маракулину обманывать себя отвѣтами объ «изначальномъ муркиномъ грѣхѣ»: жалокъ этотъ отвѣтъ передъ страданіями живаго тѣла, передъ муками живаго духа. Слишкомъ много горя человѣческаго вошло въ сердце Маракулина,—и самъ, въ глубинѣ духа своего, приговорилъ уже

онъ себя къ уничтоженію. Но живучъ человѣкъ,—и даже къ смерти себя приговорившій еще борется изъ послѣднихъ силъ за жизнь. Когда измученный жизнью, затравленный своими и чужими муками, Маракулинъ видитъ сонъ, что черезъ два дня, въ субботу придетъ за нимъ смерть,—съ ужасомъ ждетъ онъ, исполнится или нѣтъ это предсказаніе. Настаетъ суббота, и Маракулинъ, какъ затравленный звѣрь, мечется по всему Петербургу изъ конца въ конецъ, безъ отдыха, безъ надежды, съ отчаяніемъ въ душѣ: это онъ убѣгаетъ отъ своей смерти. День этотъ—какой-то кошмаръ, такъ ярко нарисованный, что не знаешь, гдѣ реальность, а гдѣ нѣтъ. Но Маракулинъ уже потерялъ чувство реальности, его ничто ни можетъ удивить; даже наталкиваясь на улицѣ на случайную смерть генеральши Холмогоровой, Маракулинъ можетъ только тупо повторять: «Вотъ тебѣ и безсмертіе! Вотъ тебѣ и безсмертная!» Но уже онъ не чувствуетъ былой ненависти къ этой «безсмертной воши», онъ знаетъ, что «обвиноватить никого нельзя». И если кто виноватъ, то быть-можетъ, тотъ Мѣдный Всадникъ, тотъ, «чьей волей роковой городъ основался», тотъ, къ которому Маракулинъ обращается съ безсмысленной и полной остраго отчаянія фразой: «Петръ Алексѣевичъ, ваше императорское величество! Русскій народъ настой изъ лошадинаго навоза пьетъ, и покоряетъ сердце Европы за полтора рубля съ огурцами! Больше я ничего не имѣю сказать...» Нѣтъ виноватаго, нѣтъ виновныхъ, но отъ этого не легче задавленному тяжестью людского горя и человѣческихъ страданій Маракулину; и если онъ съ отчаяніемъ въ душѣ пробуетъ еще бѣжать отъ смерти, то онъ знаетъ, что обманываетъ самъ себя, что смерти онъ не минетъ, что самъ за ней пойдетъ... Онъ возвращается въ ночь на воскресенье домой, и когда пробило двѣнадцать часовъ ночи, онъ чувствуетъ себя спасеннымъ отъ своей навязчивой идеи, отъ шагавшей по его пятамъ смерти... Но къ смерти онъ приговорилъ себя самъ, — и не случайно черезъ пять минутъ послѣ этого летитъ онъ изъ окна, съ высоты пятаго этажа на камни Буркова двора... Кто не имѣетъ силъ принять и снести горе человѣческое, тотъ не можетъ жить, тотъ долженъ уйти отъ жизни. Такъ ушелъ Маракулинъ; чашу горечи—горести всечеловѣческой—онъ испилъ до дна.

3.

Вотъ «Крестовыя сестры» Алексѣя Ремизова. Быть можетъ, даже по этому намекающему пересказу читатель могъ убѣдиться въ силѣ и глубинѣ повѣсти, такой реалистической и «бытовой» по построенію, такой символистически глубокой по содержанію. Все реально въ этой повѣсти, все—отъ «Буркова двора», въ Казачьемъ переулкѣ, между банями и бельгійскимъ электрическимъ заводомъ, до самаго Маракулина; и въ то же время все это взято настолько глубоко, что совершенно забываешь о пресловутомъ «бытѣ», не его ищешь, не его видишь. Бурковъ дворъ, вѣдь это— не только одинъ петербургскій дворъ, это — цѣлый слой жизни самой по себѣ; крестовыя сестры, это — не только Вѣра, Вѣрочка, Вѣруша, не только Акумовна, Женя, Машка-Мурка; это—всѣ изнасилованные жизнью, задавленные непосильной тяжестью, надорвавшіеся, измученные, погубленные,—всѣ они крестовые братья и сестры. «Униженные и оскорбленные»,—такъ ихъ звалъ когда-то Достоевскій, лучшее вліяніе котораго такъ чувствуется на литературной сторонѣ этой повѣсти Ремизова. Но Достоевскій въ этомъ своемъ романѣ еще не отказался отъ нѣкоторой сантиментальной, идеализирующей тенденціи: униженные и оскорбленные, они горды сознаніемъ своей правды, хотя бы и побѣждаемой. Впослѣдствіи тотъ же Достоевскій показалъ, какъ такіе люди живутъ не гордымъ сознаніемъ правды своей, а униженіемъ своимъ, мукой своей, вопросомъ вѣчнымъ,—вспомнимъ хотя-бы Раскольникова, или штабсъ-капитана, отца умирающаго «Ильюшечки». Таковы и у Ремизова крестовые братья и сестры, вѣчно распинаемые жизнью и вѣчно горестно вопрошающіе: «Отецъ, Отецъ, почто еси мя оставилъ?» Бога спрашиваютъ они, если вѣрятъ въ Бога; жизнь вопрошаютъ они, пока вѣрятъ въ жизнь. И если есть вопросъ, если есть вопль вопроса, то только изъ устъ «крестовыхъ сестеръ» вылетаетъ онъ; только для измученныхъ, надорванныхъ, изнасилованныхъ жизнью душъ человѣческихъ вопросъ о жизни есть вопросъ жизни, вопросъ жизни и смерти. Конечно, не одни эти люди думаютъ о смерти, думаютъ о жизни; не одни они ищутъ Бога, ищутъ правды, ищутъ оправданія; и развѣ не

случается, что всякіе генералы и генеральши Холмогоровы тоже знакомятся съ «вопросами» и начинають добросовѣстно «заниматься» и богоискательствомъ, и богоборчествомъ, и богостроительствомъ? Дѣлаютъ они это добросовѣстно, читаютъ, пишутъ, перевариваютъ и закаляются... Но не дано имъ вопросъ о жизни сдѣлать вопросомъ жизни. Только тѣ, кто все прошли до конца, до дна, только тѣ вопросъ о жизни ставятъ какъ вопросъ жизни своей. Нѣтъ отвѣта—и летитъ Маракулинъ съ высоты пятаго этажа на камни и плиты Буркова двора...

И невольно вспоминаются заключительныя строки «Пруда», которыми Ремизовъ могъ бы закончить «Крестовыя сестры».

«Тосковалъ Дьяволъ въ своемъ царствѣ. И кричалъ страхъ изъ слипающихся, отягченныхъ сномъ людскихъ глазъ. И пробивая красныя волны, глядѣлись частыя звѣзды. А тамъ, за звѣздами, на небесахъ, устремляя къ Престолу взоръ полный слезъ, Матерь Божія сокрушалась и просила Сына: Прости имъ!—А тамъ, на небесахъ, была великая тьма...—Прости имъ!—А тамъ, на небесахъ, какъ нѣкогда въ девятый покинутый часъ, висѣлъ Онъ, распятый, съ поникшей главой въ терновомъ вѣнцѣ...—Прости имъ!»

Прости имъ, распинающимъ: это ли отвѣтъ на вопросъ жизни распинаемыхъ? И съ этой-ли мольбой можно обращаться къ тому Мѣдному Всаднику, который видя не видитъ и слыша не слышитъ? И какъ быть, если нѣтъ двухъ отдѣльныхъ становъ распинающихъ и распинаемыхъ, кровожадныхъ «обезьянъ» и страдающихъ праведниковъ, «Святой Руси»? Какъ быть, если два эти стана смѣшаны, спутаны, стасованы, если въ жизни невозможно разобрать, гдѣ кончается «Святая Русь» и гдѣ начинаются клѣтки съ обезьянами? Что, если распинаемые сами распинаютъ другихъ, а распинающіе—въ свою очередь распинаются?

Обвиноватить никого нельзя. Можно только либо принять, либо отвергнуть и мучениковъ и мучителей, и праведниковъ и обезьянъ. Къ этому мы приходимъ, пройдя «Бурковъ дворъ», къ этому мы придемъ, пройдя и все творчество Алексѣя Ремизова. Я уже сказалъ, что ключемъ къ этому творчеству являются именно «Крестовыя сестры», а ключемъ къ этой повѣсти—одна «бытовая картина», которую мы видѣли въ кабинетѣ у купца Плотникова...

II.

Между «Святою Русью» и обезьяной.

1.

Въ «Крестовыхъ сестрахъ» мы отмѣтили одну «бытовую картину», въ которую невольно вкладываешь глубокій символическій смыслъ. Герой повѣсти, Маракулинъ (за которымъ нетрудно видѣть самого автора) попадаетъ въ кабинетъ купца Плотникова: «Кабинетъ былъ раздѣленъ на двѣ половины, на два отдѣла. Съ одной стороны—копіи съ нестеровскихъ картинъ, а съ другой двѣ клѣтки съ обезьянами... Маракулинъ стоялъ между «Святою Русью» и обезьяной и ровно ничего не могъ понять»... Но мы, читатели, мы понимаемъ: не купца Плотникова это кабинетъ, а самого А. Ремизова; кабинетъ этотъ—разгадка, ключъ ко всему творчеству этого писателя. И болѣе того: не только въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, но и во всей жизни, во всемъ окружающемъ мірѣ стоитъ А. Ремизовъ между «Святою Русью» и обезьяной; это два полюса его жизни и творчества, между которыми онъ, дрожа, колеблется—какъ бузиновый шарикъ между двумя противоположными полюсами электричества. Прочтите и перечтите хотя бы его «Крестовыхъ сестеръ»—посмотрите, сколько «обезьянъ», сколько всѣхъ этихъ Раковыхъ, Лещевыхъ, Образцовыхъ, Ледневыхъ, Бурковыхъ, Горбачевыхъ и Кабаковыхъ, среди которыхъ «задыхается Россія», сколько звѣриныхъ мордъ, жестокости, уродства, сытости, самодовольства, кривляній и гримасъ; а съ другой стороны посмотрите и на Вѣру Ивановну, Вѣрочку, Акумовну, Анну Степановну, Женю, самого Маракулина— всѣ они обреченные, распинаемые, изнасилованные, безпріютные, съ глазами «какъ потерянными», съ горемъ и мукою «бродячей Святой Руси», всѣ они задыхающіеся отъ жизни, оскверняемые на каждомъ шагу «обезьянами»... И это во всѣхъ произведеніяхъ А. Ремизова, во всемъ его творчествѣ, а не только въ однѣхъ «Крестовыхъ сестрахъ». Всюду стоитъ онъ между «Святою Русью» и обезьяной, всюду рисуетъ онъ ужасъ жизни, мерзость жизни, гримасный кошмаръ и «какъ потерянные» лучистые глаза.

Все это было бы очень просто, если бы Маракулинъ-Ремизовъ былъ правъ въ своемъ простомъ описаніи кабинета, правильно раздѣленнаго на двѣ половины, на два отдѣла: съ одной стороны нестеровская «Святая Русь», съ другой стороны—клѣтки съ обезьянами; одесную—страдающіе и распинаемые праведники, ошую—распинающія и гримасничающія обезьяны... Если бы творчество А. Ремизова было такимъ аракчеевски-прямолинейнымъ, то о немъ не стоило бы ни говорить, ни писать. Но въ томъ-то и дѣло, въ томъ-то и сложность творчества А. Ремизова,—мы это уже подчеркнули,—что въ жизни, имъ видимой, чувствуемой и изображаемой, все смѣшано, перепутано, сплетено: страдающіе праведники сходятъ съ нестеровской «Святой Руси», смѣшиваются съ толпой обезьянъ и предаются оргіи звѣрской жестокости и всяческаго непотребства; только одни лучистые, «какъ потерянные», глаза выдаютъ ихъ внутренній ужасъ и муку. Все смѣшивается: зло съ добромъ, правда съ ложью, обезьяна съ праведникомъ И посреди этой смѣшанной, кошмарной толпы, среди этой кошмарной жизни, имъ же изображенной, стоитъ А. Ремизовъ, какъ Маракулинъ въ кабинетѣ Плотникова: «Маракулинъ стоялъ между «Святой Русью» и обезьяной и ровно ничего не могъ понять»...

2.

Перечитывая подрядъ всѣ произведенія Ремизова, иной разъ прямо задыхаешься въ томъ кошмарномъ туманѣ, который обволакиваетъ собою всякую человѣческую жизнь въ его разсказахъ и романахъ. Липкая, клейкая грязь «Пруда»—перваго романа А. Ремизова—засасываетъ въ себя какъ тина; на каждой страницѣ кривляются и непотребствуютъ предъ нами обезьяны, тѣмъ болѣе страшныя, что невыдуманныя, а иногда— и это еще тяжелѣе —сквозь звѣриную ихъ гримасу свѣтятся лучистые, «какъ потерянные», глаза, полные отчаянія и муки. И всюду—послѣднее униженіе человѣческой личности, изнасилованіе души человѣческой. Развратный, добродушный и глупый монахъ, о. Гавріилъ, жадно пожираетъ объѣдки и помои; студентъ, кончая самоубійствомъ, зарѣзывается «перочиннымъ ножич-

комъ въ отхожемъ мѣстѣ»; лакей съ гордой кличкой «Прометея» занимаетъ въ Зоологическомъ саду «какую-то нечистую и тяжелую должность при слонѣ во время случки» («Прудъ»); «таракаиоморъ» Павелъ Ѳедоровичъ, «песъ сапатый», убиваетъ женщинъ во время припадковъ своей звѣриной похоти («Чортикъ»); почтовый чиновникъ Волковъ живетъ съ женой и съ «собачкой благовѣрной», и въ концѣ концовъ убиваетъ и жену и собаку: „будетъ, говоритъ, насладился"; часовой мастеръ Семенъ Митрофановичъ сперва заставляетъ безотвѣтнаго мальчишку креститься и прикладываться къ его пяткѣ, а потомъ—пить изъ „посуды въ углу" („Часы"); веселый зубоскалъ и гримасникъ Бородинъ—мертвецъ среди живыхъ („Жертва")... И такъ буквально въ каждомъ разсказѣ, на каждой страницѣ; какой-то кошмаръ безъ начала и конца. И это—жизнь. Мало того: не только на яву, но и во снѣ не могутъ уйти отъ этого мучительнаго кошмара жизни герои А. Ремизова, кто бы они не были—обезьяны или страждущіе люди. Стоитъ обратить вниманіе на этотъ фактъ: ни у одного писателя нѣтъ такого количества „сновъ", какимъ А. Ремизовъ одаряетъ своихъ героевъ; всѣмъ имъ не столько с п и т с я, сколько с н и т с я, и всѣ сны ихъ—сплошной, мучительный кошмаръ. Да и неудивительно: что въ жизни, то и во снѣ: и недаромъ сны самого А. Ремизова, съ такой удивительной тонкостью зарисованные имъ („Бѣдовая доля"),—тоже сплошные, мучительные кошмары. Прочтите эти „сны"—и вы поймете, какою представляется А. Ремизову человѣческая жизнь. А одинъ изъ этихъ „сновъ", такъ и озаглавленный „Обезьяны", разсказываетъ намъ о томъ, какъ самъ авторъ увидѣлъ себя во снѣ „предводителемъ шимпанзэ", которыхъ предаютъ, „на Марсовомъ полѣ" такой жестокой казни, что вся „земля взбухла отъ пролитой обезьяньей крови"... И сонъ этотъ даетъ отвѣтъ о значеніи всѣхъ „обезьянъ" жизни и творчества А. Ремизова: сами онѣ—только ж е р т в ы чего-то или Кого-то. Убійцы, мучители, звѣри-люди, сѣющіе кровь и слезы по землѣ, всѣ они—сами жертвы, за которыхъ надо потребовать такого же отвѣта, какъ и за ихъ жертвы. И когда на это „Марсово поле" прискакалъ Мѣдный Всадникъ, „весь закованный въ зеленую мѣдь" (такъ продолжается „сонъ" А. Ремизова) и стянулъ арканомъ горло „предводителя шимпанзэ", то—„въ

замертвѣвшей тишинѣ, дерзко глядя на страшнаго всадника передъ лицомъ ненужной, ненавистной, непрошенной смерти, я, предводитель шимпанзэ... прокричалъ гордому всаднику и ненавистной мнѣ смерти трижды пѣтухомъ“... Если отъ этого Мѣднаго Всадника — того самаго Всадника, которому и Маракулинъ бросилъ въ лицо свой мучительный стонъ, какъ это уже отмѣтили мы выше, — если отъ этого Мѣднаго Всадника нельзя получить отвѣта за все — и за распинаемыхъ и за распинающихъ, то только стонъ, насмѣшку и издѣвательство можно бросить ему въ лицо... Но вѣдь и это—не отвѣтъ на вопросы о причинахъ и цѣляхъ страданій и мукахъ человѣческихъ. Отвѣта А. Ремизовъ и не даетъ,—но неустанно онъ все спрашиваетъ, спрашиваетъ и спрашиваетъ... Онъ отвращаетъ свой взглядъ отъ „обезьянъ“ онъ ищетъ чистоты, святости, наивности, любви, какъ оправданія міра. Гдѣ найти все это, гдѣ искать все это? Конечно, среди тѣхъ, о которыхъ еще Христосъ сказалъ: если не будете, какъ дѣти — не войдете въ царство небесное... И Ремизовъ обращается къ дѣтямъ; среди нихъ онъ хочетъ найти „Святую Русь“, еще не загрязненную жестокостью, не запачканную кровью, не измученную муками тяжелой крестной ноши... Посмотримъ, что онъ находитъ.

3.

Такъ рисовать дѣтей, какъ рисуетъ ихъ Ремизовъ, такъ любовно и нѣжно заглядывать въ ихъ душу—немногіе умѣли и умѣютъ въ нашей литературѣ. Четырехлѣтній пузанъ Бебка съ оттопыренными губами („Чортовъ логъ“); приготовишка, мечтающій утащить изъ учительскаго шкапа игрушку („Слоненокъ“); малыши - гимназисты, убѣгающіе „въ Америку“ съ паспортомъ кухарки Ѳеклуши и съ тремя рублями („Царевна Мымра“); крошечная „королева“ Саша съ носикомъ „съ защипкой“, и съ синими прелукавыми глазками („Мака“); фантастическая и такая реальная „Зайка“, шалунья и веселушка—все это, повторяю, написано нѣжно и любовно большимъ художникомъ, которому близка дѣтская душа, близки дѣти, „эти единственно милыя и чистыя незабудки“. И вотъ посмотрите, что дѣлаетъ съ ними А. Ремизовъ, что дѣлаетъ съ ними жизнь.

Проходитъ первое, чистое, безсознательное дѣтство. Восьмилѣтній Коля („Прудъ") уже начинаетъ вспоминать „что-то хорошее, что было когда-то, третьяго года"; начинается что-то стыдное, тайное, запретное; растутъ синіе круги вокругъ глазъ. Вмѣстѣ съ этимъ приходитъ что-то звѣриное, „обезьянье", жестокое. Пойманную крысу „потихоньку" ошпариваютъ кипяткомъ, „норовя въ глаза"; крыса, судорожно умываясь лапкой, кричитъ, какъ человѣкъ... „Изъ навоза выкапываютъ бѣлыхъ, жирныхъ червей и, набравъ полныя горсти, раздавливаютъ по дорожкамъ". Ловятъ лягушекъ и истязаютъ - потѣшаются: „отрываютъ лапки, выкалываютъ глаза, распарываютъ брюшко, чтобы кишки поглядѣть"; и въ то же время весело, по-дѣтски, егозятъ и шалятъ, „какъ маленькія обезьянки"... И подлинно—уже начинаетъ сквозь святое дѣтское лицо проглядывать гримаса жестокой, грязной „обезьяны"... „Не было на свѣтѣ ни лица, ни такого предмета, на чемъ бы глаза успокоить. Даже дѣти, эти единственно милыя и чистыя незабудки... Дѣтскія личики казались въ звѣрскихъ, стальныхъ намордникахъ. И скалили изъ-за рѣшетки свои молочные острые зубки" („Прудъ"). И это—тѣ, о которыхъ сказано: если не будете какъ они—не войдете въ царство небесное! Гдѣ чистота, невинность, ласка, любовь, гдѣ дѣти-ангелы? — Ихъ нѣтъ! „Крылья мои бѣлыя, тяжелыя вы въ слипшихся комкахъ кровавой грязи"... Нѣтъ святыхъ дѣтей, — изъ нихъ уже выросли дѣти-обезьяны, мучители и палачи, въ звѣриныхъ стальныхъ намордникахъ... Растутъ дѣти—и растутъ съ ними жестокія, калѣчныя мысли; озлобляется и пачкается дѣтская душа. Жизнь беретъ свое. Гимназистикъ Атя, неудачно бѣжавшій въ Америку, любитъ чистою, дѣтскою любовью Клавдію Гурьяновну, свою „царевну", свою „единственную"; спасаясь однажды отъ наказанія, онъ прячется подъ кроватью „царевны" въ то время, когда къ ней приходитъ любовникъ... Жизнь беретъ свое—и Атя уходитъ уже не тотъ, съ камнемъ на сердцѣ и съ пустыней въ душѣ; осмѣяна, поругана его любовь, жизнь показала ему свое „обезьянье" лицо („Царевна Мымра"). И уже не дѣтскіе сны видятъ такія дѣти: ихъ сны—это тоже кошмары грязи, крови и гримасъ („Прудъ", „Слоненокъ"). Жизнь захватываетъ, жизнь засасываетъ ихъ; они смѣшиваются съ толпой „обезьянъ", скотское торжествуетъ надъ

человѣческимъ. И часто, сохраняя еще въ душѣ ту искру, которая дѣлаетъ ихъ „какъ потерянные“ глаза лучистыми глазами безпріютной „Святой Руси“, они все же до конца, до дна принимаютъ и выявляютъ то звѣриное, жестокое, что есть въ человѣкѣ. Никакой раздѣляющей черты нельзя провести тогда между „Святою Русью“ и обезьяной: все спутано, перемѣшано, сплетено — правда и ложь, зло и добро, святое и „обезьянье“. И тогда одновременно „что-то пречистымъ таетъ на лицахъ въ ангельскомъ умиленіи, трубятъ трубы справедливости и негодованія, а въ сердцѣ какія-то паразитическія насѣкомыя гадятъ и кишатъ и безгранично царятъ въ своемъ царствѣ“... („Прудъ“). И снова встаютъ прежніе вопросы, снова кровь и страданіе требуютъ отвѣта: „земля взбухла отъ пролитой обезьяньей крови“... И снова выясняется, что и распинающіе и распинаемые, всѣ—жертвы; и громко звучитъ тотъ ужасъ передъ жизнью, къ которому сводится эта сторона творчества А. Ремизова.

4.

Тутъ то и выступаютъ на сцену крестовые сестры и братья въ произведеніяхъ А. Ремизова—всѣ подъявшіе вольно и невольно тяжелую крестную ношу, всѣ изнасилованные духовно, всѣ распинаемые жизнью и познавшіе ея ужасъ. Всѣ они — главныя дѣйствующія лица въ произведеніяхъ А. Ремизова, и вотъ почему великолѣпная повѣсть его „Крестовыя сестры“ имѣетъ центральное значеніе для всего его творчества. Крестовые сестры и братья—не святые, не праведники; иной разъ и на ихъ лицахъ „что-то пречистымъ таетъ въ ангельскомъ умиленіи“; а въ сердцѣ „какія-то паразитическія насѣкомыя гадятъ и кишатъ и безгранично царятъ“... Если кому-нибудь покажется невѣроятнымъ такое соединеніе, то пусть этотъ счастливый человѣкъ обратится къ Достоевскому, пусть вспомнитъ хотя бы Лизу изъ „Братьевъ Карамазовыхъ“: тамъ много говорится объ этомъ, о неразрывномъ сліяніи святого съ „обезьяньимъ“, чистой, страдающей души съ калѣчными мыслями и поступками. Крестовые братья и сестры — не святые; иной разъ они доходятъ до дна въ своемъ „обезьяньемъ“ паденіи; но

все же если есть „Святая Русь“, то это только—крестовые братья и сестры, всѣ измученные, распинаемые, познавшіе до дна тяжесть и униженіе жизни, несущіе тяжелую крестную ношу неизбывнаго страданія. И когда увидишь, почувствуешь всю тяжесть этой крестной ноши, то уже не будешь дѣлить людей на распинающихъ и распинаемыхъ, и поймешь, что всѣ они — жертвы Кого-то, за которыхъ долженъ быть данъ отвѣтъ. „...Видѣлъ издѣвательства, косность, самообольщенія и обольщенія, звѣрство, а надъ всѣмъ одно... одно страданіе... И для чего жилъ міръ, и на чью потѣху прыгалъ одинокій человѣкъ... на потѣху?—на слезы и страданіе себѣ и тебѣ, тебѣ и себѣ“... („Прудъ“). Всѣ—жертвы Лиха-Одноглазаго, царящаго надъ міромъ, царящаго надъ жизнью: „изморилъ онъ бѣду свою, пустилъ ее, голодную, по землѣ гулять, и, Одноглазый, своимъ налившимся окомъ косо посматриваетъ изъ-за облаковъ съ высоты надзвѣздной, какъ въ горѣ, въ кручинѣ, въ нуждѣ, въ печали, въ скорби, въ злобѣ и ненависти земля кувыркается и мяучитъ Муркой... Онъ любуется: въ чемъ застану, сужу тебя!“ („Крестовыя сестры“). Ну, что-жъ: суди насъ, судья неправедный! Неправедный, ибо это не Богъ, а Дьяволъ царитъ надъ міромъ. Одна надежда вѣрующихъ—на помощь Богочеловѣка, который спасетъ міръ. „Жизнь сама непонятна, — говоритъ у А. Ремизова Іуда, принцъ Искаріотскій, чающій Христа:—живутъ, не зная для чего, мучаются, не зная за что... Нѣтъ ей оправданія. И твоя правда, и моя правда, и вездѣ правда, а нигдѣ ея нѣтъ. Онъ несетъ ей оправданіе и дастъ новый законъ“.. И вотъ пришелъ Тотъ, пришелъ и прошелъ. И снова въ мірѣ нѣтъ нигдѣ правды, снова нѣтъ оправданія жизни. „Нѣтъ, не приходилъ Тотъ, свѣтлый и радостный, не говорилъ скорбящему міру: миръ вамъ“. („Прудъ“). Не воскресалъ Онъ изъ мертвыхъ, не побѣдилъ Онъ зла, — но, распятый, всѣми оставленный, сталъ Онъ добычею Сатанаила (такъ разсказываетъ А. Ремизовъ въ апокрифѣ „О страстяхъ Господнихъ“). Взялъ Сатанаилъ мертвое тѣло Христа, бросилъ на оскверненіе бѣсамъ, а потомъ убралъ тѣло въ дорогія царскія одежды и вознесъ на высочайшую гору на престолъ славы. „И тамъ, на вершинѣ, у подножія престола всталъ Сатанаилъ и, указуя народамъ подлунной—всѣмъ бывшимъ

и грядущимъ въ вѣкахъ — на ужасный трупъ въ царской одеждѣ, возвѣстилъ громкимъ голосомъ:—Се Царь вашъ!— А съ престола на мятущіяся волны головъ и простертыя руки смотрѣли оловянныя огромныя очи бездушнаго, разложившагося тѣла"... („Лимонарь"). Богъ распятъ и распинается вѣчно; Сатанаилъ вѣчно царитъ надъ міромъ и, строя гримасы, хохочетъ надъ человѣчествомъ. Страдаютъ, гибнутъ, распинаются люди, — а тамъ, на небесахъ, царитъ великая тьма, „тамъ, на небесахъ, какъ нѣкогда въ девятый покинутый часъ, виситъ Онъ, распятый, съ поникшей главой въ терновомъ вѣнцѣ" („Прудъ", послѣдняя страница). Страдаютъ, гибнутъ, распинаются люди, — а высоко надъ ними, „на самомъ верхнемъ ярусѣ соборной колокольни, въ оконномъ пролетѣ, упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконникъ и, выгнувъ длинно, по гусиному, шею, хохочетъ Кто-то, сморщивъ сѣрые, залитые слезами глаза, хохочетъ въ этой ночи звѣздной" („Часы", послѣдняя страница). Распинается „Святая Русь", хохочетъ „Обезьяна"; и невольно вспоминается фраза Пушкина изъ письма его къ Вяземскому о Судьбѣ: „представь себѣ ее огромной Обезьяной, которой дана полная воля... Кто посадитъ ее на цѣпь? Ни ты, ни я, никто"...

Обезьяна царитъ надъ міромъ. И недаромъ въ одномъ изъ произведеній Ремизова на сцену выходитъ, подъ торжественные звуки «обезьяняго марша», самъ «Его Величество царь Обезьяній, Обезьянъ Великій—Валахтантарарахтарандаруфа Асыка Первый», съ большой обезьяньей свитой («Трагедія о Іудѣ, принцѣ Искаріотскомъ"). И снова здѣсь, какъ и во всѣхъ произведеніяхъ А. Ремизова, обезьяны смѣшиваются съ людьми, снова течетъ кровь обезьянья и человѣческая. Люди, вмѣсто орденовъ, украшаются «обезьяньими знаками», фаллосами; обезьяны мучительствуютъ надъ людьми. «Про одного обезьяна разсказываютъ: схватилъ онъ подвернувшійся колъ и такъ ловко чвакнулъ сонную по головѣ, что у той черепъ раскололся. Ткнулъ еще коломъ въ животъ и пошелъ, какъ ни въ чемъ не бывало»... Но развѣ люди уступятъ въ звѣрствѣ обезьянамъ? «А что съ той косоглазой обезьяной выдѣлывали—просто умора! Гладилъ, гладилъ ее одинъ—тише воды, ниже травы—да какъ пырнетъ, кровь брызнула»... Весь этотъ вводный эпи-

зодъ съ обезьянами изъ «Трагедіи о Іудѣ» можно распространить на все творчество А. Ремизова—мы въ этомъ уже могли убѣдиться; и невольно поэтому отождествляешь «Обезьяньяго царя» съ «Обезьяной—Судьбой» Пушкина, съ Мѣднымъ Всадникомъ. Что противъ нихъ можетъ человѣкъ? Проклятія и мольбы безсильны. «Я бы самаго этого Валахтантарарахтарандаруфу положилъ бы на ладонь и другою раздавилъ, вотъ такъ! Онъ вѣдь всѣмъ коноводитъ»... И снова вспоминаешь слова Пушкина объ огромной Обезьянѣ-Судьбѣ, «которой дана полная воля... Кто посадитъ ее на цѣпь? Ни ты, ни я, никто»...

5.

И все-таки люди живутъ. Какъ могутъ жить они, чѣмъ могутъ жить они? Для этого нужна либо желѣзная сила, либо деревянное безчувствіе. «Если бы люди вглядывались другъ въ друга и замѣчали другъ друга, если бы даны были всѣмъ глаза, то лишь одно *желѣзное* сердце вынесло бы весь ужасъ и загадочность жизни» («Крестовыя сестры»). Крестовымъ братьямъ и сестрамъ «даны глаза»— и многіе изъ нихъ не могутъ вынести этого зрѣлища безначальной и безконечной муки человѣческой; не выноситъ этого Маракулинъ и, самъ того не сознавая, невольно приговариваетъ себя къ смерти. Подобно другому герою А. Ремизова, «всю жизнь до травинки принялъ онъ къ себѣ въ сердце—и не видѣлъ существа, сердце котораго не заплакало бы хоть однажды» («Въ секретной»). Правда, иной разъ люди пытаются обмануть себя хоть какимъ-нибудь отвѣтомъ, лишь бы жить, лишь бы убѣдить себя въ правѣ существованія; они пытаются оправдать и чужое страданіе, и свою муку. «Ты помазанъ совершить то, что совершилъ, а тотъ былъ помазанъ свое совершить. Тѣмъ, что онъ мучился, когда ты его прихлопнулъ, онъ искупилъ свое, а ты искупишь завтра» (ibid). И Маракулинъ тоже, какъ мы видѣли, пытается облегчить свою измученную душу объясненіемъ міроваго страданія: кошку Мурку кто-то битымъ стекломъ накормилъ — и вотъ она мучается на камняхъ Буркова двора, а Маракулинъ хочетъ видѣть въ этомъ «какую-то высшую справедливость, кару за какой-то Муркинъ изна-

чальный грѣхъ, неискупленный и неизглаженный»... Да мало ли еще отвѣтовъ можетъ найти человѣкъ, жаждущій хоть чѣмъ-нибудь обмануть себя, лишь бы жить! На эту тему умный и ядовитый разсказъ написалъ Л. Андреевъ («Мои записки»): все можно объяснить и оправдать разумомъ было бы лишь желаніе! [1]). Но Маракулинъ и вообще крестовые братья и сестры не разсуждаютъ о человѣческихъ страданіяхъ, а мучительно переживаютъ ихъ. Вотъ отчего не могутъ они, въ концѣ концовъ, удовлетвориться этими жестокими, ветхозавѣтными оправданіями страданій; ихъ человѣческое сердце не можетъ вынести этой нечеловѣческой неправды. Нѣтъ, ужъ пусть лучше царитъ въ мірѣ тяжелый, несправедливый законъ: страданія есть, оправданія имъ нѣтъ. Кто можетъ—вынесетъ эту тяжелую правду; кто не можетъ—уйдетъ отъ нея навсегда. Маракулинъ не выдерживаетъ и уходитъ; А. Ремизовъ остается жить. Что же? Или у него «желѣзное» сердце? А, можетъ быть, не только желѣзное, но и обыкновенное, человѣческое сердце можетъ вынести эту тяжелую правду?

Отвѣчаетъ на это сама жизнь: да, человѣческое сердце способно вмѣстить эту мучительную правду. Посмотрите вокругъ: сколько крестовыхъ братьевъ и сестеръ! И только немногіе изъ нихъ кончаютъ такъ, какъ Маракулинъ. Человѣчество находитъ въ себѣ силу жить—это отвѣтъ самой жизни. Правда, не малую часть этого человѣчества составляютъ люди съ деревянными сердцами, на-крѣпко запертыми для всякаго чужого горя и страданія. Это—разныя генеральши Холмогоровы («Крестовыя сестры»), — сытыя, здоровыя, самодовольныя, «сосуды избранія», имѣющія «царское право» на существованіе. Генеральша Холмогорова—«безсмертная вошь»—это жуткій символъ, при всей своей реальности; это безконечное число людей, «имя же имъ легіонъ». Она глуха и слѣпа ко всякому горю, и она безгрѣшна, такъ что на духу ей совсѣмъ не въ чемъ каяться: «не убила и не украла, и не убьетъ и не украдетъ, потому что только питается, пьетъ и ѣстъ, перевариваетъ и закаляется»... И если къ кому-нибудь беззлобный и дѣтски-кроткій Маракулинъ-Ремизовъ можетъ чувствовать ненависть, то это не къ

[1]) См. выше статью «Талантливое сочинительство».

жестокимъ убійцамъ, насильникамъ, распинателямъ тѣлеснымъ и духовнымъ, которые все же сами живутъ, страдаютъ и доходятъ до послѣдняго предѣла, а именно къ этимъ худшимъ изъ «обезьянъ», надѣвшимъ маску довольства и безгрѣшности, къ генеральшамъ Холмогоровымъ. Безгрѣшная и безпечальная жизнь этихъ «безсмертныхъ вшей», для Маракулина-Ремизова отвратительнѣе и ужаснѣе самой мучительной, самой «распинаемой» жизни. О, нисколько онъ не обманываетъ себя: онъ думаетъ, что если бы предложить всему человѣчеству эту вошь безпечальную, безгрѣшную и безсмертную жизнь генеральши, жизнь довольную и спокойную («питайся, переваривай и закаляйся!»), то всѣ хлынули бы толпой въ этотъ Новый Сіонъ, въ этотъ Хрустальный дворецъ, по выраженію Достоевскаго. «И надо думать,—прибавляетъ Маракулинъ-Ремизовъ,—что такъ поступило бы все разумное и доброе—кто себѣ врагъ!— и поступило бы законно, правильно, мудро и человѣчно: въ самомъ дѣлѣ, ну, кому охота маяться, задыхаться безъ сна, потерявъ и терпѣніе и покой!» Но самъ-то онъ не пойдетъ въ этотъ Новый Сіонъ, не пойдутъ туда крестовые братья и сестры: кто разъ понялъ и почувствовалъ страданіе человѣческое, тотъ будетъ маяться, задыхаться безъ сна, но не пойдетъ съ коровьимъ колокольчикомъ безпечально питаться, переваривать и закаляться. Пусть это «безуміе»,—но въ этомъ случаѣ и мы предпочитаемъ остаться съ «безуміемъ», съ неутоленными муками, съ неоправданными страданіями, чѣмъ идти купно съ «разумнымъ и добрымъ» въ царство безпечальной вошьей жизни, если-бы оно было хоть когда-нибудь возможно. Есть, стало быть, нѣчто ужаснѣе вѣчной крестовой муки, своей и чужой, страшнѣе невыносимаго сознанія безсмысленности и неоправданности человѣческихъ страданій... Какъ бы то ни было, мы знаемъ отвѣтъ жизни: и не желѣзное, и не деревянное, а живое человѣческое сердце можетъ вынести жестокую правду о неоправданномъ страданіи. И тотъ, кто вынесъ это тяжелое испытаніе, тотъ завоевалъ этимъ свое право на жизнь, тотъ будетъ жить, страдая своей и чужой мукой, впитывая въ себя свою и чужую радость, отзываясь, какъ эхо, на всѣ звуки жизни... Искуса этого не выдержалъ Маракулинъ, но сквозь него прошелъ А. Ремизовъ. Стоя между «Святою

Русью» и обезьянами, онъ «ровно ничего не могъ понять»; но не одно «пониманіе» выноситъ приговоръ надъ жизнью; жизни не можетъ понять А. Ремизовъ, но онъ можетъ ее принять. И въ этомъ—вторая сторона творчества А. Ремизова: ужасъ передъ жизнью совмѣщается въ немъ съ нѣжнымъ и любовнымъ отношеніемъ къ этой жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ.

III.

Святая Русь.

1.

Явился Николѣ Угоднику ангелъ Господенъ и повелѣлъ ему идти истребить русскую землю, русскій народъ. Пошелъ Никола по Руси, изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревню—и видѣлъ всюду беззаконныхъ правителей, видѣлъ невинно-заключенныхъ въ темницы, напрасно-осужденныхъ на казнь, видѣлъ отъ края до края всю землю Русскую—горькую, голодную, безшабашную, пьяную. И поднявъ руку, трижды благословилъ онъ ее великимъ благословеніемъ, и остался помогать Руси отъ вешняго Николы до осенней Никольщины, и только тогда пошелъ помаленьку вверхъ по облакамъ на небеса, къ райскимъ вратамъ, справлять Никольщину. А тамъ, передъ вратами рая, собрались уже подъ райскимъ деревомъ, за золотымъ столомъ всѣ святые угодники; не хватало одного только Николы. Наконецъ, пришелъ и Никола.

„Пришелъ онъ въ лапоткахъ, сѣденькій, со своимъ посохомъ; его райское платье поиздергалось, заплатка на заплаткѣ лежитъ.

— Что, Никола, что запоздалъ такъ?—спросилъ Илья Угодника,—или и для праздника переправляешь души съ земли въ рай?

— Все съ своими мучился,—отвѣчалъ Никола, садясь къ святымъ за веселый золотой столъ,—пропащій народъ: воръ на ворѣ, разбойникъ на разбойникѣ, грабятъ, жгутъ, убиваютъ, братъ на брата, сынъ на отца, отецъ на сына, дочь на мать! Да и всѣ хороши, другъ дружку поѣдомъ ѣдятъ; обнаглѣлъ русскій народъ.

— Я нашлю громъ на нихъ и молнію, попалю, выжгу землю!—воскликнулъ громовный Илья.

— Я росы имъ не дамъ!—поднялся Егорій.

— А я моръ пущу, язву и чуму, изомрутъ, какъ псы!—крикнулъ Касьянъ; извѣстно, Касьянъ, самому Златоусту вгорячахъ усы спалилъ.

— Смерть на нихъ!—сталъ Михайло Архангелъ съ мечомъ.

— Велѣлъ мнѣ ангелъ Господенъ истребить весь русскій народъ, да простилъ я имъ,—отвѣчалъ Никола Милостивый,—больно ужъ мучаются.

И, вставъ, поднялъ Никола чашу во славу Бога Христа, создавшаго небо и землю, море и рѣки, и китовъ, и всѣхъ птицъ, и человѣка по образу своему и по подобію»...

Такъ разсказываетъ А. Ремизовъ въ апокрифѣ «Никола Угодникъ» («Лимонарь» собр, соч. т. VI); такъ и самъ онъ благословляетъ то, что проклинаетъ, принимаетъ то, чего не понимаетъ. Видитъ онъ вокругъ себя горькую, голодную, безшабашную, страшную жизнь человѣческую—и проникновеніемъ художника принимаетъ ее, просвѣтленную, со всѣми муками, всѣми страданіями. Страданія есть—оправданія имъ нѣтъ, но и виновныхъ нѣтъ: «обвиноватить никого нельзя». Жизнь надо принять всю—«до послѣдней травинки», полюбить ее всю и всасывать въ себя ее всю, до дна. Жизнь человѣческая охвачена со всѣхъ сторонъ океаномъ жизни природы,—и самыя нѣжныя, тонкія, тайныя проявленія этой жизни чутко и любовно передаетъ намъ А. Ремизовъ въ своемъ поэтическомъ творчествѣ. Жизнь человѣческая, съ ея неизбывнымъ страданіемъ, давитъ его кошмаромъ, и иной разъ онъ готовъ одного себя обвинить, а человѣческую жизнь оправдать. «Думаешь съ міромъ борешься,—восклицаетъ онъ,—нѣ-ѣтъ, съ самимъ собою: этотъ міръ ты самъ сотворилъ, надѣлилъ его своими похотями, омерзилъ его, огадилъ, измазалъ нечистотами...» («Прудъ»). И когда во-снѣ (опять «сонъ»!) онъ хочетъ видѣть всю красоту поднебесную и плыть въ лодкѣ по облакамъ, то слышитъ голосъ: «паразитъ ты мерзкій, да не видать тебѣ, какъ ушей своихъ, ни облака... ни того, что тамъ за облакомъ,—прочисти напередъ глаза свои, видящіе во всемъ одну гадость, а тогда ужъ милости просимъ!» («Бѣдовая доля»). Вѣроятно, многіе изъ

читателей А. Ремизова, содрогавшіеся отъ его кошмарнаго, душнаго описанія жизни, раздѣлятъ это мнѣніе: не жизнь человѣческая кошмарна, а только произведенія А. Ремизова... И по-своему они правы: каждому дано видѣть жизнь по-своему, и тотъ для котораго жизнь есть только понятное, закономѣрное физическое и нравственное развитіе, — этотъ счастливый человѣкъ свободно можетъ не читать и не понимать произведеній А. Ремизова и нѣкоторыхъ другихъ современныхъ писателей, такъ тѣсно связанныхъ по духу съ великимъ міровымъ геніемъ, «кошмарнымъ» Достоевскимъ... Другіе, менѣе «счастливые» люди знаютъ, что жизнь на дѣлѣ еще тяжелѣе, чѣмъ она преломляется въ творчествѣ А. Ремизова,—но все же они живутъ и «прочищенными глазами» смотрятъ на міръ, принимая его и чутко отзываясь на каждый звукъ жизни. Такъ смотритъ на жизнь и А. Ремизовъ: не разставаясь съ тяжелой крестной ношей, онъ жадно впитываетъ жизнь, «всю жизнь до травинки принимаетъ къ себѣ въ сердце». И только тогда, принявъ всю жизнь въ свое сердце, только тогда въ небесахъ онъ видитъ Бога: «а мнѣ,—закричало сердце, — такую жизнь... да, жизнь, глуби ея, тебя—ты Богъ мой!». Тогда рождается въ немъ нѣжный и тонкій поэтъ, который «всасываетъ въ себя все живое, все, что вокругъ жизнью живетъ, до травинки, которая дышитъ, до малаго камушка, который растетъ; и всасываетъ съ какою-то жадностью и весело, да какъ-то заразительно весело...» Тогда онъ испытываетъ (смотри объ этомъ «Крестовыя сестры») какую-то ничѣмъ необъяснимую «необыкновенную радость», которой бы, кажется, на весь бы міръ хватило (въ философіи она извѣстна подъ дубовымъ именемъ «универсальнаго аффекта») и которая переполняетъ его сердце «тихимъ свѣтомъ и тепломъ». Тогда онъ пишетъ свою нѣжную поэтическую «Посолонь», до сихъ поръ такъ мало оцѣненную; тогда онъ пишетъ «Маку», «Морщинку», «Котофей Котофеича» и всѣ свои поэтическія картинки и сказочки; тогда онъ уходитъ порою въ сказочную «Святую Русь», которая для него жива до сихъ поръ и которую онъ умѣетъ возсоздать съ такою глубокою поэзіей.

2.

Не надо думать, что въ свою «Святую Русь» А. Ремизовъ уходитъ, какъ въ какое-то романтическое царство, спасаясь отъ кошмаровъ окружающей жизни. Кошмаровъ и тамъ не меньше, если не больше: проползаетъ мимо змѣя Скарапея, неся свои двѣнадцать головъ—«пухотныя, рвотныя, блевотныя, тошнотныя, воедырныя»; пляшутъ черти, глумясь надъ мукой человѣческой («Бѣсовское дѣйство»), наводитъ вѣдьмакъ порчу; жгутъ «чернаго пѣтуха» («Посолонь»); мертвецы-упыри пьютъ кровь живого человѣка; плачется на горькую судьбу вѣдьминъ помощникъ Коловертышъ, и злорадно хохочетъ сова («Къ Морю-Океану»). И гдѣ ужъ тутъ говорить о безпечальной романтической «Святой Руси» А. Ремизова, если въ ней возможны такія картины, какъ избіеніе четырнадцати тысячъ младенцевъ (апокрифъ «Рождество», собр. соч. т. VI). Прочтите и перечтите хотя бы одну эту картину...

Нѣтъ, не отъ кошмаровъ окружающей жизни уходитъ А. Ремизовъ въ свою «Святую Русь»: отъ кошмаровъ не уйти тому, кто не хочетъ закрыть глаза и уйти отъ жизни; нѣтъ, и здѣсь, въ этомъ своемъ царствѣ, попрежнему стоитъ А. Ремизовъ между обезьянами и «Святою Русью». Пусть стоитъ—въ этомъ двѣ стороны его творчества; но мы уже знаемъ теперь, что «не понимая» жизни, онъ «принимаетъ» ее: иначе не могъ бы онъ идти «Посолонь», — встрѣчать «весну красную», «лѣто красное», провожать «осень темную», ожидать «зиму лютую», идти труднымъ и радостнымъ путемъ «къ Морю-Океану». Тяжкая крестная ноша соединима, стало быть, съ жаднымъ всасываніемъ въ себя всей жизни «до травинки»; пройдя искусъ неоправданныхъ страданій человѣческихъ, можно — и должно — остаться жить, жить всѣми струнами души, всей полнотой бытія...

Еще разъ повторяю: уходя въ свою «Святую Русь», вовсе не прячется А. Ремизовъ въ «творимую легенду» отъ ужасовъ жизни. Отъ жизни не уйти никуда, и уходя въ фантастику, А. Ремизовъ вовсе не уходитъ отъ жизни. Всѣмъ своимъ творчествомъ показываетъ онъ, что царство «Святой Руси»—поистинѣ внутри насъ, по крайней мѣрѣ тѣхъ изъ

насъ, которые способны чувствовать всю поэтическую прелесть народнаго «миѳотворчества», всю глубокую дѣтскую мудрость народныхъ вѣрованій, понятій, представленій. Я говорю—дѣтскую мудрость, ибо быть можетъ ни къ какой другой области не примѣнимо вѣчное слово: если не будете какъ дѣти — не войдете въ царство Божіе. Прочтите «Посолонь»—и вы поймете, что это значитъ. Только съ просвѣтленными глазами, только съ дѣтской народной мудростью можно войти въ царство «Святой Руси» и увѣровать въ его высшую реальность.

Тогда воскреснутъ передъ нашими глазами мертвые обряды, потерявшія смыслъ игры, деревянныя кустарныя игрушки,—и всѣ они, дѣйствительно, воскресаютъ въ творчествѣ А. Ремизова. И это потому, что онъ умѣетъ проникнуться «дѣтской» мудростью, умѣетъ взглянуть на міръ и жизнь «дѣтскими» глазами — ни на минуту не забывая притомъ ни змѣи Скарапеи, ни четырнадцати тысячъ избіенныхъ младенцевъ.

«У дѣтей глаза подслѣповато-внимательные, — говоритъ А. Ремизовъ въ своихъ примѣчаніяхъ къ «Посолони», и то, что говоритъ онъ о дѣтяхъ, мы можемъ примѣнить къ нему самому:—для нихъ нѣтъ, кажется, ни уголка въ мірѣ незаполненнаго, все вокругъ кишитъ жизнями... Не отдѣляя сна отъ бодрствованія, дѣти мѣшаютъ день съ ночью, когда руководитъ ими не мама и нянька, а Сонъ. Всякую ночь Сонъ приходитъ къ кроваткѣ и ведетъ ихъ гулять на свои поля къ своимъ пріятелямъ. Знакомыя лица игръ и игрушекъ ночью живутъ самой полной жизнью, и это отражается на отношеніи дѣтей къ предметамъ въ дневной жизни... Среди бѣла дня вдругъ покажется Кострома[1]), а станетъ солнце закатываться, глядишь, и Буроба съ мѣшкомъ тащится[2])...» (Собр. соч., т. V).

Все это мы и видимъ въ творчествѣ А. Ремизова. Жизнь подъ аспектомъ пріемлемости—не есть-ли именно жизнь, разсматриваемая дѣтскими глазами? Какъ все свѣтло, ярко, воздушно, желанно, просто, мило! Ничего страшнаго, ничего непонятнаго; нѣтъ слезъ, нѣтъ драмы, а если и есть,

---

[1]) См. „Посолонь“, разсказъ „Кострома“.

[2]) См. „Посолонь“, сказка „Зайка“.

то развѣ только несложныя и невинныя трагикомедіи. Тамъ «игры, обрядъ, игрушка разсматриваются дѣтскими глазами, какъ живые и самостоятельно дѣйствующіе» (прим. къ Полони», собр. соч. т. V); тамъ кошка играетъ съ мышками въ веселыя, безкровныя «кошки-мышки», тамъ «гуси-лебеди» сѣраго волка подъ горой чуть не защипали, такъ что сѣрый только отбрыкивался да унималъ гусей; «вы мнѣ хвостъ-то не оторвите!»; тамъ жизнь звѣриная, жизнь земная течетъ радостно и весело; «тамъ распаханныя поля зеленей зеленятся, тамъ въ синемъ лѣсѣ изъ норъ и берлогъ выходятъ, идутъ и текутъ по черным утолòкамъ, по пробойнымъ тропамъ Божіи звѣри,.. (тамъ) пѣсенка вьется, перепархиваетъ со цвѣточка по травушкѣ, пестрая пѣсенка-ленточка»... И куда дѣвался «Кто-то», со слезящимися глазами и длинной гусиной шеей, злобный и грустный Дьяволъ, хохочущій надъ человѣчествомъ? Вмѣсто него передъ нами добродушный «Бѣсъ-зажига рогатый» курлыкаетъ, ковыряется въ землѣ и птичекъ считаетъ; выскакиваютъ бѣсенята и «такую возню поднимаютъ, такого рогача-стрекоча задавать пускаются, кувыркаются, скачутъ, пищатъ, бодаются, пляшутъ, да такъ, что и сказать невозможно»... «Извѣстно, бѣсенята отскочатъ да боднутъ—такая у нихъ игра»,—прибавляетъ авторъ въ примѣчаніи... Страшнаго ничего нѣтъ; можно только «напускать страха», описывая, напримѣръ, какъ по высокимъ горамъ, по зеленымъ доламъ «страшные» звѣри ходятъ,

переходятъ ровъ и валъ:
оселъ, козелъ,
олень да левъ,
медвѣдюшка—
звѣри страшные,
звѣри важные,
самъ съ усàмъ,
самъ съ рогàмъ...

«Читать это надо строго, любовно и важно,—снова прибавляетъ авторъ въ примѣчаніи:—тамъ, гдѣ звѣри собираются и переходятъ ровъ и валъ, надо напустить страха: самъ съ усàмъ, самъ съ рогàмъ»... (Соб. соч., т. V; «Посолонь», примѣчанія).

И все это поистинѣ есть въ жизни—для того, кто хочетъ и умѣетъ смотрѣть. Но—если не будете, какъ дѣти, не войдете въ это царство «Святой Руси». Конечно, не только это есть въ жизни, и даже дѣтскіе «подслѣповато-внимательные глаза» скоро научаются видѣть и слезы, и уродство, и страшное, и кошмарное—все то, что съ такой тяжелой ясностью видитъ въ жизни и самъ А. Ремизовъ. Но для того, кто хоть разъ взглянулъ на міръ глазами ребенка—для того вѣчно міръ и жизнь будутъ видны «подъ аспектомъ пріемлемости». И сколько бы онъ ни видѣлъ потомъ въ мірѣ слезъ и крови, обезьянъ и распинателей, сколько бы онъ ни видѣлъ въ жизни горькаго, безшабашнаго, обнаглѣлаго, мучительнаго — все-же его послѣдній взглядъ на міръ и жизнь будетъ просвѣтленнымъ, все-же, не понимая жизни, онъ будетъ принимать ее и не проклинать, а «трижды благословлять ее великимъ благословеніемъ»...

3.

Ничто, быть можетъ, не уясняетъ этой внутренней «пріемлемости» жизни и міра А. Ремизовымъ лучше и нагляднѣе, чѣмъ анализъ внѣшней формы его «свято-русскихъ» произведеній—«Посолони», «Лимонаря», «Къ Морю-Океану», трехъ «дѣйствъ» (соб. сочин., тт. V и VI). Такой анализъ—дѣло будущаго, когда къ творчеству А. Ремизова отнесутся съ тѣмъ вниманіемъ, какого оно давно уже заслуживаетъ, когда поймутъ, что въ А. Ремизовѣ мы имѣемъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ стилистовъ.

Возьмите хотя-бы «Посолонь»—какое мастерство, какая любовь не только къ жизни, но и къ слову, не только къ міру, но и къ слогу! И это не то холодное мастерство, примѣръ котораго мы имѣемъ хотя-бы въ художественныхъ произведеніяхъ Д. Мережковскаго [1]); въ произведеніяхъ А. Ремизова передъ нами не мертвое мастерство, а воистину живое художественное творчество. Художникъ передъ нашими глазами творитъ чудо: роется въ «чýдныхъ книгахъ, писанныхъ полууставомъ», въ кодексахъ XVII вѣка, пере-

[1]) См. ниже статью „Мертвое мастерство“.

сказываетъ „слово, притчу, повѣсть и сказаніе“, любовно собираетъ слова, пишетъ къ нимъ обширныя примѣчанія, подбираетъ слово къ слову, что́ цвѣты, нанизываетъ ихъ на нитку разсказа одно къ другому, что̀ бусы—и въ результатѣ передъ нами яркое поэтическое, живое, поистинѣ художественное произведеніе. Въ этомъ чудо творчества, въ этомъ тайна искусства.

Трудный это путь, доступный не всякому, а только подлинному художнику. Двѣ опасности стоятъ на пути: можно сплести изъ словъ, вѣря только въ нихъ, не живую художественную ткань, а мертвую словесную сѣть, и запутаться въ ней—примѣръ этого мы имѣемъ въ мастерствѣ Д. Мережковскаго; или можно увлечься словами, перейти мѣру и границу, забыть грань между главнымъ и второстепеннымъ, изъ-за словъ не видѣть произведенія — такъ часто случалось съ Лѣсковымъ (вспомнимъ, напримѣръ, его «Полунощниковъ»). Отъ Лѣскова во многомъ идетъ и А. Ремизовъ, но, истинный художникъ, онъ властвуетъ надъ своими словами, а не они надъ нимъ, ибо не отъ слова онъ идетъ къ жизни, а отъ жизни къ слову.

И то, какъ онъ любитъ и принимаетъ слова, показываетъ во-очію, какъ онъ принимаетъ и любитъ жизнь. Прочтите «Посолонь»—какая прозрачная нѣжность! И какъ просто, казалось бы, она достигается! Просмотрите тамъ «Кострому»—все построено на уменьшительныхъ именахъ. Но попробуйте, не будучи художникомъ, прибѣгнуть къ этому-же пріему: посмотрите, какое получится противное сюсюканье! Или прочтите въ «Лимонарѣ» апокрифъ «Гнѣвъ Иліи Пророка»—многое-ли вы найдете равнаго по изобразительности, по достигнутой силѣ, во всей русской литературѣ? Послѣдуйте за авторомъ «Къ Морю-Океану»—и вы увидите, какъ подлинная жизнь переливается и искрится во всемъ, къ чему ни прикоснется рука художника. Возьмите, наконецъ, «дѣйства»—и вы увидите въ нихъ не опостылѣвшую всѣмъ «стилизацію», а подлинное художественное воскрешеніе, нѣчто единственное въ этомъ родѣ во всей русской литературѣ. И послѣ всего этого — перейдите вдругъ къ «Крестовымъ сестрамъ» или «Пруду», гдѣ съ тѣмъ же остро-отточеннымъ оружіемъ стиля авторъ проникаетъ въ глубь души современнаго живого человѣка...

Да, недаромъ А. Ремизовъ прошелъ въ свое время черезъ «декадентство». Всѣ завоеванія его онъ сохранилъ и удержалъ, во многомъ самъ проложилъ впередъ дорогу; но онъ сумѣлъ преодолѣть въ своемъ творчествѣ все то, что привело въ концѣ-концовъ «декадентство» къ вырожденію и оскудѣнію. Въ стилѣ и манерѣ «Пруда» пишутъ теперь только эпигоны декадентства; характерный примѣръ — романъ Ивана Рукавишникова «Проклятый родъ» («Современный Міръ», 1911 г.). Дешевые эффекты, бывшіе десять лѣтъ тому назадъ новыми, нарочитая изысканность, изломанность чувства и стиля—все это стало теперь доступнымъ безчисленнымъ эпигонамъ декадентства. И какъ разъ въ это самое время тонкій и глубокій художникъ, А. Ремизовъ, сознательно идетъ къ все большей и большей, безмѣрно болѣе трудной простотѣ линій и формы. Интересно сравнить редакцію собранія его сочиненій (1911 г.) съ первоначальнымъ текстомъ тѣхъ же произведеній: цѣннѣйшій матеріалъ для изученія психологіи и эволюціи творчества! Сравните «Часы» или «Прудъ» первыхъ изданій (1905 и 1907 г.) съ текстомъ этихъ же романовъ въ собраніи сочиненій—почти ни одна фраза не осталась безъ измѣненій, нѣкоторыхъ страницъ узнать нельзя. Къ изученію всего этого когда-нибудь еще вернется русская критика.

Но и теперь уже ясенъ обликъ этого художника, такъ любовно ищущаго старыхъ и новыхъ словъ, такъ горько ненавидящаго міръ и жизнь, такъ искренне благословляющаго и міръ и жизнь великимъ благословеніемъ. Не понимая, онъ принимаетъ и жизнь, и міръ; но кто принялъ—тотъ понялъ, если и не разумомъ, то внутреннимъ чувствомъ. Распинатели и распинаемые, обезьяны и «Святая Русь», вся жизнь «до травинки» и тяжкая крестная ноша—соединены въ творчествѣ А. Ремизова въ одно цѣлое, ибо такъ соединены они и въ самой жизни.

Это трудно принять и понять; а потому для многихъ творчество А. Ремизова останется навсегда книгою за семью печатями. Но тѣ, кто чувствуютъ одновременно и мучительную глубину и художественную прелесть этого творчества—высоко цѣнятъ и будутъ цѣнить этого подлинно большого писателя.

1910—1911 г.

Мертвое мастерство.

(Д. Мережковскій).

I.

Д. Мережковскій — настолько крупный писатель, что раньше или позже историки литературы займутся изученіемъ въ хронологическомъ порядкѣ его многообразной дѣятельности, разсмотрятъ „эволюцію“ его взглядовъ, найдутъ начала и концы, подведутъ итоги... Врядъ ли только умѣстно заниматься этимъ въ настоящее время, когда „конца“ дѣятельности этого писателя мы еще не имѣемъ и когда еще возможны самые разнообразные повороты этой дѣятельности. Но зато уже давно можно подойти къ этому писателю съ другой стороны: оставить въ сторонѣ его „историческое развитіе“ и попробовать найти тотъ паѳосъ творчества, который у каждаго крупнаго писателя свой, тотъ „паѳосъ“, который только и можетъ служить критику и читателю аріадниной нитью въ лабиринтѣ всякаго творчества.

И прежде всего слѣдуетъ поставить себѣ слѣдующій вопросъ: почему къ дѣятельности Д. Мережковскаго, къ его „проповѣди“ — современники его почти совершенно равнодушны; почему „паѳосъ“ его, повидимому, никого не заражаетъ, никого не увлекаетъ? Это заслуживаетъ вниманія: въ чемъ тутъ дѣло? Не повторяется ли здѣсь вѣчная исторія генія, непонимаемаго современниками? Голосъ ли Д. Мережковскаго слишкомъ слабъ, или окружающіе глухи? Повидимому не въ этомъ дѣло — причину надо искать глубже. Услышали же Д. Мережковскаго настолько, что нѣкоторые даже возложили на него царскій вѣнецъ послѣ смерти

Л. Толстого. „Ему по праву должно принадлежать освободившееся за смертью Толстого царское мѣсто въ русской литературѣ“... Правда, это вѣнчаніе Д. Мережковскаго на царство было только рекламой издательства собранія его сочиненій; правда, къ рекламѣ этой всѣ, начиная съ самого Д. Мережковскаго, отнеслись крайне отрицательно; но все-таки фактъ на лицо: выходитъ уже пятнадцати-томное собраніе сочиненій Д. Мережковскаго, книги его расходятся многими изданіями, его читаютъ, его высоко цѣнятъ—и къ нему совершенно равнодушны... Отчего же это? Неловкое и рекламное вѣнчаніе Д. Мережковскаго на царство невольно наталкиваетъ на цѣлый рядъ вопросовъ, на цѣлый рядъ мыслей, которые подводятъ насъ къ самой сущности, „паѳоса“ этого писателя.

Дѣйствительно, стоитъ только вдуматься: почему же настолько непріемлемымъ и дикимъ представляется это помазаніе Д. Мережковскаго на царство? Чтобы понять это — стоитъ только вспомнить, кто всегда былъ „царемъ“ для русскаго читателя. Царемъ въ русской литературѣ могъ быть только „пророкъ“, только „учитель“. Царитъ Пушкинъ, великій учитель вѣчной красоты и солнечной жизни; царитъ Лермонтовъ, пророкъ вѣчной борьбы съ жизнью и міромъ; царитъ Достоевскій, царитъ Толстой, великіе учители и пророки, проповѣдники великихъ религіозныхъ и философскихъ истинъ. И этотъ вѣнецъ не по просьбѣ дается и не силой берется; иной разъ великіе писатели хотѣли бы обмѣнять свою царскую корону на мантію пророка — но этого имъ не дано. Признаннымъ царемъ русской литературы 40-хъ годовъ былъ Гоголь; но ему мало было этого признанія; онъ хотѣлъ быть проповѣдникомъ и учителемъ. Знаменитая его „Переписка“ и была попыткой смѣнить царское званіе на пророческое; но попытка эта кончилась гибелью Гоголя. Гибнулъ всякій, кромѣ первосвященника, прикоснувшійся къ Скиніи Завѣта; гибнетъ всякій лжепророкъ, пытающійся надѣть на себя мантію пророка.

Умеръ великій пророкъ земли русской; теперь и Саулъ можетъ быть во пророцѣхъ. Д. Мережковскій вотъ уже четверть вѣка занимаетъ постъ проповѣдника; отчего же, повторяю, такимъ нелѣпымъ, дикимъ, непріемлемымъ и кощунственнымъ представляется услужливое провозглашеніе

его первымъ кандидатомъ на пророческое мѣсто? Не потому ли, что къ Скиніи Завѣта хочетъ прикоснуться непосвященный, что мантію пророка хотятъ надѣть на лжепророка? Нѣтъ, мы еще увидимъ, что дѣло здѣсь совсѣмъ не въ этомъ.

Да и зачѣмъ говорить о „пророкѣ"? Достаточно будетъ, если мы по поводу Д. Мережковскаго заговоримъ просто о проповѣдникѣ, учителѣ, пастырѣ: ихъ вѣдь много у насъ въ русской жизни и литературѣ. Но и въ этотъ болѣе скромный рангъ не придется возвести Д. Мережковскаго. Почти всегда „учитель" имѣетъ „школу", учениковъ; проповѣдникъ имѣетъ слушателей; пастырь собираетъ вокругъ себя стадо. Всѣ у насъ учителя, всѣ пастыри, всѣ стада пасутъ и всѣ своихъ овецъ отъ волковъ оберегаютъ... Но гдѣ же ученики, гдѣ слушатели, гдѣ вѣрные овцы Д. Мережковскаго? Четверть вѣка онъ учитъ, — и нѣтъ у него учениковъ; четверть вѣка онъ проповѣдуетъ,— гласъ вопіющаго въ пустынѣ. То, что дано многимъ меньшимъ его, въ томъ ему отказано; одинъ онъ—пастырь безъ стада. А какъ бы страстно хотѣлось ему „пасти овцы своя"! Въ чемъ же дѣло? Гдѣ причина?

Появляется какой-нибудь „братецъ Иванушка", — и собираетъ вокругъ себя тысячи жаждущихъ и алчущихъ поученія и спасенія. Появляется въ марксизмѣ какой-нибудь „богостроитель",—и группируетъ около себя десятки и сотни послѣдователей. Куда ни взглянешь, — всюду ученики, у всѣхъ послѣдователи.

А у Д. Мережковскаго?

Гдѣ ученики, гдѣ вѣрныя овцы, гдѣ пасомое стадо?

Попробуйте припомнить хоть малое отраженіе въ русской литературѣ завѣтнѣйшихъ взглядовъ Д. Мережковскаго. Я съ своей стороны могу вспомнить только одну курьезную статейку нѣкоего автора въ альманахѣ „Бѣлыя ночи" (былъ и такой альманахъ). Въ этой статейкѣ между прочимъ мистически оцѣнивалась высота памятника Петра Великаго, что-то въ родѣ $17^1/_2$ футовъ, и число это сопоставлялось съ какимъ-то числомъ изъ Апокалипсиса. Трудно найти лучшую пародію на писанія Д. Мережковскаго, чѣмъ эта вполнѣ искренняя и курьезная статейка; но все-таки, гдѣ же отраженіе въ литературѣ взглядовъ Д. Мереж-

ковскаго? Читалъ я о томъ, что поэтъ Александръ Блокъ сталъ-было послѣдователемъ Д. Мережковскаго, а потомъ... потомъ взялъ да и написалъ статью, что „Богъ“ и „Христосъ“ въ ученіи Д. Мережковскаго напоминаютъ вывѣски „Какао“ или „Угринъ“, которыя назойливо лѣзутъ въ глаза, когда вы смотрите въ окно вагона, подъѣзжая къ Петербургу... Были и еще такіе же ученики и послѣдователи у Д. Мережковскаго: подойдутъ, послушаютъ,—и раньше или позже отшатнутся, точно въ испугѣ. Что это значитъ? Отчего это?

Но оставимъ литературу. Быть-можетъ, въ обществѣ, быть-можетъ, въ народѣ имѣетъ Д. Мережковскій свою паству? Я помню, какъ Д. Мережковскій и г-жа З. Мережковская-Гиппіусъ когда-то ликовали по случаю того, что „народъ“ ихъ понимаетъ. Это было во время изданія Новаго Пути, во время собиранія Д. Мережковскимъ матеріаловъ для романа „Петръ“: господа Мережковскіе побывали въ заволжскихъ лѣсахъ, на Свѣтломъ озерѣ, вели разговоры съ раскольниками и сектантами и были въ восторгѣ, что „народъ“ понимаетъ то, чему враждебна „интеллигенція“: разговоры о звѣриномъ числѣ 666, о скорой кончинѣ міра и т. п.

Въ журналистикѣ того времени, помню я, много иронизировали надъ пріемами г-дъ Мережковскихъ входить въ общеніе съ народомъ: на козлахъ ихъ экипажа, пробиравшагося къ Свѣтлому озеру, сидѣлъ урядникъ, а впереди расчищалъ дорогу и эскортировалъ ихъ исправникъ... Такъ по крайней мѣрѣ разсказала въ своемъ напечатанномъ дневникѣ сама г-жа Мережковская-Гиппіусъ. Но, разумѣется, разъ и при такомъ эскортѣ народъ ихъ „понялъ“, то тѣмъ убѣдительнѣе становится фактъ „пониманія“ народомъ Д. Мережковскаго. И не мудрено: это не какой-нибудь Успенскій, Короленко, Златовратскій, думавшіе не о духѣ, а о брюхѣ народномъ!—такъ объясняетъ дѣло г-жа Мережковская-Гиппіусъ [1]). И самъ Д. Мережковскій въ статьѣ „Революція и

[1]) „Алый мечъ“, четвертая книга разсказовъ. „Свѣтлое озеро“ (дневникъ), стр. 380.—О томъ, насколько „народъ“ понимаетъ „интеллигенцію“ и внѣ темъ о звѣриномъ числѣ и апокалипсисѣ—см. статью „Жизнь и теорія“ въ моей книгѣ „Литература и общественность“.

религія“ (изъ книги „Le Tsar et la Révolution“, Paris, 1907) присоединяется къ такому толкованію: „съ какимъ безконечнымъ и безнадежнымъ усиліемъ цѣлыя поколѣнія русскихъ интеллигентовъ хотѣли соединиться съ народомъ, шли въ народъ, но какая-то стеклянная стѣна отдѣляла ихъ отъ него. Намъ не зачѣмъ было идти къ народу—онъ самъ шелъ не къ намъ, а къ нашему“... Конечно, Д. Мережковскій чистосердечно не подозрѣваетъ, что „стеклянная стѣна“ искусственно создавалась свыше, что въ 1905 году стѣна эта мгновенно растаяла, яко таетъ воскъ отъ лица огня...

Но не въ этомъ дѣло. Мы знаемъ не только отъ г-дъ Мережковскихъ, но и изъ другихъ болѣе объективныхъ источниковъ (напримѣръ, изъ книги М. Пришвина „У стѣнъ града невидимаго“), что послѣ нѣсколькихъ дней пребыванія Д. Мережковскаго въ заволжскихъ лѣсахъ, ему дѣйствительно удалось завязать сношенія съ „народомъ“, съ группами сектантовъ и раскольниковъ, преодолѣвшихъ недовѣріе къ уряднику и исправнику. Это такъ; но вѣдь это „хожденіе въ народъ“ Д. Мережковскаго было мимолетно и продолжалось ровно два дня—22-го и 23 іюня 1902 года: эти историческія даты зафиксированы, занесены въ дневникъ г-жей Мережковской-Гиппіусъ. Зато по возвращеніи въ Петербургъ Д. Мережковскій цѣлые года, продолжительно, постоянно и упорно сходился съ такими-же сектантами изъ „народа“. И мы знаемъ,—въ печати встрѣчалось,—какъ отнеслись къ Д. Мережковскому эти представители „народа“: ш а л у н ъ! —вотъ что говорятъ они о немъ, о его мучительныхъ религіозныхъ исканіяхъ... Это-ли — пониманіе?

Но, быть-можетъ, наконецъ, въ „обществѣ“, въ средѣ „интеллигенціи“, между „культурной публикой“ имѣетъ Д. Мережковскій своихъ послѣдователей и слушателей? Слушателей—да, быть-можетъ; но слушатели эти не могутъ быть послѣдователями кого бы то ни было... Существуетъ въ Петербургѣ „Религіозно-философское Общество“, руководящую роль въ которомъ играетъ,—или по крайней мѣрѣ игралъ,—Д. Мережковскій. Скучно и вяло проходятъ засѣданія этого Общества; но засѣданія эти вошли въ моду, и въ извѣстномъ кругѣ „принято“ бывать на нихъ. Всегда бросается въ глаза группа модернистскаго вида дамъ и дѣ-

вицъ, и корректныхъ кавалеровъ, которымъ „религія" такъ же интересна, какъ любая театральная премьера: интересъ минуты, интересъ моды. И если именно это—паства Д. Мережковскаго, то онъ поистинѣ достоинъ величайшаго сочувствія и сожалѣнія. Если этотъ интеллигентскій plebs, въ былое время занимавшійся декаденствомъ и модернизмомъ, а нынѣ рѣшившійся „заняться" отъ скуки религіей,—если этотъ духовный plebs и есть паства Д. Мережковскаго, то какъ же долженъ страдать этотъ проповѣдникъ при видѣ того, кто его слушаетъ... Какъ! Четверть вѣка проповѣдывать и видѣть, что тебя слушаетъ только толпа безнадежныхъ мѣщанъ, духовно-мертвыхъ людей! Да къ тому же людей, которые завтра найдутъ себѣ еще болѣе модное и „принятое" развлеченіе или прямо изъ засѣданія религіозно-философскаго Общества послѣ горячей рѣчи Д. Мережковскаго отправятся, быть можетъ, въ скетингъ-ринкъ [1])...

Когда бываешь на этихъ засѣданіяхъ, когда слышишь рѣчи Д. Мережковскаго, когда смотришь на окружающихъ, то невольно вспоминаешь небольшую сцену изъ романа Д. Мережковскаго, ту сцену, гдѣ Юліанъ, послѣ неудачнаго „вакхическаго шествія", обращается къ народу съ „философской проповѣдью": „Люди! Богъ Діонисъ—великое начало свободы въ вашихъ сердцахъ. Діонисъ расторгаетъ всѣ цѣпи земныя, смѣется надъ сильными, освобождаетъ рабовъ...—Но онъ увидѣлъ на лицахъ такое недоумѣніе, такую скуку, что слова замерли на губахъ его; въ сердцѣ подымалась смертельная тошнота и отвращеніе"... Зналъ-ли Д. Мережковскій, что это онъ писалъ о себѣ самомъ? Вѣдь это онъ устраивалъ когда-то неудачное „вакхическое шествіе" во имя „красоты". („Мы для новой красоты нарушаемъ всѣ законы, преступаемъ всѣ черты"—пѣлъ онъ въ началѣ девяностыхъ годовъ, восхваляя „пепелъ оскорбленныхъ и потухшихъ алтарей"—совсѣмъ à la Юліанъ); вѣдь это онъ перешелъ потомъ къ „философской проповѣди", тоже совер-

[1]) Въ романѣ „Чертова кукла" г-жи З. Мережковской-Гиппіусъ (1911 г.) описано засѣданіе этого Общества, выведены на сцену современные писатели и искатели — почти подъ настоящими фамиліями (какой печальный „художественный пріемъ"!). Описаніе это показываетъ, что сами г-да Мережковскіе понимаютъ всю мертвенность этого религіозно-философскаго Общества.

шенно въ стилѣ Юліана, поминая черезъ два слова въ третье объ освобождающемъ Богѣ, Діонисѣ, Христѣ; вѣдь это его слушаютъ съ такою почему-то скукою (почему-же?), что часто, надо думать, слова замираютъ на устахъ его, а въ сердцѣ поднимается тошнота и отвращеніе... Почему-же именно его не слушаютъ или слушаютъ со скукой? Потому-ли, что косная толпа всегда не понимаетъ генія? Не по другой-ли причинѣ? Геній онъ, или что-нибудь другое? И что именно?

И еще, и еще вопросы. Что-же все это значитъ? чѣмъ все это объясняется? Пророкъ безъ послѣдователей, пастырь безъ стада,—отъ чего, почему? Быть-можетъ, потому, что Д. Мережковскій—вовсе не пророкъ? Но мало ли лжепророковъ ведутъ за собой многочисленныхъ послѣдователей? Почему же за Д. Мережковскимъ не идетъ никто или почти никто? Никто, такъ какъ одно—два исключенія еще больше подчеркиваютъ ту пустыню, въ которой неумолчно „вопитъ“ Д. Мережковскій. Безконечно корректный и безконечно скучный Д. Философовъ,—вѣдь это, кажется, единственный глашатай, комментаторъ и популяризаторъ мнѣній и чувствъ Д. Мережковскаго. Затѣмъ—два-три человѣка, ходячихъ пародиста, въ родѣ автора ненамѣренной пародіи въ „Бѣлыхъ ночахъ“, затѣмъ еще, быть можетъ, нѣсколько человѣкъ, міру невѣдомыхъ. Какая пустыня вокругъ этого проповѣдника имени Божьяго! Отчего, почему?

Когда-то на всѣ эти вопросы пытался отвѣтить В. Розановъ въ своей статьѣ „Среди иноязычныхъ“. („Міръ Искусства“ 1903 г. №№ 7—8 и „Новый Путь“ 1903 г. № 10). Д. Мережковскій—иностранецъ въ русскомъ обществѣ, въ русской литературѣ; среди нихъ онъ—„среди иноязычныхъ“. Онъ пропитанъ весь міровой культурой (и это, конечно, справедливо); но темы его для русской „интеллигентской“ литературы, его Христосъ, его Діонисъ—не нужны, бьютъ въ пустоту... А потому и судьба его трагична—никому онъ не интересенъ, никто его не понимаетъ, онъ погибаетъ—и „являетъ видъ того жалкаго англичанина, который года три назадъ замерзъ на улицахъ Петербурга, не будучи въ силахъ объяснить, кто онъ, откуда, и чего ему нужно“ (курсивъ В. Розанова). Кое-что (что именно—мы еще увидимъ) здѣсь очень вѣрно подмѣчено; но все таки сущность

дѣла лежитъ не въ темахъ Д. Мережковскаго, а въ немъ самомъ.

Въ этой-же статьѣ указывалось, что вотъ-де въ Россіи Д. Мережковскаго не понимаютъ, а изъ Австраліи онъ получилъ восторженное письмо... Письма этого мы не знаемъ; но знаемъ зато другое письмо къ Д. Мережковскому отъ нѣкоего „студента-естественника“ (напечатано въ „Новомъ Пути“ 1903 г., № 1, стр. 155—159). Это—любопытнѣйшій документъ для характеристики тѣхъ нѣсколькихъ человѣкъ, которые идутъ за Д. Мережковскимъ, этихъ нашихъ русскихъ „австралійцевъ“... Бѣдняга студентъ увѣровалъ въ мысль Д. Мережковскаго о томъ, что конецъ міра—близко уже, при дверяхъ, что если не наше поколѣніе, то слѣдующее (такъ вѣритъ „студентъ-естественникъ“) воочію узритъ свѣтопреставленіе. „Уже два года—восклицаетъ онъ—я испытывалъ ни съ чѣмъ несравнимое чувство: я ждалъ, кто заговоритъ. И вотъ началось: раздались трубные призывы“... Этотъ трубный призывъ авторъ письма видитъ между прочимъ въ книгѣ Д. Мережковскаго „Л. Толстой и Достоевскій“, а посему, относясь съ презрѣніемъ къ текущей общественной работѣ (и это въ 1902 году!), студентъ дѣятельно подготовляется къ концу міра, слыша „трубные призывы“ Д. Мережковскаго: „мое письмо—это крикъ: мы слышимъ, мы готовимся!“

Бѣдный „студентъ-естественникъ“! бѣдный русскій австраліецъ! Какіе годы проспалъ онъ, въ чаяніи свѣтопреставленія!.. И какъ мало надо имѣть послѣдователей, чтобы подобный документъ торопливо оглашать въ печати: вотъ, дескать, и я не одинъ! и у меня есть ученики, послѣдователи... стадо! Но если даже такихъ австралійцевъ наберется и десятокъ, и другой, послѣ тридцати лѣтъ литературной дѣятельности, то все же—какая пустыня, какое одиночество! И это самъ онъ видитъ, самъ сознаетъ. Въ предисловіи къ первому тому собранія своихъ сочиненій (1911 г.) Д. Мережковскій говоритъ: „я не хочу послѣдователей, учениковъ—слава Богу, у меня ихъ нѣтъ и никогда надѣюсь, не будетъ,—я хотѣлъ бы только спутниковъ“... И далѣе: „немного у меня читателей-спутниковъ, но я не одинъ“... Малымъ-же онъ довольствуется! И какой это добросовѣстный самообманъ: у него нѣтъ учениковъ, послѣдователей,—и ему кажется, что онъ и не хочетъ ихъ!

Въ области литературно-художественной мы найдемъ полную аналогію всему тому, о чемъ говорили только-что про область „религіозно-публицистическую“ (ибо все „богоискательство“ Д. Мережковсксго есть типичная религіозная публицистика). Вспомните: за тридцать лѣтъ дѣятельности Д. Мережковскаго сколько создалось литературныхъ школъ, какой громадный шагъ впередъ въ области разработки формы сдѣлала русская литература. Что сдѣлалъ въ этой послѣдней области Д. Мережковскій—это мы еще увидимъ; но гдѣ же литературная школа? Какъ можетъ ея не быть у такого крупнаго писателя? Д. Мережковскій и въ этой области одинокъ,—безъ учениковъ, безъ послѣдователей. Правда, его называютъ родоначальникомъ русскаго декадентства; но онъ былъ только теоретикомъ его. Гдѣ практика, гдѣ дѣйственность? Четыре—пять томовъ стихотвореній, въ блѣдной массѣ которыхъ тонутъ нѣсколько прекрасныхъ, но старыхъ по формѣ и стилю произведеній. Валерій Брюсовъ (перваго, революціоннаго періода), Бальмонтъ создали школы, внесли новое въ русскую поэзію; что же далъ Д. Мережковскій? Объ его поэзіи эпигоны русскаго декадентства отзываются теперь какъ объ изложеніи мыслей „гладенькими, банальными строчками, причемъ вся поэзія отъ прикосновенія благонамѣреннаго поэта исчезаетъ, какъ бѣсъ отъ ладана“ (см. № 2 журнала Аполлонъ 1911 г.).

Однимъ словомъ,—всюду одно и то же: полное гнетущее одиночество. И притомъ не то одиночество, о которомъ говорилъ Пушкинъ: „ты царь,—живи одинъ“. Хотя Д. Мережковскаго, какъ мы видѣли, и вѣнчаютъ на царство, однако царственное пушкинское одиночество никогда не было и не будетъ его удѣломъ. Пушкинъ въ тридцатыхъ годахъ былъ одинокъ, такъ какъ никто или почти никто не понималъ величайшихъ произведеній его поэзіи — „Бориса Годунова“, „Капитанской дочки“. Его не цѣнили, не признавали, говорили объ упадкѣ его творчества. Д. Мережковскій одинокъ не потому. Его цѣнятъ, признаютъ (вотъ даже на царство вѣнчаютъ), на всѣ европейскіе языки переводятъ, но тутъ же, оцѣнивъ и признавъ, отходятъ отъ него подальше... Это уже не царственное одиночество, это какое-то проклятіе, за что-то тяготѣющее надъ этимъ крупнымъ писателемъ. У него много читателей и нѣтъ приверженцевъ,

много слушателей и нѣтъ послѣдователей. Д. Мережковскій, всю свою жизнь только и дѣлавшій, что собиравшій стадо, онъ — пастырь безъ стада. Еще разъ и въ послѣдній разъ: отчего это? Почему? Гдѣ причина? Въ чемъ разгадка?

Эту причину мы должны найти въ собраніи сочиненій Д. Мережковскаго — не въ томъ „полномъ собраніи сочиненій“, которое вышло въ изданіи т-ва Вольфъ и которое является очень неполнымъ: въ немъ мы не найдемъ многаго, очень существеннаго, выброшеннаго Д. Мережковскимъ изъ первыхъ изданій его книгъ (а выброшены иногда цѣлыя книги). Надо обратиться къ четыремъ томамъ его стихотвореній, къ его романамъ, его критическимъ статьямъ: въ собраніи сочиненій Д. Мережковскаго — отвѣтъ на всѣ наши вопросы и недоумѣнія [1]). Если намъ удастся вѣрно опредѣлить „паѳосъ“, скрытый въ этихъ двадцати томахъ — все станетъ понятнымъ, необходимымъ, справедливымъ, все тайное станетъ явнымъ...

II.

«Однажды смастерилъ Дьяволъ зеркало, и въ зеркалѣ этомъ все отражалось въ искаженномъ, смѣшномъ и страш-

---

[1]) При ссылкахъ и цитатахъ мы будемъ для сокращенія обозначать книги Д. Мережковскаго слѣдующими цифрами: I — „Стихотворенія“ 1883—1887 г. II — „Символы“; пѣсни и поэмы. III — „Новыя стихотворенія“ 1891—1895 г. IV — „Собраніе стиховъ“ 1883—1910 г. V — „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы“. VI — „Любовь сильнѣе смерти“, новеллы. VII — „Юліанъ Отступникъ“ VIII — „Леонардо-да-Винчи“. IX — „Петръ и Алексѣй“. X — „Вѣчные спутники“. XI — „Л. Толстой и Достоевскій“, 2 тома. XII — „Гоголь и чортъ“. XIII — „Грядущій Хамъ“. XIV — „Пророкъ русской революціи“. XV — „Не миръ, но мечъ“. XVI — „М. Ю. Лермонтовъ“, поэтъ сверхчеловѣчества“. XVII — „Въ тихомъ омутѣ“. XVIII — „Больная Россія“. — Въ этомъ перечнѣ нами пропущены еще слѣдующія книги Д. Мережковскаго, на которыя не будетъ ссылокъ въ дальнѣйшемъ изложеніи: XIX — „Дафнисъ и Хлоя“ (переводъ греческаго романа эпохи первыхъ вѣковъ христіанства); XX — „Павелъ I“, трагедія (одно изъ самыхъ слабыхъ произведеній Д. Мережковскаго); XXI — „Маковъ цвѣтъ“ (коллективная драма гг. Д. Мережковскаго, З. Гиппіусъ и Д. Философова); XXII — „Le Tsar et la Révolution“ (одна цитата отсюда приведена выше; тоже коллективная книга тѣхъ же трехъ лицъ); XXIII — „Александръ I“ (романъ, еще не вышедшій въ 1911 г. отдѣльной книгой).

номъ видѣ. Слуги Дьявола захотѣли добраться съ этимъ зеркаломъ до неба, чтобы посмѣяться надъ Богомъ, но зеркало вырвалось у нихъ изъ рукъ и разбилось на милліоны мельчайшихъ осколковъ. Осколки эти до сихъ поръ носятся по свѣту, иногда попадая людямъ въ глаза или въ сердце; у такихъ людей сердце превращается въ кусокъ льда. Такъ случилось съ мальчикомъ Каемъ, — и его похитила Снѣжная Королева; онъ посинѣлъ, почернѣлъ отъ холода, но не замѣчалъ этого, — сердце его было кускомъ льда. Кай живетъ въ чертогахъ Снѣжной Королевы и играетъ плоскими остроконечными льдинками, складывая ихъ на всевозможные лады. „Есть вѣдь такая игра, — складыванье фигуръ изъ деревянныхъ дощечекъ, — которая называется „китайскою головоломкой“. Кай тоже складывалъ разныя затѣйливыя фигуры, но изъ льдинъ, и это называлось „ледяной игрой разума“. Въ его глазахъ эти фигуры были чудомъ искусства, а складываніе ихъ — занятіемъ первой важности... Онъ складывалъ изъ льдинъ цѣлыя слова, но никакъ не могъ сложить того, что ему особенно хотѣлось, — слова вѣчность. Снѣжная Королева сказала Каю: Если ты сложишь это слово,—будешь самъ себѣ господиномъ... Но онъ никакъ не могъ его сложить. Онъ сидѣлъ одинъ въ необозримой пустынной залѣ, смотрѣлъ на льдины и все думалъ, думалъ, такъ что въ головѣ у него трещало, и сидѣлъ блѣдный, неподвижный, словно неживой“...

Эту извѣстную сказку Андерсена („Снѣжная Королева“) пересказываетъ въ одной изъ своихъ книгъ Д. Мережковскій, примѣняя сказку эту къ Гоголю и замѣняя слово „вѣчность“, котораго не могъ сложить Кай, словами „вѣчная любовь“, которую не удалось осуществить Гоголю. Интересно было бы знать, приходило ли въ голову Д. Мережковскому, когда онъ сравнивалъ Гоголя съ Каемъ, что сравненіе это въ тысячи и тысячи разъ подходитъ ближе къ нему, Д. Мережковскому, что это о немъ самомъ fabula narratur, что слѣдуетъ ему на себя оборотиться? Поистинѣ: сказку Климычу читаютъ, а онъ украдкою киваетъ на Петра... Трудно человѣку „познать самого себя!“

Но намъ, со стороны, виднѣе; и въ образѣ этого ледяного, неживого Кая мы можемъ представить себѣ въ русской литературѣ только Д. Мережковскаго. Вотъ уже нѣ-

сколько десятилѣтій складываетъ онъ разныя затѣйливыя фигуры изъ льдинъ, и мы, читатели, видимъ передъ собой Юліана, Леонардо-да-Винчи, Петра, — холодныхъ, мертвыхъ, неживыхъ. Эта ледяная игра разума продолжается Д. Мережковскимъ и въ другой области, — въ области религіозныхъ исканій, гдѣ онъ строитъ изъ льдинъ такія же затѣйливыя фигуры: Царство Духа, Третій Завѣтъ, Религіозная Общественность. Всѣ эти теоретическія, холодныя построенія ему иной разъ и удаются, но нѣтъ и не можетъ быть духа жизни въ этихъ ледяныхъ формулахъ и фигурахъ. Цѣлое ученіе, даже цѣлыя ученія одно за другимъ можетъ сложить Д. Мережковскій изъ ледяныхъ, холодныхъ словъ; одного только слова никакъ не можетъ онъ сложить, — того слова, сложить которое ему особенно хотѣлось бы: Вѣчность, — Вѣчная Любовь, по толкованію самого же Д. Мережковскаго. Онъ прекрасно знаетъ, что стоитъ ему только сложить это слово, стоитъ только полюбить людей, — и онъ станетъ «самъ себѣ господиномъ», избавится отъ власти ледяныхъ оковъ, станетъ живымъ человѣкомъ. Только подлинная горячая любовь къ людямъ могла бы растопить эти мертвыя ледяныя формулы и фигуры, прекратить эту холодную ледяную игру разума, въ которой заключется все творчество Д. Мережковскаго. Въ сказкѣ Андерсена ледяного Кая спасаетъ великая любовь его маленькой подруги Герды: горячія слезы ея растопляютъ ледяное сердце Кая, и онъ становится живымъ человѣкомъ. Но въ жизни бываетъ иначе: самъ человѣкъ долженъ побѣдить свое ледяное безразличіе великой любовью; это не дано Д. Мережковскому, и самъ онъ это знаетъ и сознаетъ. Людей, о которыхъ онъ такъ хлопочетъ въ своей ледяной игрѣ разума, онъ не любитъ, и никогда не любилъ.

И хочу, но не въ силахъ любить я людей:
Я чужой среди нихъ; сердцу ближе друзей—
Звѣзды, небо, холодная, синяя даль...
И мнѣ страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели навѣкъ мое сердце мертво?

Дай мнѣ силу, Господь, моихъ братьевъ любить! (I, 21).

Какъ видите, самъ Д. Мережковскій хотѣлъ бы растопить эту ледяную кору, войти въ жизнь живымъ человѣ-

комъ, но даръ жизни, какъ и пророческій даръ, не берется. Правда, можно ненавидѣть людей и быть живымъ человѣкомъ: вспомнимъ Лермонтова, вспомнимъ Байрона. Но, во-первыхъ, только нравственно глухой, только душевно слѣпой можетъ не замѣтить великой любви въ великой ненависти Байрона или Лермонтова, а во-вторыхъ, эти люди великаго гнѣва не считали, не провозглашали себя проповѣдниками ученія Христа. Именемъ Христовымъ, употребляемымъ всуе, пестрятъ всѣ книги Д. Мережковскаго; но если Христосъ есть дѣйствительно Вѣчная Любовь,— то это именно то самое слово, котораго не дано сложить Д. Мережковскому. Не любовь и не ненависть, а холодное безразличіе къ людямъ подъ маскою любви, — вотъ удѣлъ Д. Мережковскаго.

Такъ было съ самаго начала, такъ это продолжается и до сихъ поръ, въ теченіе тридцати лѣтъ литературной дѣятельности этого писателя. Характерно: еще въ первомъ стихотвореніи первой книги Д. Мережковскаго мы находимъ настойчивыя самоубѣжденія автора: «не презирай людей!.. Войди въ толпу людей и оглянись вокругъ!.. Сочувствуй горячо ихъ радостямъ и бѣдамъ, узнай и полюби»... (I, 7). Но тутъ-же поэтъ чувствуетъ, что всѣ эти самоубѣжденія безсильны, напрасны, тщетны, что не удастся ему взвинтить себя до паѳоса любви къ людямъ, любви къ человѣку. Любить «весь родъ людей во мглѣ вѣковъ» (I, 19) — это еще куда ни шло, да это и не трудно; но любить живого человѣка!.. И поэтъ откровенно сознается въ своемъ безсиліи:

Могу любить я всѣ народы,
Но людямъ нужно отъ меня,
Чтобы въ толпѣ ихъ безпредѣльной
Подъ небомъ пасмурнаго дня
Любилъ я каждаго отдѣльно,—
И кто-бы ни былъ предо мной,
Ничтожный шутъ или калѣка,
Чтобъ я нашелъ въ немъ человѣка...
Не мнѣ безсильною душой
Не мнѣ принять съ вѣнцомъ терновымъ
Такое бремя тяжкихъ узъ... (I, 20).

Приведенныя стихотворенія относятся къ началу и серединѣ восьмидесятыхъ годовъ, и съ тѣхъ поръ вотъ уже

тридцать лѣтъ повторяетъ Д. Мережковскій эти мотивы съ упорной безнадежностью. То онъ признается: «я людямъ чуждъ» и проситъ небо, чтобы оно дало ему быть «лучезарнымъ, и безстрастнымъ, и всеобъемлющимъ»... (III, 23); то онъ заявляетъ: «полно мое сердце такого безстрастья, что любить на землѣ никого не могу» (III, 70); то огорчается, что на землѣ «душа должна любить и покоряться вѣчно»; то мечтаетъ, стоя на холодныхъ альпіискихъ вершинахъ: «о если-бъ отъ людей уйти сюда навѣки»... (III, 72); то еще разъ сознается:

Предъ собою лгать обидно:
Не люблю я никого... (III, 79);

то разсказываетъ намъ, какъ даже въ дѣтствѣ «не людей безконечной любовью—я Бога любилъ и себя, какъ одно» (IV, 69). Иногда онъ готовъ молить Бога о ниспосланіи ему этой любви къ людямъ: «о, дай мнѣ чистую любовь, о, дай мнѣ слезы умиленья!» (III, 44), но тутъ же онъ молится и о другомъ: «очисти душу мнѣ отъ праха, избавь, о Боже, отъ любви!» (III, 38). И снова передъ нами—заключительное сознаніе человѣка, лишеннаго способности любить людей и даже страдающаго отъ этого:

О, если бы душа полна была любовью,
Какъ Богъ мой на крестѣ—я умеръ бы любя.
Но ближнихъ не люблю, какъ не люблю себя,
И все-таки порой исходитъ сердце кровью... (IV, 67).

Все это очень и очень вѣрно. Вотъ только развѣ одно: кровью-ли исходитъ сердце Д. Мережковскаго?

Христосъ, распятый на крестѣ, «прободенъ бысть» и истекалъ кровью; такъ истекаетъ кровью сердце каждаго, кто носитъ въ душѣ великую любовь къ людямъ и видитъ все горе человѣческое, — и много на свѣтѣ такихъ крестовыхъ сестеръ и братьевъ. О, какъ хотѣлъ бы, навѣрное, Д. Мережковскій пріобщиться къ этому человѣческому страданію и тѣмъ самымъ подойти ко Христу, имя котораго онъ можетъ только употреблять всуе! Нѣтъ Христа тамъ, гдѣ нѣтъ любви; и участь Д. Мережковскаго—истекать не кровью, а словами. Въ этомъ—трагедія всей его дѣятельности. И эта безплодная словоточивость, которою Д. Мережков-

скій тщетно пытается «заговорить», обмануть самъ себя— очень характерна для человѣка съ оледенѣвшимъ сердцемъ: именно въ такую форму «словоточивости» только и можетъ вылиться мертвое мастерство ледяного Кая. Какъ говоритъ въ романѣ Д. Мережковскаго римскій эрудитъ Гаргиліанъ— «litterarum intemperantia laboramus... Мы страдаемъ отъ словесной невоздержанности. Да, да, вотъ наше горе»... Опять спрошу: думалъ-ли Д. Мережковскій, что и здѣсь онъ говоритъ о самомъ себѣ? Быть можетъ думалъ, быть можетъ сознавалъ; по крайней мѣрѣ въ одной изъ позднѣйшихъ статей онъ чистосердечно признаетъ: «мы всѣ — эпигоны, послѣдыши, александрійцы; слово для слова, а не для дѣла— вотъ наша блѣдная немочь» (XVIII, 22).

Да, Д. Мережковскій несомнѣнно страдаетъ блѣдной немочью, «litterarum intemperantia»; да, онъ истекаетъ не кровью, а словами. Недаромъ такое большое значеніе придаетъ Д. Мережковскій слову, быть-можетъ, безсознательно. Людей онъ не любитъ, но слова онъ любитъ, и не отъ понятія идетъ къ слову, а отъ слова къ понятію. И это крайне характерно. Первый, если не ошибаюсь, подмѣтилъ это Михайловскій, но отмѣтилъ это только какъ курьезную частность, какъ «узоръ» письма, какъ «каламбурное мышленіе», т. е. мышленіе по пути не логической и фактической связи между мыслями и фактами, а по пути звукового сходства между словами (Русское Богатство, 1902 г., № 9). Михайловскій приводитъ много курьезныхъ примѣровъ; я остановлюсь только на одномъ, который еще не могъ быть извѣстенъ Михайловскому. Въ Рѣчи 1908 года (21 декабря) Д. Мережковскій помѣстилъ пророческій фельетонъ «Петербургу быть пусту»; здѣсь на протяженіи двухъ—трехъ газетныхъ полустолбцовъ мы находимъ слѣдующій яркій образчикъ каламбурнаго мышленія Д. Мережковскаго, ассоціации мыслей по сходству словъ. Обращаясь къ исторіи Петербурга, Д. Мережковскій говоритъ, что «сооруженіе Петропавловской крѣпости стоило жизни 100 тысячъ рабочихъ»: слово «стоило» сейчасъ же, по звуковой ассоціаціи, приводитъ Д. Мережковскаго къ фразѣ какого-то врача, что «весь Петербургъ стоитъ на исполинскомъ нужникѣ»... Отсюда переходъ, по той же ассоціаціи, къ стиху Пушкина изъ «Мѣднаго Всадника».

Красуйся, градъ Петра, и стой
Неколебимо, какъ Россія!

Процитировавъ это, Д. Мережковскій вспоминаетъ о „Мѣдномъ Всадникѣ“ и приводитъ еще нѣсколько стиховъ о Петрѣ, который, какъ на памятникѣ Фальконета,

На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы.

Послѣднее слово тотчасъ приводитъ ему на память, что „дыбой называлось орудіе пытки“ и что Петръ „вздернулъ на дыбу“ своего сына, царевича Алексѣя. Это въ свою очередь наводитъ его на мысль о ненависти къ Петру, о бѣдномъ героѣ поэмы Пушкина, пустившемся бѣжать отъ Мѣднаго Всадника; „бѣжать, какъ мыши отъ кота“,—комментируетъ Д. Мережковскій и тутъ же, по богатой словесной ассоціаціи, вспоминаетъ лубочную картинку „мыши кота хоронятъ“. А это послѣднее слово переноситъ мысль Д. Мережковскаго къ похоронамъ, къ мертвецамъ,—и вдругъ цитата изъ гоголевской „Шинели“ о томъ, что „у Калинкина моста сталъ показываться по ночамъ мертвецъ въ видѣ чиновника“. Послѣ этого всего образы и понятія, добытые путемъ звуковой ассоціаціи, соединяются въ одно цѣлое: „Навстрѣчу Мѣдному Всаднику несется Акакій Акакіевичъ“, встаютъ мертвецы, на чьихъ костяхъ построенъ Петербургъ, окружаютъ глыбу гранита съ Мѣднымъ Всадникомъ, все это падаетъ въ бездну и — „Петербургу быть пусту“... Все это читатели могутъ найти на трехъ крошечныхъ страничкахъ книги Д. Мережковскаго (XVIII, 10—12), причемъ замѣчу, что мною еще пропущенъ цѣлый рядъ болѣе мелкихъ, промежуточныхъ словесныхъ ассоціацій!

Я взялъ очень рѣзкій примѣръ, но тысячи подобныхъ можно указать во всѣхъ произведеніяхъ Д. Мержковскаго. И это крайне характерно: мы воочію видимъ процессъ ледяной игры разума, складыванія изъ льдинъ разнообразныхъ фигурокъ. Слово само по себѣ—мертво; оно получаетъ трепетаніе жизни только тогда, когда идетъ изъ глубины души человѣка. Когда изъ переживаній рождается связь словъ, это—живой организмъ; когда изъ словъ рождаются понятія, это—мертвая игра разума. Можно точить

и обтачивать слова и быть великимъ воплощеніемъ жизни. Такъ Пушкинъ, набросавъ начерно вылившееся изъ души стихотвореніе, прилагалъ громадный трудъ, чтобы изъ живого, но еще безформеннаго наброска создать соразмѣрное и попрежнему живое твореніе; такъ А. Ремизовъ—чтобы взять современный примѣръ—громаднымъ трудомъ рожденія, собиранія и вытачиванія словъ достигаетъ вершинъ поэтическаго творчества. Но можно также вытачивать слово за словомъ, фразу за фразой и сдѣлать красивую вещь, не зоботясь о духѣ жизни. И эта способность тоже не всякому дана; это особый даръ не творчества, а мастерства. Творчество всегда исполнено трепетомъ жизни; мастерство-же, идущее отъ словъ къ понятіямъ, всегда можетъ быть только мертвымъ. Но и въ этой области мертваго мастерства могутъ быть разныя степени дарованія; Д. Мережковскій въ этомъ смыслѣ принадлежитъ къ достаточно крупнымъ мастерамъ. Онъ не художникъ, ибо всякій художникъ есть творецъ, ибо надъ всякимъ милостію Божіей художникомъ вѣетъ духъ жизни; но въ своемъ мертвомъ мастерствѣ Д. Мережковскій достигъ значительнаго искусства. Читая его „трилогію", ясно видишь, какъ искусно обтачивается и прикладывается льдинка къ льдинкѣ, какъ соразмѣрно проявляются антитезы лицъ и положеній, какъ изъ всего этого возникаетъ если не живая красота, то по крайней мѣрѣ мертвая красивость.

„Каламбурное мышленіе" съ одной стороны, „власть слова"—съ другой: на нихъ построено все мастерство Д. Мережковскаго. Приводить примѣры было бы и скучно, и утомительно, и безполезно: достаточно указать на власть слова—власть цитатъ надъ этимъ писателемъ. Вѣчныя, безконечныя цитаты! Не онъ ими, а онѣ имъ владѣютъ. Интересно было-бы подсчитать (громадный трудъ!), сколько разъ герои Д. Мережковскаго—т. е. онъ самъ—сколько разъ они «вспоминаютъ» по любому мелкому поводу чужія слова, цитаты, евангельскіе тексты и т. п. Если хотите видѣть типичный примѣръ—просмотрите послѣднія страницы четвертой главы девятой книги «Петра и Алексѣя»: тамъ авторъ, спрятавшись за манекеннаго Тихона, вспоминаетъ, не давая бѣдному читателю ни отдыху, ни сроку, цѣлый рядъ цитатъ

изъ Ньютона, изъ Брюса, изъ Писанія, изъ Леонардо-да-Винчи—и все это связано словесными ассоціаціями, сшито бѣлыми нитками каламбурнаго мышленія. И такихъ примѣровъ десятки, сотни! Другой примѣръ той-же «власти слова» надъ Д. Мережковскимъ: типичныя для него «обращенныя фразы»—обращенныя кстати не кстати. Святая плоть—безплотная святость; одухотвореніе плоти—воплощеніе духа; безплотная духовность — бездушная святость; воплощаемый Богъ—обожествляемая плоть; умерщвленная плоть—мертвая плотскость: какая поистинѣ это ледяная игра разума! Изъ двухъ-трехъ льдинокъ складываетъ холодный Кай все тѣ-же, все тѣ-же слова—и никакъ не можетъ только сложить самаго простого: любовь къ людямъ. И это безъ конца, безъ предѣла, настойчиво, холодно, утомительно. Такъ и мелькаютъ на страницахъ «преступная мученица» и «добродѣтельный палачъ», «раздвоенное сознаніе» и «безсознательное раздвоеніе». «неразумный Богъ», и «безбожный разумъ»; или: «начали богословіемъ, кончили сквернословіемъ», «начали гладью, кончили гадью». Или еще сложнѣе: «у Л. Толстого мы слышимъ, потому что видимъ; у Достоевскаго мы видимъ, потому что слышимъ»; «потому-ли онъ ни на кого не похожъ, что боленъ, или потому боленъ, что не похожъ ни на кого?» И такъ далѣе, и такъ далѣе, безъ перерывовъ безъ конца, строго слѣдуя знаменитой формулѣ:

Горе мое отъ запою,
Или отъ горя запой?

Могъ-ли ожидать авторъ этихъ пресловутыхъ строкъ, что сущность ихъ ляжетъ нѣкогда въ основу литературнаго метода Д. Мережковскаго?

Но почему-же, однако, если Д. Мережковскій такъ любитъ слово, почему оно не живетъ въ его мастерствѣ, почему онъ не художникъ, не творецъ, а мастеръ, не поэтъ, а стихослагатель? Внутренняя причина этого лежитъ глубоко—въ самомъ существѣ, самой сущности этого писателя (о чемъ у насъ еще будетъ рѣчь); но достаточно уже ознакомиться съ четырьмя томами его стихотвореній, чтобы убѣдиться въ «блѣдной немочи» Д. Мережковскаго. Прежде всего, слушая слова Д. Мережковскаго, не всегда можешь повѣрить его чувству. Мнѣ всегда вспоминается, какъ

произнося свою статью о Тургеневѣ на вечерѣ, посвященномъ его памяти, Д. Мережковскій прочелъ по тетрадкѣ: «у меня сейчасъ такое чувство, какъ будто И. С. Тургеневъ, котораго кое-кто изъ пришедшихъ на эти поминки зналъ при жизни—... у меня, говорю я, такое чувство, какъ будто онъ присутствуетъ здѣсь, видитъ и слышитъ насъ»... (XVIII, 197). Вотъ вамъ «экспромптъ» тщательно заготовленный дома! Какъ-же послѣ этого вѣрить во всѣ слова Д. Мережковскаго?

Другая причина безсилія его поэтическаго слова — еще важнѣе. У него нѣтъ своего эпитета. Въ стихахъ его поражаетъ прежде всего обиліе эпитета пушкинскаго, намѣренная подражательность, заимствованіе. Такъ и рябитъ въ глазахъ: «безмолвная печаль», «медлительная ночь», «безумная надежда», «плѣнительный смѣхъ», «багряная листва», «поэтовъ вѣтренное племя», «стихъ унылый», «веселье прежняго напѣва», «Нева, закованная въ гранитъ» «вдоль сумрачной Фонтанки влачатся медленныя санки», «царственная Нева», «увлекательный обманъ», «печальная суровость», «обвивъ его руками, еще холодными устами припала къ трепетнымъ устамъ»—и снова, и снова, еще и еще: «дымъ багровый», «свободный умъ», «младенческая радость», «буйная радость», «безпечная улыбка», «безпечная нѣга», «плѣнительная грусть», «сѣнь дубравъ пустынныхъ»... Въ автобіографическихъ «Старинныхъ октавахъ» Д. Мережковскій разсказываетъ о томъ, какъ въ дѣтствѣ началъ онъ писать «глупые стихи», которые казались ему «предѣломъ совершенства», и прибавляетъ: «я Пушкину безстыдно подражалъ». Какъ видимъ теперь, онъ могъ-бы повторить это и о позднѣйшихъ своихъ стихотвореніяхъ, пронизанныхъ пушкинизмами. Не говорю уже о прямыхъ списываніяхъ съ Пушкина (напримѣръ, въ тѣхъ же «Старинныхъ октавахъ» вторая строфа первой пѣсни и сто одиннадцатая строфа второй).

Все это было бы вполнѣ допустимо, если бы кромѣ этихъ пушкинизмовъ у Д. Мережковскаго былъ бы также и свой эпитетъ. Но его нѣтъ. Кромѣ Пушкина, встрѣчаешь въ стихахъ Д. Мержковскаго многихъ другихъ поэтовъ (напримѣръ, Лермонтова: „недремлющія думы“, „угрюмый жребій“, „холодный умъ“), а затѣмъ — буквально тонешь въ морѣ

шаблонныхъ и безцвѣтныхъ эпитетовъ, ходячей пошлости, прозаизма. На каждой страницѣ вы найдете что-либо въ родѣ „жгучаго стыда", жгучаго сомнѣнья", „жгучей тоски", „упоительныхъ грёзъ", „восторженныхъ слезъ", „пламенныхъ клятвъ", „роковой любви", „необъятнаго простора благовонныхъ луговъ", „горькаго предчувствія", „безумнаго ужаса", „вѣчной лазури", „мучительной борьбы", „упоительнаго отдыха" (и это—въ стихотвореніи „Если розы тихо осыпаются", которое считается однимъ изъ лучшихъ въ поэзіи Д. Мережковскаго!)... Я могъ бы еще удесятерить эти примѣры, взятые на-удачу, привести еще разные „блѣдные цвѣты воспоминаній", „сладкія волненія", „сладкія тайны" и такъ далѣе, и такъ далѣе,—но и приведеннаго уже достаточно. Можно только прибавить, пожалуй, еще эпитетъ „таинственный", который прилагается Д. Мережковскимъ рѣшительно ко всему, чему угодно. На страницахъ его стихотвореній пестрятъ „таинственные огни", „таинственныя мечты", „таинственныя жужжанія", „таинственныя кручины", „таинственныя лампады", „таинственныя печали", „таинственные лѣса", „таинственные закалы", „таинственный илъ въ пруду", „таинственное горѣніе елки", „таинственные приговоры"... Я не берусь перечислить всѣ тѣ имена и предметы, которые квалифицируются Д. Мережковскимъ, какъ „таинственные": кромѣ перечисленныхъ, здѣсь еще и даль, и гармонія, храмъ, мгла, думы, голосъ, пророчество, привѣтъ, огонь, пучина, прелесть—и все, что вамъ угодно. Это симптоматично: Д. Мережковскій думаетъ, что, приставляя куда ни попало слово „таинственный", онъ дѣйствительно говоритъ о таинственномъ. Да, онъ говоритъ—но и только; а вѣдь задача художника и поэта — заразить, внушить, а не только отдѣлаться словомъ.

Возвращаюсь, однако, къ отсутствію эпитета, къ его шаблонности у Д. Мережковскаго: этотъ вопросъ значительнѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. И въ доказательство этого позволяю себѣ привести слова одного писателя, съ которыми, въ ихъ примѣненіи къ Д. Мережковскому, я согласенъ отъ буквы до буквы.

„...Гдѣ бы я ни открылъ книгу, мелькаютъ все тѣ-же цвѣты краснорѣчія, подобные цвѣтамъ провинціальныхъ обоевъ. Не живыя сочетанія, а мертвая пыль

словъ, книжный соръ. Слова, налитыя не огнемъ и кровью, а типографскими чернилами (подчеркнуто мною. Какъ все это вѣрно!) Я знаю, что значитъ: „огурецъ соленый“, „столъ круглый“, но что значитъ: „мучительныя воспоминанія“, „жгучая тоска“—я не то что не знаю, а знать не хочу, какъ не хочу знать, что опротивѣвшіе обойные цвѣточки имѣютъ притязаніе на сходство съ полевыми васильками и маками: мало-ли чего хотѣлъ обойный фабрикантъ, да моя то душа этого не хочетъ. (Кромѣ „мучительной тоски“ и „жгучихъ воспоминаній“, просмотрите еще разъ цѣлый рядъ подобныхъ обычныхъ эпитетовъ Д. Мережковскаго, приведенныхъ страницею выше).—Существуетъ два рода писателей: одни пользуются словами, какъ ходячей монетою—стертыми пятиалтынными; другіе—чеканятъ слова, какъ монету, выбивая на каждомъ свое лицо, такъ что сразу видно, чье слово: кесарево—кесарю. Для однихъ слова — условные знаки, какъ бы сигналы на желѣзнодорожныхъ семафорахъ; для другихъ—знаменія, чудеса, магія, „духовныя тѣла“ предметовъ; для однихъ слово стало механикой; для другихъ—„слово стало плотью“. *Д. Мережковскій*, если не вездѣ, то больше всего тамъ, гдѣ старается быть художникомъ, принадлежитъ къ первому роду писателей.—Мнѣ могутъ возразить, что все это мелочи; но вѣдь достаточно опустить палецъ въ воду и попробовать на языкъ, чтобы узнать, какая вода—прѣсная или соленая; достаточно сдѣлать химическій анализъ капли крови, чтобы узнать, какою болѣзнью заражено тѣло. Каковы слова, таковы и мысли“.

Этотъ отрывокъ принадлежитъ, знаете, кому?—Д. Мережковскому. Такъ онъ характеризуетъ Л. Андреева (XVII, 6—7). И въ который это уже разъ онъ, думая, что говоритъ о другихъ, говоритъ о себѣ! „Слова, налитыя не огнемъ и кровью, а типографскими чернилами“ — лучше этого о Д. Мережковскомъ никто никогда не говорилъ. И если мы такъ долго останавливаемся на словахъ Д. Мережковскаго, то именно потому, что „каковы слова, таковы и мысли“, каковы слова, таковы и чувства. И если слишкомъ очевидно, что слова Д. Мережковскаго являются только нагляднымъ ad oculos проявленіемъ его „блѣдной немочи“, то этой же болѣзнью, несомнѣнно, за-

ражены и его мысли, и его чувства. Но что-же это за болѣзнь?

Надо, впрочемъ, оговориться: есть одинъ эпитетъ, который принадлежитъ самому Д. Мережковскому и встрѣчается у него въ разныхъ комбинаціяхъ. „Мертвенныя очи"; „мертвенное небо"; „мертвенный сонъ"; или, нѣсколько иначе — „мертвая скука", „могильная красота". Это у него свое, не заимствованное, внутреннее... И это очень характерно.

III.

Внимательный анализъ такой „мелочи", какъ эпитетъ въ стихахъ Д. Мережковскаго избавляетъ насъ отъ необходимости разбора внѣшней стороны другихъ его художественныхъ произведеній. Вѣдь „стихъ"—это именно то, въ чемъ должна проявиться въ насыщенномъ видѣ вся художественная сила писателя, вѣдь „стихъ" это — кристаллизованный стиль. И о чемъ же говорить дальше, если эпитетъ, стержень внутренней силы стиха, является такимъ безцвѣтнымъ и мертвеннымъ, какъ въ стихахъ Д. Мережковскаго? О внѣшней формѣ его стиха я уже и не говорю: безсиліе Д. Мережковскаго въ этой области слишкомъ общеизвѣстно. Въ избранномъ томѣ своихъ стиховъ, которые только и извѣстны читающей публикѣ, есть нѣсколько счастливыхъ исключеній, какъ и всегда еще болѣе подтверждающихъ правило; но врядъ-ли многіе знаютъ, что Д. Мережковскій могъ быть авторомъ такихъ, напримѣръ, поистинѣ ужасныхъ риѳмованныхъ строкъ:

Намъ, наконецъ, чувствительная ложь
И Надсону плохія подражанья
Наскучили. Какъ Надсонъ ни хорошъ,
А съ нимъ однимъ недалеко уйдешь.
Порой стихи у насъ по формѣ дивны,
Но, всетаки, мы слишкомъ субъективны... (II, 104).

Вотъ ужъ примѣръ отъ противнаго: очень „не-дивные" по формѣ стихи... И такихъ не оберешься. Говорить къ тому-же объ однообразіи размѣра, о бѣдности риѳмы — не приходится: незачѣмъ ломиться въ открытую дверь. Курьеза ради можно только замѣтить, что авторъ подобныхъ

стиховъ боялся нападенія критики „за смѣлость риѳмъ"! (см. II, 129). Или вотъ въ другомъ родѣ: многимъ-ли извѣстно, что Д. Мережковскій могъ пѣть фальцетомъ такія невозможныя вещи, справедливо переложенныя впослѣдствіи на „цыганскую" музыку:

Голубка моя,
Умчимся въ края,
Гдѣ все, какъ и ты, совершенство
И будемъ мы тамъ
Дѣлить пополамъ
И жизнь, и любовь, и блаженство... (I, 150).

И это—„отецъ русскаго декадентства"! Но я уже сказалъ, что „отцомъ" онъ никогда не былъ (чтобы быть „отцомъ", надо быть творцомъ), а былъ только теоретикомъ „новаго искусства" девяностыхъ годовъ. И когда онъ теоретически вѣрно опредѣлялъ элементы этого новаго теченія, какъ „мистическое содержаніе, символы и расширеніе художественной впечатлительности" (V, 43), то практикой своей онъ не могъ подтвердить этой теоріи: въ его мастерствѣ вмѣсто мистическаго содержанія были только мистическія слова („таинственный", „святой"), вмѣсто символовъ — словесныя антитезы, „мертвыя аллегоріи" (его же выраженіе— см. V, 47), а расширеніе художественной впечатлительности убивали шаблонные и мертвые эпитеты. Повидимому и самъ онъ скоро это понялъ, и отъ внутренне-живой „лирики", ему недоступной, намѣтилъ переходъ къ доступному ему „эпосу":

О, свѣтлаго искусства торжество,
Привѣтъ тебѣ, эпическая муза!
Твои жрецы—титаны.. Ничего
Не можетъ быть желаннѣй твоего
Спокойнаго и вѣрнаго союза.
Пускай шумитъ лирическій потокъ,—
Ты, эпосъ, тихъ, и вѣченъ, и глубокъ! (II, 106).

Такъ перешелъ Д. Мережковскій къ романамъ. Въ лирикѣ онъ былъ неудачнымъ любовникомъ слова, въ эпосѣ онъ вышелъ на свою дорогу. Историческій романъ позволилъ ему примѣнить къ дѣлу глубокую свою „культурность", позволилъ ввести въ дѣло артиллерію цитатъ, чужихъ

словъ, бытовыхъ и историческихъ подробностей, безконечной массы „вещей“. Ему хотѣлось бы, чтобы для него слово было „духовнымъ тѣломъ“ вещи — мы слышали уже объ этомъ подлинныя его выраженія; ему хотѣлось бы умѣть перейти (такъ онъ характеризуетъ творчество Л. Толстого) „отъ видимаго—къ невидимому, отъ внѣшняго—къ внутреннему, отъ тѣлеснаго — къ духовному“. Этого достичь ему опять-таки не дано, и мы снова можемъ сказать про него словами одного писателя: „такъ называемыя вещи, смиренные и безмолвные спутники человѣческой жизни, неодушевленные, но легко одушевляющіеся, отражающіе образъ человѣческій, у *Д. Мережковскаго* не живутъ, не дѣйствуютъ“... Ну, конечно, это слова опять самого Д. Мережковскаго (о Л. Толстомъ), но мы къ этому вѣчному qui-pro-quo въ сужденіяхъ Д. Мережковскаго уже привыкли... „Вещи“ въ романахъ этого писателя остаются мертвыми, ибо только подлинное творчество можетъ вдохнуть душу живу въ неодушевленное; мастерству Д. Мережковскаго это не дано. Но зато подлинно съ большимъ мастерствомъ умѣетъ онъ использовать ту массу историческаго матеріала, изъ котораго создаетъ свои эпическія повѣствованія. Такъ съ вещами, такъ и съ людьми. Возсоздать живой образъ можетъ только творецъ, художникъ; Д. Мережковскій, подобно Сальери, можетъ только „разъять, какъ трупъ“ историческое лицо, и съ кропотливымъ мастерствомъ начать прикладывать льдинку къ льдинкѣ, цитату къ цитатѣ, историческую фразу къ фразѣ. И это, повторяю, дѣлаетъ онъ подлинно съ большимъ мастерствомъ.

Стиль его, слогъ, эпитеты—не стали болѣе выработанными; но умѣніе интересно вести діалогъ, варьировать эпизодами фабулу— дѣлаютъ его романы, выражаясь литераторскимъ воляпюкомъ, вполнѣ „читабельными“; красивость мастерства этихъ романовъ находится внѣ всякаго сомнѣнія: подобно Сальери, онъ „въ искусствѣ безграничномъ достигнулъ степени высокой“. И слава ему улыбнулась —уже до царской мантіи дѣло дошло. Но удалось ли ему достигнуть и въ романахъ своихъ того, чего онъ такъ желалъ: достичь магіи словъ, воплощенія ихъ, чеканить ихъ, какъ монету, выбивая на каждомъ свое лицо, чтобы сразу видно было, чье это слово? Нѣтъ, этого „ex ungue leonem“ ему не дано

достигнуть. Правда, открывъ иной разъ незнакомую книгу, и встрѣтивъ нѣсколько разъ на одной страницѣ „обращенныя фразы“ по формулѣ „горе мое отъ запою, или отъ горя запой“—легко догадываешься, что это книга Д. Мережковскаго: но развѣ же это львиные когти? Не по другому ли признаку узнаемъ мы здѣсь писателя?

Эти обращенныя фразы, антитезы — тоже не мелочь; онѣ составляютъ стержень мастерства Д. Мережковскаго, самую сущность его. Вѣчная тема его — раздвоеніе; въ своихъ послѣднихъ предѣлахъ раздвоеніе это является раздвоеніемъ Христа и Антихриста — такъ и озаглавлена его трилогія. Но всякое раздвоеніе есть распаденіе, всякое распаденіе есть смерть. Задачей Д. Мережковскаго и является преодолѣніе смерти, приведеніе распада, раздвоенія къ высшему единству; но этотъ высшій синтезъ неизбѣжно оказывается у Д. Мережковскаго только словомъ, налитымъ типографскими чернилами, только условнымъ знакомъ, какъ бы сигналомъ на желѣзнодорожныхъ семафорахъ. Антитеза вмѣсто синтеза, котораго онъ дать не можетъ.

Антитеза, повторяю — главный, если не единственный пріемъ Д. Мережковскаго для выясненія лица его героевъ, для построенія самаго хода его романовъ, для опредѣленія самаго количества дѣйствующихъ лицъ. Если одна дочь жреца Олимпіодора—красавица язычница Амариллисъ, то другая, Психея,—блѣдная, больная христіанка. Одной такой антитезы ему мало; онъ выводитъ на сцену въ томъ-же романѣ и другую такую же персонифицированную антитезу (Арсиноя и Мирра). Видѣнія Юліана построены строго по антитетическому методу. Если Леонардо строитъ „птицу“, то непремѣнно живая ласточка попадетъ, какъ въ западню, въ крыло летательнаго аппарата и запутается „въ сѣткѣ веревочныхъ сухожилій своими маленькими живыми крыльями“. Въ чертежахъ Леонардо планъ дома терпимости рядомъ съ рисункомъ мавзолея для боговъ: раздвоеніе души человѣческой, двѣ „антитетическія бездны“ ея. Покинувъ неоконченный рисунокъ Дѣвы Маріи, Леонардо срисовываетъ „мерзостныя рожи“ уродовъ „тѣмъ самымъ карандашемъ, съ тою же любовью“. Рисунокъ головы апостола Іоанна онъ покидаетъ для изслѣдованія мушиныхъ лапокъ: „антитетическая широта“ души человѣческой. Леонардо идетъ писать „Тайную

Вечерю“ и по дорогѣ останавливается полюбоваться на то, какъ паукъ сосетъ муху. Петръ послѣ бурнаго засѣданія въ сенатѣ ѣдетъ на шутовскія похороны царскаго карлика; вытачивая за токарнымъ станкомъ паникадило въ Петропавловскій соборъ, Петръ тутъ же вытачиваетъ Вакха съ виноградной гроздью. Такими внѣшними антитезами переполнена вся „Трилогія“ Д. Мережковскаго; но эти строго-размѣренныя противопоставленія остаются чисто-словесными. „Раздвоеніе“—это общее мѣсто всѣхъ героевъ Д. Мережковскаго, а также и рѣшительно всѣхъ, о комъ бы онъ ни писалъ: Л. Толстого, Достоевскаго, Гоголя, Лермонтова и Герцена („трагедія Герцена — въ раздвоеніи“, см. XIII, 19); у всѣхъ его героевъ—„двоящіяся мысли“, и всѣ они молятся подобно Д. Мережковскому: „Господи, спаси меня, избавь отъ этихъ двоящихся мыслей! Не хочу я двухъ чашъ! Единой чаши Твоей, единой истины Твоей жаждуетъ душа моя, Господи!“.

Но все это — сплошное недоразумѣніе. Никакихъ „двоящихся мыслей“ нѣтъ ни у Д. Мережковскаго, ни у его героевъ: у нихъ есть только простыя разсудочныя противопоставленія, примѣры которыхъ мы только что видѣли. Если одно дѣйствіе романа Д. Мережковскаго происходитъ въ подвалѣ, то другое, сосѣднее — конечно на шпицѣ башни (см. VIII, книга V, главы III и IV): это характерно для Д. Мережковскаго, безъ этого онъ не былъ бы самимъ собою. Такое же разсудочное противопоставленіе можетъ онъ показать намъ и въ душахъ своихъ героевъ. Но и души-то у нихъ нѣтъ; всѣ они—только ходячія соединенія двухъ протовопоставленныхъ мыслей, двухъ противоположныхъ словъ, всѣ они—только ходячія антитезы.

Добрая фея дала однажды двумъ дѣтямъ волшебный алмазъ, одинъ поворотъ котораго превращалъ все мертвое въ живое; и дѣти увидѣли души животныхъ, души деревьевъ, души воды, огня, свѣта. Такъ разсказываетъ Метерлинкъ въ своей „Синей птицѣ“. Съ Д. Мережковскимъ случилось обратное: какая-то злая фея дала писателю волшебное перо, отъ прикосновенія котораго все живое обращается въ мертвое. Возьмите самыхъ различныхъ героевъ Д. Мережковскаго и посмотрите, во что превратилъ онъ ихъ въ своемъ царствѣ. Леонардо-да-Винчи, протопопъ Аввакумъ, Петръ

Великій, Францискъ Ассизскій, — какіе все это разные, непохожіе, живые люди и въ какія мертвыя фигуры превратились они подъ перомъ Д. Мережковскаго. Если хотите убѣдиться въ этомъ, прочтите хотя бы подлинное „Житіе“ протопопа Аввакума и риѳмованный пересказъ этого „Житія“ Д. Мережковскимъ; здѣсь даже и словеснаго мастерства нѣтъ,—просто вялыя риѳмованныя строки, изъ-за которыхъ глядитъ на насъ не вѣчно мятущійся протопопъ, а какая-то восковая двигающаяся фигура. И что́ интересно; почти всѣ излюбленные герои Д. Мережкевскаго — вѣчно-мятущіеся, по контрасту съ нимъ, вѣчно живые исполненные духа жизни. Протопопъ Аввакумъ, Леонардо-да-Винчи, Петръ,— много ли на свѣтѣ людей съ такимъ вѣчнымъ кипѣніемъ жизни? И вспомните Петра или Леонардо подъ перомъ Д. Мережковскаго, съ ихъ строго-размѣренными „антитетическими“ поступками, дѣйствіями и душевными движеніями.

Прочтя три кирпичеобразныхъ романа Д. Мережковскаго, тщетно стараешься потомъ вспомнить л и ц о всѣхъ его антитетическихъ героевъ: они безъ лица, они всѣ на одно лицо. При описаніи „обстановки“, Д. Мережковскій, подавленный обиліемъ матеріала, нагромождаетъ вещи на вещи, предметы на предметы—и въ результатѣ передъ нами незапоминаемое общее мѣсто, пустота; точно такъ же и при описаніи л и ц а, онъ даетъ намъ такую нагроможденность чертъ, что въ результатѣ передъ нами только безличность. Какая разница, напримѣръ, съ Л. Толстымъ, который одной-двумя чертами обрисовывалъ незабываемо и внѣшность и душу героя! А вотъ какъ рисуетъ намъ своихъ героевъ Д. Мережковскій — напримѣръ, мону Кассандру въ „Леонардо-да-Винчи“:

„У нея было лицо, чуждое печали и радости, неподвижное, какъ у древнихъ изваяній,—широкій, низкій лобъ, прямыя, тонкія брови, строго-сжатыя губы, на которыхъ нельзя было представить себѣ улыбки,—и глаза, какъ янтарь, прозрачно-желтые... Лицо это, особенно нижняя часть, слишкомъ узкая, маленькая, съ нижнею губою, немного выдававшейся впередъ,—выражало суровое спокойствіе и въ то же время дѣтскую безпомощность. Сухіе, пушистые волосы, живые, живѣе всего лица, точно обладавшіе отдѣльною жизнью, какъ змѣи Медузы, окружали блѣдное лицо чер-

нымъ ореоломъ, отъ котораго казалось оно еще блѣднѣе и неподвижнѣе, алыя губы ярче, желтые глаза прозрачнѣе...“

Попробуйте увидѣть за этимъ нагроможденіемъ чертъ— живого человѣка; попробуйте вспомнить лицо моны Кассандры черезъ пять минутъ послѣ того, какъ вы прочли это слишкомъ подробное описаніе! Невозможность этого доходитъ иногда до такой степени, что начинаешь путаться въ этомъ лабиринтѣ дѣйствующихъ лицъ, какъ среди шпалеръ одинаково подстриженныхъ деревьевъ. Попробуйте различить, напримѣръ, въ „Петрѣ“ — Ѳеофана и Ѳедоску! И когда читаешь протоколы-описанія лицъ въ романахъ Д. Мережковскаго—въ родѣ только что приведеннаго выше—то невольно приходитъ на память рецептъ приготовленія портрета, приводимый изъ средневѣковаго русскаго „Иконописнаго Подлинника“ самимъ же Д. Мережковскимъ: „Богородица—росту средняго, видъ лица ея, какъ видъ зерна пшеничнаго; волоса желтаго; острыхъ очей, въ нихъ же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненныя, изрядно черныя; носъ не кратокъ; уста, какъ цвѣтъ розы,— сладковѣсія исполнены; лицо не кругло, ни остро, но мало продолжено; персты же богопріимныхъ рукъ ея тонкостью источены были; весьма проста, никакой мягкости не имѣла, но смиреніе совершенное являла; одежду носила темную“... Развѣ это не похоже на нагроможденныя, но мало говорящія описанія Д. Мережковскимъ лицъ его героевъ?

Герои безъ лица, герои безъ души, ходячія антитезы, персонифицированныя разсудочныя противопоставленія, безъ всякой надежды на возможность „высшаго единства“. Ихъ раздвоеніе, ихъ распаденіе лежитъ въ самомъ Д. Мережковскомъ, который вѣчно пытается перепрыгнуть отъ „бездны верхней“ къ „безднѣ нижней“ и построить между ними словесный мостъ. Онъ восхищается словами Леонардо, что „арка есть сила, рождаемая двумя соединенными и противоположными слабостями“, но именно и не можетъ онъ перебросить арку черезъ свои разсудочныя противопоставленія: двѣ „слабости“ у него есть, но соединяющая ихъ „сила“ у него не рождается, ибо для него *дуализмъ* это только *два слова*, которыя надо замѣнить *третьимъ словомъ*. Тщетно онъ углубляетъ двѣ свои „противоположныя крайности“, обостряетъ ихъ, преувеличиваетъ, заполняетъ ими

все свое мастерство—антитезы остаются чисто словесными, раздвоеніе остается непреодолѣннымъ.

И опять-таки никто лучше самого Д. Мережковскаго не охарактеризовалъ „антитетическую сущность“ его мастерства. Вотъ какъ ученикъ Леонардо-да-Винчи опредѣляетъ творчество своего учителя: „Все съ природы списано—каждая морщинка въ лицахъ, каждая складка на скатерти. Но духа живого нѣтъ. Бога нѣтъ и не будетъ. Все мертво — внутри, въ сердцѣ мертво! Ты только вглядись, какая геометрическая правильность... Геометрія, вмѣсто вдохновенія; математика, вмѣсто красоты! Все обдумано, разсчитано, изжевано разумомъ до тошноты, испытано до отвращенія, взвѣшено на вѣсахъ, измѣрено циркулемъ...“ Конечно, это не Леонардо-да-Винчи,—это самъ Д. Мережковскій собственной персоной, это о себѣ говоритъ онъ, о своихъ мертвыхъ схемахъ по гегеліанской тріадѣ. Пусть схемы неизбѣжны, неизбѣжны хотя бы по одному тому, что всякое познаніе есть схематизація по линіямъ причинности и цѣлесообразности; но схемы всегда должны обростать плотью—особенно въ искусствѣ. И этого нѣтъ у Д. Мережковскаго.

Въ тщетной погонѣ за этимъ, недающимся ему въ руки, даромъ жизни, Д. Мережковскій хватается за „обостреніе крайностей“, за углубленіе и нагроможденіе антитезъ, за всяческаго рода „черезмѣрности“. Это стремленіе обострить, преувеличить—является очень характернымъ для всей литературной дѣятельности Д. Мережковскаго: рядомъ съ „антитетичностью“ вырисовывается и непосредственно связанная съ нею гиперболичность его мастерства. На этомъ характерномъ свойствѣ Д. Мережковскаго слѣдуетъ тоже остановиться внимательно.

Д. Мережковскій всю жизнь свою стремился убѣжать отъ „середины“, отъ мѣщанской узости, плоскости и безличности. Въ „серединности“ онъ, какъ извѣстно, увидѣлъ „чорта небытія“ и, чтобы избавиться отъ него (а небытія онъ страшится больше всего на свѣтѣ), Д. Мережковскій поспѣшилъ къ концамъ и началамъ. Такъ онъ и къ вѣрѣ въ конецъ міра пришелъ. Конецъ русской литературы, конецъ исторіи, конецъ міра — все это одно время проповѣдывалъ и исповѣдывалъ онъ съ полной серьезностью. Еще раньше онъ думалъ войти въ жизнь черезъ декадентскую

„черезмѣрность“, онъ думалъ, что преодолѣетъ „чорта небытія“, серединности, мѣщанства, если будетъ воспѣвать крайности, восклицая:

...дерзай,
И всѣ преграды, всѣ законы
Съ невиннымъ смѣхомъ нарушай!

Или:

Мы для новой красоты,
Нарушаемъ всѣ законы
Преступаемъ всѣ черты!

Или еще:

Люблю я зло, люблю я грѣхъ,
Люблю я дерзость преступленья! (III, 5, 19, 44).

Онъ пугаетъ, а намъ не страшно: подъ маской изъ словъ мы различаемъ середину, стремящуюся быть крайностью. Усиленная „чрезмѣрность“, въ чемъ бы она ни проявлялась, свидѣтельствуетъ о „небытіи“ въ еще большей степени, чѣмъ „серединность“. А эта нарочитая черезмѣрность, нарочитая гиперболичность проходитъ черезъ всѣ писанія Д. Мережковскаго, отъ начала и до конца.

Какое отсутствіе чувства мѣры во всѣхъ романахъ этого писателя! Какая загроможденность! Какія натяжки и преувеличенія! Самый маленькій художникъ, не обладающій и сотой долей мастерства Д. Мережковскаго, никогда не позволилъ бы себѣ такого невыносимо-фальшиваго эффекта, какъ послѣдняя встрѣча Юліана съ Арсиноей; такого безвкусія, какъ километрическіе разговоры Юліана съ Ямвликомъ и другихъ героевъ между собою (томительная первая часть „Обрыва“ Гончарова оказала несомнѣнное вліяніе на діалогъ въ романахъ Д. Мережковскаго). Совершенно невѣроятно въ устахъ старца-пустынника Памвы, просидѣвшаго десятки лѣтъ въ глубинѣ какого-то колодца въ далекой пустынѣ Малой Азіи и только-что пришедшаго въ городъ, слѣдующія рѣчи къ язычникамъ: „довольно намъ одной темной ночи и двухъ-трехъ факеловъ, чтобъ отомстить!.. Мы — всюду мы — среди васъ, безчисленные, неуловимые! Нѣтъ у насъ границъ, нѣтъ отечества; мы признаемъ одну республику— вселенную! Мы — вчерашніе, и уже наполняемъ міръ...“ — и такъ далѣе, цѣлыхъ двѣ страницы. Но это еще что̀: дѣвочка

Мирра, за десять столѣтій до Д. Мережковскаго, буквально предвосхищаетъ его слова и его мысли — убѣдитесь въ этомъ сами, просмотрѣвъ девятнадцатую главу первой части „Юліана". Особенно поразительны въ этомъ отношеніи двѣ послѣднія сцены изъ „Петра", когда Д. Мережковскій заставляетъ съ одной стороны Тихона, съ другой стороны царевича Алексѣя „узрѣть" въ разное время и въ разномъ мѣстѣ одного и того же сѣденькаго старичка (взятаго на прокатъ изъ видѣнія Алеши въ „Братьяхъ Карамазовыхъ"); старичекъ этотъ оказывается Іоанномъ сыномъ Громовымъ, и проповѣдуетъ Тихону, текстуально и дословно, все ученіе Д. Мережковскаго (заимствованное имъ изъ романовъ Гюисманса) о трехъ Завѣтахъ... Когда Анна Каренина и Вронскій видятъ одновременно почти одинаковый сонъ — мы не только вѣримъ этому, мы знаемъ, что не могло быть иначе: такъ убѣдительно и ярко вскрылъ передъ нами художникъ неизбѣжную здѣсь созвучность напряженныхъ душъ Вронскаго и Карениной. Но когда Д. Мережковскій заставляетъ насъ вѣрить на-слово, что заимствованный старичекъ обращается съ одинаковыми словами, взятыми изъ сочиненій Д. Мережковскаго, къ двумъ героямъ его романа — мы не только не вѣримъ, мы смѣемся, видя въ этомъ только безсиліе и произволъ мертваго мастерства.

IV.

И такими „черезмѣрностями", доходящими до смѣхотворности, переполнены не только романы Д. Мережковскаго. Тонкія критическія сопоставленія и замѣчанія Д. Мережковскаго безспорны; но я затруднился бы сказать, чего больше — ихъ, или совершенно невѣроятныхъ и безвкусныхъ критическихъ сужденій и совершенно голословныхъ, невѣроятнѣйшихъ утвержденій въ книгахъ этого писателя. Если бы я захотѣлъ собрать всѣ подобные примѣры — пришлось бы написать цѣлую книгу; ограничусь первыми попавшимися подъ руку изъ одного только „изслѣдованія" Д. Мережковскаго о Толстомъ и Достоевскомъ.

Начинается съ первыхъ же страницъ: „все будущее не только русской, но и всемірной культуры" зависитъ отъ

вопроса —...побѣдилъ ли Нитцше Богочеловѣка, а Достоевскій — Человѣкобога (конечно, и тутъ словесная антитеза). „Если въ наше время люди боятся смерти съ такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало“ — то этимъ они „въ значительной мѣрѣ обязаны Л. Толстому“ (интересное субъективное признаніе о страхѣ смерти). Когда въ „Идіотѣ“ Достоевскаго Ипполитъ видитъ сонъ, что собака его, Норма, бросается на какую-то кошмарную ядовитую гадину, а та жалитъ собаку въ языкъ — то не все бредъ въ этомъ бреду: „здѣсь рѣшается какая-то наша собственная, реальная, хотя и премірная судьба...“ Когда чортъ говоритъ Ивану Карамазову: „все, что у васъ есть, есть и у насъ“— то подобныя же „нуменальныя мысли должны были смущать... Канта, когда обдумывалъ онъ свою трансцендентальную эстетику“ (?! — развѣ же это не прелестно?). Отлученіе Л. Толстого отъ церкви Синодомъ въ 1901 году есть глубоко положительное явленіе и „имѣетъ огромное и едва ли даже сейчасъ вполнѣ оцѣнимое значеніе: это вѣдь въ сущности первое, уже не созерцательное, а дѣйственное и столь глубокое, историческое соприкосновеніе русской церкви съ русскою литературою предъ лицомъ всего народа, всего міра“... Наполеонъ всей своей жизнью потрясъ „глубочайшія основы всей христіанской и до-христіанской нравственности“ (почему Наполеонъ, а не Лжедмитрій, не Тимуръ и не кто-нибудь третій или сотый?). „Анархизмъ — есть ужасное русское слово, русскій отвѣтъ на вопросъ западно-европейской культуры. Этого мы не заимствовали у Европы, это мы дали Европѣ. Россія впервые договорила здѣсь то, чего не смѣла сказать Европа“ (какой вздоръ!). Написанное Л. Толстымъ о православной церкви — „самыя позорныя страницы русской литературы“; когда дописывалось „Воскресеніе“ — для Л. Толстого „окончательно все рухнуло, такъ что уже и поднять нельзя“. Л. Толстой и Нитцше боялись другъ друга: „другимъ и себѣ казались они дерзновенными; но для этой бесѣды (между собою) не хватило у нихъ дерзновенія: каждый изъ нихъ боялся другого, какъ двойника своего...“ Нитцше притворялся, что не знаетъ Христа, и хотя онъ и скрылъ эту тайну свою отъ себя самого, то все же — не отъ Д. Мережковскаго: онъ былъ „невольнымъ учителемъ“ второго пришествія Христа на землю...

Я перелистывалъ книгу Д. Мережковскаго о „Л. Толстомъ и Достоевскомъ“, и бралъ буквально первые попавшіеся на глаза примѣры, бралъ не исключенія, а типичныя фразы. Если когда-нибудь это произведеніе Д. Мережковскаго будетъ подвергнуто детальной критикѣ, то окажется, что „черезмѣрность“ — его общее мѣсто, что подобныхъ произвольныхъ утвержденій въ ней столько же, сколько страницъ. Еще одинъ примѣръ: Д. Мережковскій утверждаетъ, слѣпо повторяя мнѣніе Тургенева, что въ „Войнѣ и Мирѣ“ слаба историческая сторона, что (это уже продолжаетъ Д. Мережковскій) „поразительна скудость не только исторической, но и вообще культурно-бытовой окраски въ его произведеніяхъ“, что на всемъ протяженіи „Войны и Мира“ встрѣчается только одно упоминаніе о домашней обстановкѣ русскаго вельможи александровскаго времени. Это достаточно опредѣленно сказано — повидимому, человѣкъ знаетъ, что говоритъ. Однако такое категорическое и мало вѣроятное утвержденіе оказывается сущимъ вздоромъ при ближайшей провѣркѣ: доказательства этого читатель можетъ найти въ статьѣ „Историческая сторона романа „Война и Миръ“ (А. Бороздина, — см. „Минувшіе годы“ 1908 г., № 10). Но если на каждое голословное утвержденіе Д. Мережковскаго писать опровержительную статью, то вѣдь, пожалуй, можетъ произойти цѣлый литературный потопъ! Тогда, пожалуй, и свершится предсказаніе Д. Мережковскаго о „концѣ русской литературы“...

Во избѣжаніе этого можно только посовѣтовать читателямъ крайне осторожно относиться и къ утвержденіямъ и къ цитатамъ Д. Мережковскаго. Если онъ утверждаетъ, что еще Достоевскій свидѣтельствовалъ „объ отпаденіи Л. Толстого отъ русскаго всеобщаго и великаго дѣла, *то-есть* отъ историческаго народнаго христіанства“ — то не торопитесь вѣрить объяснительному „то-есть“ Д. Мережковскаго: при провѣркѣ окажется, что Достоевскій говорилъ здѣсь вовсе не объ историческомъ народномъ христіанствѣ, а о турецкой войнѣ и освобожденіи славянъ. Если вы услышите, что, приводя слова Ивана Карамазова: „не хочу я, чтобы мать обнималась съ мучителемъ растерзавшимъ ея сына“, Д. Мережковскій комментируетъ: „здѣсь, конечно (!) разумѣетъ онъ Великую Матерь, упованіе рода че-

ловѣческаго"—не вѣрьте: ибо Иванъ Карамазовъ рѣшительно ничего подобнаго не имѣетъ въ виду. Если вы прочтете у Д. Мережковскаго, что „Гоголь подъ церковью восточною, православною разумѣетъ не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверхъисторическую, мистическую церковь христіанства воистину вселенскаго",—то будьте увѣрены, что Гоголь никогда ничего подобнаго не „разумѣлъ" и далекъ отъ чести быть Іоанномъ Предтечей Дмитрія Мережковскаго: здѣсь Д. Мережковскій просто навязываетъ Гоголю свои взгляды. Если, наконецъ, говоря о знаменитомъ письмѣ Бѣлинскаго къ Гоголю, Д. Мережковскій заявляетъ, что—„залаялъ собакою, завылъ шакаломъ, зажмурилъ глаза и весь отдался бѣшенству, такъ выразился самъ Бѣлинскій о своемъ тогдашнемъ состояніи",—то опять-таки не торопитесь вѣрить, а поищите, гдѣ это могъ сказать самъ Бѣлинскій... Десятки и сотни подобныхъ примѣровъ—дѣло будущаго критика писаній Д. Мережковскаго; я ограничиваюсь лишь подчеркиваніемъ наиболѣе характернаго.

Возвращаясь къ „черезмѣрностямъ" въ критическихъ сужденіяхъ Д. Мережковскаго, не буду подробно на нихъ останавливаться: приведенные примѣры говорятъ сами за себя. Отмѣчу только, для будущаго историка литературы, на невѣроятныя сужденія Д. Мережковскаго о Григоровичѣ („одинъ изъ совершеннѣйшихъ классиковъ русской прозы", произведенія котораго полны „дивной гармоніи и законченности, неподражаемаго изящества формы"...); о Чеховѣ („избытокъ равнодушнаго здоровья..."); о г. Ясинскомъ („таинственная прелесть обаятельнаго мистицизма"...); о Шеллерѣ-Михайловѣ (романъ „Эсѳирь"— „великолѣпная экзотическая картина"...); объ Апухтинѣ („одинъ изъ самыхъ нѣжныхъ, изящныхъ и благородныхъ преемниковъ Полонскаго и Тютчева); даже о гр. Голенищевѣ-Кутузовѣ (его поэма „Разсвѣтъ"—„чудная поэма, совершенно непонятая и неоцѣненная критиками"—(см. V, стр. 68, 82, 85 и 94). Съ тѣхъ поръ Д. Мережковскій, вѣроятно, во многомъ измѣнилъ свои мнѣнія; но могъ-же онъ доходить до такихъ геркулесовыхъ столповъ безвкусія и критической слѣпоты! Но и въ болѣе позднее время—какое ча-

стое непониманіе вершинъ европейской и русской литературы! Въ статьѣ объ Ибсенѣ (см. X) „Призраки“ разсматриваются, какъ „лучшій отвѣтъ строгимъ защитникамъ семейнаго начала, которые осуждаютъ Нору за то, что она покинула дѣтей“... Вотъ какъ можно упростить тѣ мучительно-острые вопросы о безвинномъ страданіи, которые ставитъ въ этой потрясающей драмѣ Ибсенъ! Изъ всего Кальдерона Д. Мережковскій разбираетъ, въ скучнѣйшемъ пересказѣ, одну изъ самыхъ слабыхъ драмъ Кальдерона „Поклоненіе Кресту“—только оттого, что въ ней любезное ему слово „крестъ“ склоняется во всѣхъ падежахъ: такова постоянная власть слова надъ Д. Мережковскимъ. Въ прекрасной статьѣ о Пушкинѣ онъ все-же позволяетъ себѣ утверждать, совершенно ошибочно, будто „гармонія“ Пушкина была „естественнымъ и непроизвольнымъ даромъ природы“, будто Пушкинъ „не сознаіъ и не выстрадалъ своей гармоніи“... До чего это невѣрно! Бѣлинскаго нашъ авторъ снисходительно и иронически именуетъ „можетъ быть недостаточно проницательнымъ, но въ высшей степени благонамѣреннымъ человѣкомъ“... Защищать Бѣлинскаго отъ Д. Мережковскаго я, конечно, не буду; но не могу не указать быть можетъ слишкомъ проницательному Д. Мережковскому какъ разъ на одно проникновеннѣйшее опредѣленіе Бѣлинскимъ „гармоніи“ Пушкина. Бѣлинскій обращаетъ вниманіе „на эту безконечную грусть, какъ основной элементъ поэзіи Пушкина, на этотъ гармоническій вопль міроваго страданія, поднятаго на себя русскимъ Атлантомъ; на эти переливы и быстрые переходы ощущеній, на эти безпрестанные и торжественные выходы изъ грусти въ широкіе разметы души могучей, здоровой и нормальной, а отъ нихъ снова переходы въ неумолкающее гармоническое рыданіе мірового страданія“... Съ наслажденіемъ дѣлаю эту выписку, преклоняясь передъ геніальной проницательностью великаго критика (съ тѣхъ поръ о Пушкинѣ никто не сказалъ ничего лучше) и отдыхая отъ „антитетическихъ“ и гиперболическихъ построеній Д. Мережковскаго. „Міросозерцаніе Пушкина — заключаетъ Бѣлинскій — трепещетъ въ каждомъ стихѣ, въ каждомъ стихѣ слышно рыданіе мірового страданія... да не всякому все это дается и трудно открывается, потому что въ міръ пушкинской поэзіи нельзя вхо-

дить съ готовыми идейками“... Это—къ свѣдѣнію Д. Мережковскаго... [1])

Но я увлекся и отвлекся въ сторону: надо-же было хоть разъ показать, что къ критическимъ сужденіямъ, цитатамъ и голословнымъ утвержденіямъ Д. Мережковскаго надо относиться съ величайшей осторожностью, помня, что когда середина пожелаетъ быть крайностью, то передъ средствами не остановится. Стоитъ только вспомнить, что позволялъ себѣ Д. Мережковскій, задавшись цѣлью во что бы то ни стало „опорочить“ религію Л. Толстого. Онъ началъ копаться въ его личной, интимной жизни; онъ не постѣснился дойти до совершенно неприличныхъ неистовыхъ выпадовъ противъ Л. Толстого, выбравъ мишенью его „неблагородное“ происхожденіе отъ „петербургскаго случайнаго графа Петра Андреевича Толстого, получившаго свой титулъ благодаря успѣхамъ въ сыскныхъ дѣлахъ Тайной Канцеляріи“. Это онъ съ грубостью, что называется, „тычетъ въ глаза“ читателю на протяженіи всего „изслѣдованія“ своего о Л. Толстомъ и Достоевскомъ. Мало того, даже въ романѣ „Петръ“, выводя на сцену этого Петра Андреевича Толстого, не одинъ разъ заставляетъ его Д. Мережковскій мечтать о томъ, какъ за свои „іудины“ поступки при поимкѣ царевича Алексѣя, получитъ онъ графство и сдѣлается родоначальникомъ новаго дома графовъ Толстыхъ: „будутъ, будутъ графами Толстые и ежели въ вѣкахъ грядущихъ прославятся, достигнутъ чиновъ высочайшихъ, то вспомнятъ и Петра Андреевича“... Все это слишкомъ явный камень въ огородъ Л. Толстого; нужно-ли прибавлять, что камень этотъ падаетъ на голову самого Д. Мережковскаго, что всѣ эти мѣста о Л. Толстомъ—поистинѣ позорнѣйшія страницы русской литературы! Не останавливается передъ средствами середина, стремящаяся быть крайностью...

И если доходить до „концовъ“, такъ ужъ во всемъ, отъ мелочи до крупнаго. Такъ дошелъ Д. Мережковскій и до своей завѣтнѣйшей мысли о концѣ всемірной исторіи, о свѣтопреставленіи, которое „уже близко, при дверяхъ“. Близятся послѣднія времена. Все идетъ къ развалу, концу

[1]) Приведенныя выписки изъ Бѣлинскаго читатель найдетъ въ моей книгѣ „Великія исканія“ (В. Г. Бѣлинскій).

смерти. И уже первымъ показателемъ этого является конецъ русской литературы, переживаемый нами. Какой же однако возможенъ конецъ того, что еще не начало существованія? По крайней мѣрѣ Д. Мережковскій упорно утверждалъ, а г-жа Мережковская-Гиппіусъ и до сихъ поръ утверждаетъ (см. „Русскую Мысль" 1911 г.), что у насъ еще нѣтъ литературы и не было ея, какъ воплощенія народнаго сознанія (см. V, 7, 10). Какъ это рѣшаются г-да Мережковскіе буквально повторять юношескіе слова „недостаточно проницательнаго" Бѣлинскаго? И какъ это можетъ придти къ концу то, чего не было? Правда, скоро самъ Д. Мережковскій сконфузился этого своего утвержденія и сталъ сопровождать его разными оговорками: „конецъ русской литературы (послѣ Л. Толстого и Достоевскаго), или, по крайней мѣрѣ, совершенно опредѣленный, неповторяемый кругъ ея развитія" (см. XI). Вотъ это другое дѣло! Да и на правду похоже: много такихъ „совершенно опредѣленныхъ, неповторяемыхъ круговъ развитія" русской литературы уже было, много еще и будетъ. Или: „конецъ русской литературы, т. е. конецъ чисто-художественнаго, безсознательнаго пушкинскаго творчества" (см. XII). Это хотя и совершенно невѣрно, но оговорка „т. е." здѣсь всетаки очень интересна...

То-же случилось и съ болѣе общимъ вопросомъ о концѣ міра, концѣ вселенной, о свѣтопреставленіи. Сперва Д. Мережковскій категорически заявилъ намъ (и откуда только это стало ему извѣстно? [1]), что „конецъ" уже близокъ, „при дверяхъ", что скоро мы узримъ Сына Человѣческаго, грядущаго по облакамъ, и истерически восклицалъ: „ей, гряди, Господи Іисусе!". Я уже приводилъ по этому поводу слова русскихъ папуасовъ, услышавшихъ „трубные призывы" въ подобныхъ писаніяхъ Д. Мережковскаго, который довольно ясно обрисовывалъ и свою роль въ подготовкѣ этого Второго Пришествія. „... Время близко, — говорилъ Д. Мережковскій,—тайна уже открывается: когда начнетъ совершаться Второе Пришествіе (а оно уже невидимо начало совер-

---

[1]) Еще болѣе изумительно совершенно опредѣленное утвержденіе Д. Мережковскаго, что Антихристъ будетъ по происхожденію русскій (см. XII, ч. I, гл. VII).

шаться)... тогда совершатся послѣднія судьбы христіанскаго міра... Кажется, второе Возрожденіе это и начинается дѣйствительно... именно въ русской литературѣ, до такой степени проникнутой вѣяніями новаго таинственнаго христіанства Іоаннова, какъ еще ни одна изъ всемірныхъ литературъ"... (XI). Нужно ли прибавлять, что „христіанство Іоанново" составляетъ главную спеціальность именно Д. Мережковскаго? И такихъ мѣстъ въ писаніяхъ Д. Мережковскаго — не одно и не два. Онъ былъ глубоко увѣренъ, что именно на немъ и на его поколѣніи лежитъ миссія подготовленія человѣчества къ свѣтопреставленію. Отсюда его постоянныя сокрушенія, что поколѣніе это „находится въ такомъ трудномъ и отвѣтственномъ положеніи относительно будущаго русской культуры, какъ, можетъ быть, ни одно изъ поколѣній со времени Петра Великаго"; отсюда для него „страшная, почти невыносимая тяжесть отвѣтственности"; отсюда его увѣренность, что „отъ какого-то неуловимаго послѣдняго движенія воли" въ немъ, Д. Мережковскомъ („какъ, впрочемъ, и вообще въ русскихъ людяхъ новаго религіознаго сознанія")—„зависятъ судьбы европейскаго міра" — и такъ далѣе, и такъ далѣе... (см. XI). И эти избранные—„русскіе декаденты": „когда ударитъ молнія, они вспыхнутъ первые, а отъ нихъ—весь лѣсъ",—весь міръ (XV, 101). Какъ все это выйдетъ — неизвѣстно: „сначала нужно сдѣлать, и только когда будетъ сдѣлано или по крайней мѣрѣ начато — можно будетъ объ этомъ говорить" — такъ заявляетъ Д. Мережковскій, и продолжаетъ говорить, говорить, говорить...

Я имѣю основанія думать, что Д. Мережковскій теперь самъ стыдится многаго изъ пророчески-предвозвѣщеннаго имъ немного лѣтъ тому назадъ. По крайней мѣрѣ уже давно начались съ его стороны различныя оговорки. Въ послѣднихъ своихъ книгахъ онъ уже открещивается отъ русскихъ декадентовъ, не предполагаетъ, что судьбы міра зависятъ „отъ неуловимаго движенія воли въ каждомъ изъ нихъ"; онъ уже стыдится своего многоглаголанія на религіозныя темы (см. XVII, 92 и слѣд). Онъ не издаетъ уже „трубныхъ призывовъ" о концѣ міра, но скромно оговаривается, что предъ лицомъ вѣчности два тысячелѣтія—только два мига, что отъ Перваго пришествія ко Второму ведетъ

„необходимый и желанный, медленный всемірно-историческій процессъ“ (см. XIII, 126). Быть можетъ онъ понялъ, наконецъ, и то, что идея „конца міра“ уже давно принята наукой, что идея безконечнаго существованія міра никѣмъ не мыслится, что наша „вселенная“ раньше или позже достигнетъ старости и умретъ, что результатомъ „старости“ элементовъ міра (какъ учитъ теперь наука о радіи) будетъ колоссальный міровой взрывъ этого міра—и такіе „міровые катаклизмы“ давно уже извѣстны наукѣ и происходятъ совсѣмъ не рѣдко (такъ называемыя „новыя звѣзды“). Когда это будетъ — еще неизвѣстно, но что это когда-нибудь будетъ—извѣстно уже съ давнихъ поръ. Конечно, ни трубные призывы Д. Мережковскаго, ни ожиданія русскихъ папуасовъ, ни чаянія Второго Пришествія—не ускорятъ этого момента, который во всякомъ случаѣ, далеко еще не „при дверяхъ“. Пройдутъ еще десятки и сотни тысячъ лѣтъ, быть можетъ милліоны, быть можетъ выродится и родъ человѣческій, прежде чѣмъ наша вселенная умретъ отъ холода или сгоритъ во взрывѣ...

Все это слишкомъ элементарно, да къ тому-же и находится въ совершенно иной плоскости, чѣмъ вѣра Д. Мережковскаго во Второе Пришествіе. Однако, повторяю, проявленія этой вѣры стали за послѣднее время со стороны Д. Мережковскаго значительно менѣе шумными; онъ значительно сузилъ кругъ своихъ предсказаній, и, одно время, сталъ только настойчиво предсказывать, что-де «Петербургу быть пусту» (въ полномъ согласіи съ г-жой Мережковской-Гиппіусъ—смотрите ея стихотвореніе «Петербургъ»). Но и это семейное пророчество насъ не особенно пугаетъ, потому что и безъ г-дъ Мережковскихъ мы хорошо знаемъ, что все на свѣтѣ имѣетъ свое начало и свой конецъ... Но, какъ бы то ни было, особенно сильныхъ трубныхъ гласовъ и апокалипсическихъ предсказаній мы уже не находимъ за послѣдніе годы въ писаніяхъ Д. Мережковскаго: онъ нѣсколько приблизился къ землѣ. Правда, всѣ его попытки стать на историческую почву оканчиваются неудачами, объ «историчности» его взглядовъ лучше и не говорить,—но всетаки самый фактъ попытки налицо. То вдругъ заговоритъ онъ о «воинственномъ свиданіи въ Свинемюнде» и заявитъ, что «это не реальное событіе, а идеальное знаменіе современной европейской куль-

туры“ (XIII, 21); то безапелляціонно заявитъ, что переходъ общества въ церковь «дѣйствительно совершается въ всемірно-историческомъ процессѣ» (XIV, 45), и прибавитъ съ математической точностью, что переходъ этотъ «осуществится, какъ историческая реальность, при концѣ всемірной исторіи, но до конца міра» (XIV, 48); то начнетъ проповѣдывать, что русская интеллигенція неизбѣжно станетъ религіозной, увѣруетъ во Христа, (XVII, 131—2). Давно-ли Д. Мережковскій озлобленно восклицалъ, что «миръ съ интеллигенціей невозможенъ до тѣхъ поръ, пока интеллигенція не признаетъ богочеловѣчества Христа. Аще кто не признаетъ Христа, пришедшаго во плоти, есть антихристъ. Интеллигенція не признаетъ Христа, и потому тайна беззаконія уже дѣется въ интеллигенціи» («Новый Путь», 1903 г. № 1, Приложеніе, стр. 30). Прошло два, три года—и Д. Мережковскій сталъ восхвалять безбожную русскую интеллигенцію, объявивъ ее религіозной (XIII, 38) и сталъ вѣровать, что она увѣруетъ... Вообще съ 1905—1906 года началась новая полоса въ писаніяхъ Д. Мережковскаго, въ его построенія вошла «общественность» и соединилась, по обычному «антитетическому методу» Д. Мережковскаго, съ «религіей» (см. XIII, 37); «религія» для него отождествилась съ „революціей» (см. XVII, 58, 131, 216) и онъ сталъ ея апологетомъ...

Въ 1905—1906 г. Д. Мережковскій, повидимому, впервые открылъ Америку—узналъ, что у русской интеллигенціи есть свои святые, свои мученики, узналъ ихъ имена, и жизнь, узналъ—и понялъ, какимъ кощунствомъ были его прежнія выходки противъ интеллигенціи. Онъ началъ трубить отбой. Идя въ хвостѣ революціи, пользуясь заслуженнымъ недовѣріемъ «интеллигенціи», онъ сталъ заднимъ числомъ превозносить геніальность Карла Маркса (XII, 23), учениковъ котораго онъ не такъ давно называлъ «поросятами эпикуровыми, у которыхъ паръ вмѣсто души»; онъ сталъ восклицать, что партія русскихъ соціалъ-демократовъ есть «соборно-вселенская и, слѣдовательно, безсознательно-религіозная»... Дальше еще лучше: «пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь! — этотъ призывный кличъ, напоминающій крикъ журавлей (?), нигдѣ еще не раздавался съ такой недосягаемо-далекой и торжественно-грозною, словно апокалипсической, надеждою или угрозою, какъ именно въ рус-

ской революціи» (XIV, 39). Какъ легко связать словесно даже соціалъ-демократію съ апокалипсисомъ!

Впрочемъ, есть одно литературное свидѣтельство, которое показываетъ, что теперь Д. Мережковскій уже не пытается соединить несоединимое, связать Карла Маркса съ Іоанномъ сыномъ Громовымъ. Я говорю объ интересной статьѣ В. Розанова, посвященной Д. Мережковскому — «Трагическое остроуміе» («Новое Время» 1909 г., 9 февраля). Къ статьѣ этой я еще вернусь, а пока возьму изъ нея только одну очень важную для насъ цитату:

«Мережковскій самъ себѣ измѣнилъ, самъ себя предалъ, самъ отъ себя отказался: въ какомъ-то новомъ обольщеніи онъ рѣшилъ привлечь къ себѣ и Христу марксистовъ, эсдековъ и проч., и проч., слить политику и Евангеліе, и притомъ просто то Евангеліе отъ Матѳея, Марка и Луки, какое читаетъ церковь, съ ученіемъ Карла Маркса изъ Берлина, безъ всякой новой мечты объ Апокалипсисѣ, о грядущемъ Христѣ и Третьемъ Завѣтѣ. Здѣсь я долженъ опредѣленно назвать тотъ важнѣйшій мотивъ, который побуждаетъ меня сказать, что Мережковскій отрекся отъ себя: именно онъ мнѣ сказалъ, что находится теперь совсѣмъ въ другихъ мысляхъ, чѣмъ прежде, что я должно быть не читалъ его послѣднихъ книгъ, а если-бы читалъ, то зналъ-бы, что ни о какомъ грядущемъ Мессіи теперь онъ не думаетъ, ни о какомъ Третьемъ Завѣтѣ. Когда-же я изумился и спросилъ: какъ же онъ раньше объ этомъ говорилъ? то онъ отвѣтилъ: это было такъ, слова! Я позволяю себѣ этотъ единственный и послѣдній разъ сказать изъ личныхъ бесѣдъ, во-первыхъ, по крайней важности этого для всѣхъ, кто заинтересованъ его проповѣдью, во-вторыхъ потому, что это будто-бы (чему я не вѣрю) уже сказано гдѣ-то у него въ книгахъ, вѣроятно въ намекахъ»...

Это дѣйствительно „важное“ для читателей Д. Мережковскаго сообщеніе не было имъ, насколько мнѣ извѣстно, опровергнуто: повидимому нечего было и опровергать. Это было такъ, слова! Если Д. Мережковскій дѣйствительно сказалъ это про свою былую дѣятельность, про свои трубные апокалипсическіе призывы, то значитъ открылись-же хоть на минуту глаза его! Быть можетъ теперь онъ снова, разочаровавшись въ революціи, взялся за прежнія слова, отъ

которыхъ онъ отказался, которыя онъ замѣнилъ другими словами въ эпоху революціи. Всѣ мы помнимъ Д. Мережковскаго въ роли апологета интеллигенціи, помнимъ его полемику съ „Вѣхами“, его попытки войти въ политическую работу. Лично я помню чтеніе Д. Мережковскаго о „Вѣхахъ“, помню съ эмфазой и паѳосомъ произнесенную послѣднюю фразу: „да здравствуетъ русская интеллигенція! да здравствуетъ русская революція!“ И я помню, что въ отвѣтъ раздалось только нѣсколько жиденькихъ хлопковъ среди многочисленной аудиторіи...

Да, на „страстную любовь“ Д. Мережковскаго интеллигенція отвѣчаетъ такимъ-же молчаніемъ, какъ и на былую ненависть; отвѣтомъ на заигрыванія Д. Мережковскаго съ интеллигенціей служитъ молчаніе... И если справедлива наша характеристика писаній Д. Мережковскаго, то понятно и то, почему все живое—и „народъ“ и „интеллигенція“—чурается этого крупнаго мастера и талантливаго писателя... Почему-же?—Здѣсь мы и подходимъ къ разрѣшенію этой задачи.

V.

До сихъ поръ мы говорили только о симптомахъ, а не о самой сущности „блѣдной немочи“ въ писаніяхъ Д. Мережковскаго. Отсутствіе любви, „каламбурное мышленіе“, равнодушіе къ людямъ, „словоточивость“, „антитетичность“ „гиперболичность“, одиночество, скука—все это только симптомы той болѣзни, которую мы хотѣли опредѣлить, и которую уже много разъ мимоходомъ называли, говоря о мертвомъ мастерствѣ Д. Мережковскаго, о мертвой красивости его художественныхъ произведеній. Его „блѣдная немочь“—не случайная и временная болѣзнь, а вѣчное его состояніе; перечисленные выше „симптомы“—въ сущности постоянныя его свойства. Это состояніе—состояніе мертвенности, эти свойства—свойства мертваго писателя, въ произведеніяхъ котораго „все полно могильной красоты“ (II, 234).

Гончаровъ когда-то требовалъ, чтобы критика, говоря о писателѣ, не затрагивала въ немъ человѣка. Это, разумѣется, по существу невозможно: изучая характерныя черты писателя, невольно говоришь этимъ самымъ и о характерныхъ

чертахъ его личности. Недопустимо только вторженіе критика въ личную, интимную жизнь живого писателя, копаніе въ сплетняхъ, мелочахъ, дрязгахъ—однимъ словомъ, недопустимо многое изъ того, что въ свое время продѣлалъ Д. Мережковскій надъ Л. Толстымъ. Продѣлывать подобную операцію надъ Д. Мережковскимъ я, конечно, не стану; но о свойствахъ его, какъ писателя, считаю себя въ правѣ говорить все, что думаю и чувствую.

Д. Мережковскій—мертвый писатель: вотъ разгадка, вотъ отвѣтъ на всѣ поставленные нами недоумѣнные вопросы объ его одиночествѣ, его оторванности отъ людей. Перечитайте съ этимъ ключемъ въ рукахъ всю настоящую статью—и вамъ все станетъ ясно и понятно въ судьбахъ этого писателя: вы поймете, почему Д. Мережковскій такъ безнадежно одинокъ, почему онъ пастырь безъ стада, почему отъ него всѣ отшатываются раньше или позже, почему всѣ слушаютъ его со скукою, почему онъ „являетъ видъ того жалкаго англичанина, который замерзъ на улицахъ Петербурга, не будучи въ силахъ объяснить, кто онъ, откуда и чего ему нужно“ (эти слова В. Розанова я уже приводилъ). И быть можетъ самъ Д. Мережковскій дѣйствительно не въ силахъ объяснить даже самому себѣ, что онъ—тотъ самый „великій мертвецъ“ русской литературы, о которомъ онъ говоритъ въ своей книгѣ о Гоголѣ, тотъ самый „безкровный, безплотный, страдающій блѣдною немочью христіанскій старецъ Акимъ, живой мертвецъ, который хочетъ и не можетъ воскреснуть“, о которомъ Д. Мережковскій говоритъ въ книгѣ о Толстомъ и Достоевскомъ.

Когда умеръ Д. Мережковскій? Или онъ былъ изначально мертвъ? Въ самыхъ первыхъ его книгахъ есть еще хоть словесныя порыванія къ жизни; онъ восклицалъ тогда—

Здравствуй, жизнь и любовь, и весна! (I, 125).

Онъ хотѣлъ тогда бороться, дѣйствовать, жить (I, 73); онъ убѣждалъ себя и другихъ—

Жизнь люби,—выше нѣтъ на землѣ ничего
. . . .
Есть одна только вѣчная заповѣдь—жить... (III, 14)

Ему хотѣлось всей полноты жизни—„всей дивной му-

зыки аккордовъ міровыхъ“ (I, 15). Но тутъ-же какой-то черный жукъ-могильщикъ велъ въ его душѣ свои подкопы, протачивалъ его душу, отравлялъ ее:

Тишь и мракъ въ душѣ моей:
Ни желаній, ни страстей.
Блѣдныхъ дней нѣмая цѣпь
Безъ конца уходитъ въ даль,
И мертва моя печаль,
Словно выжженная степь... (I, 25).

Въ первомъ, второмъ и третьемъ томѣ его стихотвореній (1883—1895 г.) словно присутствуешь при борьбѣ живого человѣка съ какимъ-то упыремъ, который высасываетъ изъ него кровь. И мы слышимъ, какъ живой человѣкъ кричитъ: „пока есть капля крови въ жилахъ, я слишкомъ жить хочу, я не могу не жить!“ И тутъ-же—слабость, изнеможеніе, сознаніе, что грозятъ „дни, мѣсяцы, года тяжелой, мертвой скуки“ (I, 52). И, наконецъ, признаніе:

Ты самъ своей души безжалостный палачъ!
Порой ты рвешься въ даль, надеждой увлеченный,
Но воля скована тяжелымъ, мертвымъ сномъ:
Ты недвижимъ,—какъ трупъ, въ безсильи роковомъ,
Ты живъ,—какъ заживо въ могилу погребенный.
Хотя бы вѣчностью влачился каждый мигъ,
Изъ гроба вырваться на волю не пытайся... (I, 33).

Гробовой червякъ все больше и больше протачиваетъ душу Д. Мережковскаго. Въ стихахъ появляются его эпитеты, единственные принадлежащіе ему — и мы знаемъ, что эти эпитеты — „мертвенный“ и „могильный“ въ разныхъ комбинаціяхъ: мысль его уже направлена въ эту одну сторону. „Синее небо—какъ гробъ молчаливо“; „въ сіяньи блѣдныхъ звѣздъ, какъ въ мертвенныхъ очахъ—неумолимое, холодное безстрастье“; „мертвенное небо“; „какъ изъ гроба вѣетъ съ высоты“ — все это у Д. Мережковскаго свое, незаимствованное (I, 96—101). И хотя не одинъ еще разъ вопилъ жаднымъ голосомъ Д. Мережковскій: „жить, жить!“, но голосъ этотъ становился все слабѣе и слабѣе; ему, какъ чеховскому Чебутыкину, становилось „все равно“; онъ чувствовалъ, что „все замерло въ груди... Лишь чувство бытія томитъ безжизненною скукой“ (I, 99). Призывы жизни становились для него мучительными:

Пощады я молю! не мучь меня, Весна,
Не подходи ко мнѣ съ болѣзненною лаской,
И сердца не буди отъ мертвеннаго сна
Своей младенческой, но трогательной сказкой.
Ты видишь, какъ я слабъ,—о, сжалься надо мной!
Меня томитъ и жжетъ твой вѣтеръ благовонный.
Я дорого купилъ забвенье и покой—
Оставь же ихъ душѣ, страданьемъ утомленной... (I, 101).

Мертвое, гробовое, могильное—побѣдило въ душѣ Д. Мережковскаго. Ему становятся противны лѣса, „гдѣ буйный пиръ весны томитъ его тревогой, гдѣ душно отъ цвѣтовъ, гдѣ жизни слишкомъ много“... (какое признаніе!—см. I, 94); онъ уходитъ къ морскому берегу, „гдѣ передъ нимъ бездушная краса“... Бездушная краса, это — море! Онъ уже не видитъ въ говорѣ волнъ жизни, тамъ для него „все — движенье, блескъ и шумъ, но все — мертво“... Иногда онъ молитъ — молитъ ласточекъ научить его „жизни крылатой, жизни веселой“ (III, 20), но тутъ же покорно складываетъ руки и устало продолжаетъ умирать (см. его „Усталость“, III, 43):

Привѣтъ тебѣ, ночная тѣнь!
Я жду съ улыбкою блаженной,
Я радъ тому, что жизнь пройдетъ... (III, 46).

Онъ начинаетъ воспѣвать счастіе — не мыслить, нѣгу — не желать; онъ продолжаетъ видѣть „въ сердцѣ безбурномъ, въ небѣ лазурномъ — вѣчный покой“ (III, 63, 64). Вѣдь это уже погребальная пѣснь, похоронное пѣніе... „Чѣмъ больше я живу—сознается великій мертвецъ русской литературы — тѣмъ призрачнѣе міръ, страшнѣй себя я самъ“... (III, 75). Неужели-же онъ понималъ, чѣмъ онъ можетъ быть страшенъ и себѣ и всему живому?.. Врядъ-ли: въ автобіографической поэмѣ онъ, сознаваясь въ своей мертвенности („тревоги страстной, бурной и весенней я не люблю — душа моя полна и ясностью, и тишиной осенней... О, вѣчная, святая тишина“), въ то же время прибавляетъ о своей жизни:

Тому, кто хочетъ слышать, разскажу:
Живымъ—живое сердце обнажу... (IV, 175).

Онъ считаетъ себя „благороднымъ любителемъ увяданія,

предпочитающимъ старость—молодости, вечеръ—утру и неизмѣняющую осень—лживой веснѣ" (X); онъ хотѣлъ бы думать, что и отъ его произведеній „вѣетъ этимъ благоуханіемъ осени", не чувствуя, что не благоуханіе осени, а трупный запахъ вѣетъ съ его страницъ... Насталъ, наконецъ, моментъ— его установятъ будущіе біографы Д. Мережковскаго —когда пришелъ упырь и выпилъ послѣднія капли теплой его крови. И всѣми своими произведеніями онъ обнажаетъ передъ живыми людьми свое мертвое сердце.

Онъ чувствовалъ свою судьбу, но безсознательно. Недаромъ уже первая поэма Д. Мережковскаго носитъ заглавіе „Смерть", которую онъ восхвалялъ въ монотонныхъ стихахъ: „О, Смерть, тебя пою!"... „Тебѣ, о грозная богиня, тебѣ несу къ подножью ногъ сплетенный музою вѣнокъ"... Недаромъ герой поэмы — „мертвый человѣкъ" (II, 38); недаромъ и въ позднѣйшихъ автобіографическихъ поэмахъ Д. Мережковскій говоритъ о себѣ, что „мертвая душа была пуста" (IV, 232). Правда, герой первой поэмы въ концѣ ея „воскресаетъ" — къ жизни вѣчной; но, говоря словами самого Д. Мережковскаго, такими воскресеніями насъ не удивишь, мертвечинкой отъ нихъ попахиваетъ, тѣмъ болѣе, что, только что воскресивъ героя, авторъ заканчиваетъ безнадежно:

О, трудно жить во тьмѣ могильной,
Среди безвыходной тоски! (II, 64).

Важно, однако, самое желаніе Д. Мережковскаго—воскресить своего мертваго героя. Такъ поступаетъ онъ и во второй своей поэмѣ („Вѣра"), герой которой такой же мертвецъ и такъ-же подозрительно воскресаетъ. Герои воскресаютъ,—а въ поэмахъ царитъ могильная скука, которую признаетъ и самъ авторъ, обращаясь къ читателю съ выходкой pro domo sua:

.... ты правъ! Мы—слабы, мы—ничтожны;
Всѣ эти новыя поэмы—невозможны:
Въ нихъ скука царствуетъ!... (II,281).

Будущій историкъ русской литературы свяжетъ, конечно, эту „мертвенность" Д. Мережковскаго съ той почвой, на которой онъ выросъ — съ восьмидесятыми годами; указанія и намеки на эту связь очень многочисленны въ первыхъ

книгахъ этого писателя. Самъ Д. Мережковскій подчеркиваетъ скуку и безжизненность литературныхъ кружковъ той эпохи (V, 14)—а вѣдь именно на этой почвѣ возросъ Д. Мережковскій. Онъ много мертвенныхъ соковъ взялъ изъ этой почвы (какъ отчасти и все русское „декадентство“); кое-чѣмъ изъ этого онъ гордился до послѣдняго времени—напримѣръ, политическимъ и соціальнымъ индифферентизмомъ (просмотрите въ „Леонардо-да-Винчи“ конецъ десятой главы, десятой книги — такихъ мѣстъ десятки). Но вѣдь на почвѣ восьмидесятыхъ годовъ одинаково возросли сотни другихъ людей, а „мертвенность“ осталась свойствомъ одного или почти одного Д. Мережковскаго — она была въ немъ самомъ, въ его духѣ. Въ этомъ его паѳосъ. Недаромъ и описываетъ онъ лучше всего именно постепенное обращеніе человѣка въ состояніе мертвенности: тутъ и медленное умираніе Юліана, и смерть за-живо Леонардо, и „ужасы конца“ Тихона. Недаромъ онъ живетъ только въ мертвомъ, хотя-бы и вѣчномъ; недаромъ, когда попалъ онъ въ Акрополь, то подумалъ не о вѣчно-живой красотѣ, а обрадовался, что жизнь осталась „тамъ, позади, за священной оградой, и ничто уже не возмутитъ царящей здѣсь гармоніи и вѣчнаго покоя“. Если бы вдругъ совершилось чудо и Д. Мережковскій былъ перенесенъ за двѣ тысячи лѣтъ назадъ, въ шумный и кипящій жизнью Акрополь—какъ ему, вѣроятно, опять сдѣлалось-бы „скучно“ отъ одного соприкосновенія съ жизнью! Недаромъ Великій Панъ для него еще мертвъ и только „долженъ воскреснуть“ (XIX, Вступленіе),—въ то время какъ онъ вѣчно живъ—для живыхъ людей. Недаромъ сказывается его тяготѣніе къ „кватроченто“, поскольку главнымъ мастерамъ этой эпохи присущъ элементъ не только „духовности“, но и „мертвенности“. Недаромъ чудится ему иногда „въ мертвомъ небѣ— мертвый Богъ“ (IX, Эпилогъ). Недаромъ онъ такъ часто говоритъ о „насъ“ — „мертвыхъ въ жизни“, о томъ, что даже умершій Чеховъ среди „насъ“— „не какъ мертвый среди живыхъ, а какъ живой среди мертвыхъ“ (XVII, 86, 107). Это все онъ о себѣ говоритъ...

Но онъ этого не сознаетъ. „Поэзія—говоритъ онъ—самое дыханіе, сердце жизни, то, безъ чего жизнь дѣлается страшнѣе смерти“ (V, 26); но онъ никогда не пойметъ, что именно въ его мертвомъ мастерствѣ нѣтъ поэзіи, ибо нѣтъ

творчества. Мало того: онъ о другихъ говоритъ именно то, что приложимо только къ нему самому, къ нему одному. Признаюсь, не безъ жуткаго чувства читалъ я отрывокъ, въ которомъ великій мертвецъ русской литературы считаетъ живыхъ людей мертвецами:

„Въ сказочныхъ новеллахъ Эдгара Поэ являются мертвецы ненадолго воскресшіе, одаренные искусственной жизнью. Они дѣйствуютъ, ходятъ, говорятъ, даже смѣются, совсѣмъ какъ живые. Ничего добраго не предвѣщаютъ ихъ лица, безъ кровинки, напряженный, лихорадочный блескъ въ глазахъ. И настоящіе живые люди съ недобрымъ предчувствіемъ смотрятъ на нихъ и думаютъ: быть худу... *Д. Мережковскій* всегда казался мнѣ такимъ мертвецомъ изъ разсказовъ Эдгара Поэ, одареннымъ какою-то противоестественною жизнью. Пишетъ онъ статьи, проповѣдуетъ Бога, громитъ матеріализмъ, даже проявляетъ попытки юмора, совсѣмъ какъ живой, и все-таки я ничему не довѣряю и думаю: быть худу. — Когда вы смотрите на почтенныхъ людей стараго поколѣнія, на окаменѣвшихъ редакторовъ, на критиковъ, подобныхъ г. Протопопову и г. Скабичевскому, и вдругъ чувствуете, что люди эти въ сущности — давно уже мертвые, что отъ нихъ даже какъ будто пахнетъ смертью и тлѣномъ, такое ощущеніе — надо признаться — довольно страшно. Но, впрочемъ, съ нимъ еще можно примириться, была же и у нихъ своя молодость, своя жизнь. Но когда въ литературѣ начинаютъ появляться молодые люди, или, лучше сказать, молодые мертвецы, какъ *Д. Мережковскій*, когда отъ самыхъ юныхъ, только что начинающихъ вѣетъ уже холодомъ могилы, страшнымъ запахомъ смерти и тлѣна, это—признакъ послѣднихъ дней цѣлаго поколѣнія: уже тутъ несомнѣнно быть худу!“ (V, 34—35).

Д. Мережковскій говоритъ все это, конечно, не о себѣ (еще одинъ разъ!), о комъ—намъ здѣсь безразлично; но вѣдь это-же только и можно сказать о немъ самомъ, до слова, до буквы! Въ своей литературной молодости онъ уже былъ мертвымъ, послѣ небольшихъ проблесковъ жизни: и теперь у него—«головка виснетъ», «земля во рту“ (см. XVIII). Онъ говоритъ о «попыткахъ юмора»—вотъ чего у Д. Мережковскаго никогда не бывало. «Нѣтъ освобождающаго смѣха. Ни разу, читая произведенія *Д. Мережковскаго*, не только не разсмѣ-

ешься, но и не улыбнешься. Словно виситъ надо всѣмъ безоблачно-грозное, низкое, мѣдное небо и давитъ такъ, что сердце, наконецъ, сжимается отъ тоски, и кажется нечѣмъ дышать, нѣтъ воздуха»... Такъ глубоко-невѣрно говоритъ Д. Мережковскій о Толстомъ (см. XI)—и это является лишнимъ примѣромъ голословности и невѣрности утвержденій Д. Мережковскаго; но какъ это вѣрно въ примѣненіи къ Д. Мережковскому, въ произведеніяхъ котораго поистинѣ нѣтъ освобождающаго смѣха! А почему нѣтъ—объ этомъ опять таки скажетъ самъ Д. Мережковскій: «печать живого—печать смѣха. Среди насъ, увы, рѣдчайшій даръ. Кажется, намъ легче умереть, чѣмъ усмѣхнуться» (XVIII, 23).

Иногда, вѣроятно, и самому Д. Мережковскому непонятно—живой онъ или мертвый, какъ и одна изъ героинь его, Джиневра: «она не могла понять, живая она или мертвая, во снѣ-ли все это происходитъ, или на яву» (VI, 16). Но Джиневра жива, для нея была «любовь сильнѣе смерти»; Д. Мережковскій-же, самъ сознается, что въ сердцѣ его нѣтъ любви, что «навѣкъ его сердце мертво»,—а потому и смерть для него сильнѣе любви. Смотря на него, въ его произведеніяхъ мы видимъ

—взоръ тяжелый
И странное лицо, въ которомъ жизни нѣтъ,
Какъ маска, мертвое, похожее на бредъ... (II, 350).

И мы видимъ, какъ этотъ великій мертвецъ русской литературы начинаетъ, подобно Джиневрѣ, стучаться въ сердца всего живого—только-бы избавиться отъ своего могильнаго савана, только-бы согрѣть свое мертвое сердце... Мертвый человѣкъ жаждетъ найти пріютъ въ живыхъ сердцахъ. Отсюда—вся его дѣятельность послѣднихъ двадцати лѣтъ. Но тщетно: двери всего живого закрываются передъ Д. Мережковскимъ...

Двери живого открываются не передъ мертвыми словами, а предъ живыми дѣлами; Д. Мережковскій же и сюда пришелъ съ чисто-словесными схемами, съ двумя словами, которыя надо замѣнить третьимъ словомъ... Чтобы спастись отъ мертвенности, онъ ухватился за Христа, за Третій Завѣтъ, за «Святую Плоть», позднѣе—за «религіозную общественность», за «народъ», за «интеллигенцію»,—и всюду съ

одинаковымъ результатомъ, ибо всюду съ одними и тѣми же словесными схемами. Проповѣдь «Третьяго Завѣта», которую мы когда-то слышали отъ этого писателя, развѣ это—не такое же скользящее по поверхности явленій «третье слово», которое замѣняетъ для Д. Мережковскаго два другихъ, такихъ же мертвыхъ слова? Первый завѣтъ — Ветхій, царство Бога-Отца; второй завѣтъ—Новый, данный Сыномъ; третій завѣтъ—грядущій, царство Духа: все это—ледяная игра разума, къ тому же отчасти и заимствованная (Гюисмансъ, «En route», «La cathedrale»). И если Богъ-Отецъ есть начало земной жизни,—жизни міра и природы,—то онъ всегда былъ мертвъ для Д. Мережковскаго. Прочтите внимательно всѣ немногочисленные «пейзажи» въ романахъ Д. Мережковскаго; васъ поразитъ ихъ сходство съ тщательно выписанными, холодными пейзажами въ творчествѣ Гончарова, конечно, неизмѣримо болѣе талантливаго. Это—люди, которые по землѣ могутъ ходить только въ резиновыхъ галошахъ; для нихъ всегда былъ мертвъ Великій Панъ. Но вотъ, по выраженію Д. Мережковскаго, «родился Христосъ, и умеръ Великій Панъ»: началось царство Сына Божія. Но если Сынъ Божій есть Сынъ Человѣческій, если онъ есть полное выраженіе идеи *живого личнаго человѣка*, то и Сынъ Божій былъ изначально мертвъ для Д. Мережковскаго. Мы это уже отмѣтили выше. Живая человѣческая личность чужда Д. Мережковскому; полюбить онъ ее не можетъ и только безсильно восклицаетъ: «Неужели навѣкъ мое сердце мертво? Дай мнѣ силы, Господь, моихъ братьевъ любить!»... И вотъ человѣкъ, которому одинаково чуждъ и великій Панъ, и Христосъ, проповѣдуетъ «Третій Завѣтъ», въ которомъ желаетъ видѣть «синтезъ» Великаго Пана и Христа. Такимъ путемъ долженъ получиться новый человѣкъ на новой землѣ. Такъ проповѣдуетъ писатель, который не любитъ ни человѣка, ни землю. Въ результатѣ этой ледяной игры разума мы имѣемъ по-прежнему только новое «слово», а не новаго человѣка; или, если угодно, имѣемъ такую же восковую куклу, какую мы видѣли во всѣхъ романахъ Д. Мережковскаго. Это—тѣ самые «кристаллизованные люди», которыхъ фаустовскій Вагнеръ хотѣлъ выдѣлывать въ ретортѣ химическимъ путемъ:

Wass die Natur organisiren liess,
Das lassen wir krystallisiren.

«Религіозная общественность», къ которой пришелъ *позднѣе Д. Мережковскій*, это—такое же мертвое слово, какимъ раньше въ его устахъ были и «Третій Завѣтъ», и «Святая Плоть», и еще десятки другихъ «словъ», изъ области которыхъ не суждено вырваться Д. Мережковскому. Христосъ въ его устахъ такъ же мертвъ, какъ и всякое другое слово. И если выше мы вспомнили по поводу Д. Мережковскаго о злой феѣ, которая дала ему волшебное перо, превращающее все живое въ мертвое, то теперь невольно приходитъ на память другая сказка, о двухъ дѣвушкахъ: у одной изъ нихъ при каждомъ словѣ вылетало изъ устъ по живой розѣ, у другой при каждомъ словѣ—по мертвой жабѣ. Изъ устъ Д. Мережковскаго вылетаютъ, быть-можетъ, и розы, но розы эти — мертвыя. Прислушайтесь, какъ мертво звучитъ въ этихъ устахъ слово «Христосъ», именно—только с л о в о, безконечно часто употребляемое.

«Я хоть и мертвецъ, но и мертвымъ сердцемъ чту живого Бога» — говоритъ самъ Д. Мережковскій (см. XI), конечно,—кажется ему—не о себѣ и, разумѣется, о себѣ. Да, онъ хочетъ чтить живого Бога мертвымъ сердцемъ — но, повторяю, чтить надо не мертвыми словами, а живыми дѣлами; не говорить, а дѣлать; л ю б и т ь живое. Это недоступно Д. Мережковскому, — и онъ начинаетъ мучительно метаться отъ двери къ двери, онъ ищетъ новыхъ ключей, онъ торопится скорѣе открыть, скорѣе войти, скорѣе излить свою душу и найти спасеніе, хотя бы обманувъ самого себя словомъ. Все это я не умѣю опредѣлить иначе, какъ терминомъ — н е д е р ж а н і е д у ш е в н о й т р а г е д і и. Часто приходится слышать и читать, будто Д. Мережковскій неискрененъ въ своихъ поискахъ живого Бога; но это, думается мнѣ, есть «противоположное истинѣ» объясненіе личности и книгъ Д. Мережковскаго. Въ томъ-то и бѣда его, что онъ настолько искрененъ, что не можетъ ни на минуту удержать для себя одного свои мысли, свои слова, свою трагедію. Трагедія эта—безплодное усиліе ледяного Кая сдѣлаться живымъ человѣкомъ. Для этого надо только одно,— в е л и к а я л ю б о в ь къ живому личному человѣку, но

этого-то какъ-разъ нѣтъ и никогда не будетъ у Д. Мережковскаго. Быть-можетъ, сознавая это, а можетъ-быть, и безсознательно, Д. Мережковскій размѣниваетъ эту свою основную трагедію на рядъ производныхъ, вторичныхъ; онъ судорожно хватается за каждую изъ нихъ, немедленно формулируетъ ее въ словахъ, — словахъ иной разъ очень красивыхъ, — и ждетъ спасенія отъ словъ. «Красота», «Третій Завѣтъ», «Святая Плоть», «Религіозная Общественность» и т. д., и т. д., — вотъ эти слова Д. Мережковскаго, которыми онъ проявляетъ и думаетъ разрѣшить свои внутреннія трагедіи; торопливо сыплетъ и сыплетъ онъ этими мертвыми словами, думая, что это живыя розы вылетаютъ изъ его устъ... Онъ мучительно искрененъ въ этомъ случаѣ, и потому такъ мучительно читать подъ-рядъ разныя его произведенія: воочію видишь, какъ неживой, ледяной Кай хочетъ растопить свой ледяной саванъ не горячею любовью, а холодными, мертвыми словами. Въ словахъ онъ ищетъ спасенія; и словоточивость его есть только внѣшнее проявленіе внутренней болѣзни,—недержанія душевной трагедіи, а трагедію свою онъ не хочетъ таить про себя потому, что вѣритъ въ силу «словъ». Тутъ заколдованный кругъ, изъ котораго нѣтъ ему выхода въ живую жизнь.

Мертвое мастерство, мертвая религіозная публицистика, мертвое богоискательство. Всюду горѣніе словъ, — но горѣніе холодное, точно радуга надо льдами; всюду кипѣніе фразъ, — но кипѣніе холодное, точно, — извиняюсь за вульгарное сравненіе, — точно внутри сифона съ зельтерской водой: не подъ безстрастіемъ — великая страсть, а подъ страстью — великое безстрастіе; не «огненный напитокъ въ ледяномъ хрусталѣ», а зельтерская вода въ стеклянномъ стаканѣ... (XI). Самому Д. Мережковскому быть можетъ кажется, что страсть его — поистинѣ вулканическая, но намъ при этомъ вспоминается приводимое имъ-же словцо: «Везувій, извергающій вату» (XVII, 151) — мертвую вату тягучихъ словъ, которыя—опять выраженіе Д. Мережковскаго— «самый огромный изъ вулкановъ превращаютъ въ какую-то безопасно коптящую курилку, самое пьяное, играющее изъ винъ—въ какую-то выдохшуюся зельтерскую воду» (XVII, 305). Какъ мѣтко умѣетъ Д. Мережковскій характеризовать себя, самъ того не сознавая!..

Извержение словесной ваты не есть еще жизнь; кипѣніе зельтерской воды не дѣлаетъ ее горячей. Все мертво, все покрыто саваномъ ваты. И всетаки поэтому ледяному писателю страстно хочется пріобщиться къ живому,—и вотъ онъ бросается то къ народу, къ его „религіозности", то къ интеллигенціи, къ ея „революціонности", — все напрасно. Живое чурается мертваго; вотъ почему жуткое, вѣчное одиночество—удѣлъ Д. Мережковскаго. „Темный ангелъ одиночества" шепчетъ ему страшную истину: „я всегда съ тобой"...

О, страшный ангелъ одиночества,
Послѣдній другъ,
Полны могильной безмятежностью
Твои шаги...

Да, безконечно одинокъ Д. Мережковскій,—и самъ видитъ, самъ сознаетъ это. Но онъ пытается бороться съ этимъ фактомъ; „преодолѣніе одиночества—такова задача!"—восклицаетъ онъ въ предисловіи къ собранію своихъ сочиненій. Какая это безнадежная задача для Д. Мережковскаго, которому „темный ангелъ одиночества" шепчетъ на-ухо свое вѣчное: „я всегда съ тобой"! И мы теперь знаемъ, почему и отчего Д. Мережковскій такъ фатально одинокъ, почему у него нѣтъ послѣдователей и спутниковъ, почему онъ одинъ или почти одинъ, почему онъ „пастырь безъ стада": все живое чурается мертваго. А мертвецъ этотъ—ненавидитъ свое одиночество, хочетъ быть проповѣдникомъ имени живого вселенскаго Христа, всѣ свои произведенія посвящаетъ темѣ „Христосъ и Антихристъ". Но если Христосъ есть жизнь и любовь, а Антихристъ—противоположность его, то мертвый, ледяной Кай, мертвыми, ледяными устами проповѣдующій Христа, безъ капли любви къ живой человѣческой личности,—не является ли онъ представителемъ и выразителемъ всего „антихристова" во всѣхъ смыслахъ этого слова?

VI.

И всетаки есть что-то глубоко-трогательное въ фигурѣ мертваго человѣка, который ищетъ спасенія въ религіи, который безумно вѣритъ въ свою Дульцинею—„безсмертіе", и

который во имя ея готовъ на всѣ нелѣпости, на насмѣшки, на униженія... Эта трогательная красота безсильной любви несомнѣнно есть въ Д. Мережковскомъ...

Шлемъ—надтреснутое блюдо,
Щитъ—картонный, панцырь жалкій...
Въ стременахъ висятъ качаясь,
Ноги тощія, какъ палки...
Въ красной юбкѣ, въ пятнахъ дегтя,
Тамъ, надъ кучами навоза—
Это царственная дама,
Дульцинея де-Тобозо...
Всѣ довольны, всѣ смѣются
Съ гордымъ видомъ превосходства,
И никто въ немъ не замѣтитъ
Красоты и благородства...
Смѣйтесь, люди, но быть можетъ
Вы когда-нибудь поймете,
Что возвышенно и свято
Въ этомъ жалкомъ донъ-Кихотѣ... (I, 215).

Возвышенно и свято въ Д. Мережковскомъ — безумное стремленіе мертваго человѣка къ жизни хоть послѣ смерти. Здѣсь ему суждено влачиться по землѣ, какъ мертвецу среди живыхъ („видите, какъ по землѣ я влачусь, скорбный, больной и тяжелый,—такъ я и въ темную землю вернусь“...—III, 20); остается надежда, что тамъ получитъ онъ жизнь и прощеніе... Изумительно, какъ этотъ мертвый человѣкъ боится физической смерти, какъ при мысли о ней дрожитъ онъ „холодной дрожью“ (XI); онъ боится, что если никого „тамъ“ нѣтъ, то никогда и нигдѣ нельзя ему будетъ очутиться живому среди живыхъ. Повидимому и сама вѣра Д. Мережковскаго въ Бога выросла на почвѣ страха смерти; еще въ первой своей поэмѣ Д. Мережковскій именно поэтому убѣждалъ вѣрить и себя и другихъ:

О, я завидую глубоко
Тому, кто вѣритъ всей душой:
Не такъ въ немъ сердце одиноко,
Не такъ измучено тоской
Предъ неизбѣжной тайной смерти:
Друзья, кто можетъ вѣрить—вѣрьте!.. (II, 21).

Надо вѣрить, ибо, если нѣтъ Бога, то кто-же поможетъ Д. Мережковскому, кто превратитъ мертвое въ живое? А

потому—Богъ долженъ быть: „Онъ есть, а если нѣтъ Его, все равно—Онъ будетъ. И ты говоришь: да будетъ Онъ—я такъ хочу“ (VII, глава VII). И когда Юліанъ говоритъ, что „если нѣтъ ни чудесъ, ни боговъ, вся моя жизнь безуміе“,—то это Д. Мережковскій самъ о себѣ говоритъ: безуміе или ужасъ его жизнь, если нѣтъ воскресенія мертвыхъ. Нѣтъ воскресенія мертвыхъ, если Христосъ не воскресъ. Отсюда—обращеніе Д. Мережковскаго къ вѣрѣ во Христа, къ „тайнѣ и откровенію о томъ, что человѣкъ Іисусъ, распятый при Пилатѣ Понтійскомъ, былъ не только Человѣкъ, но и Богъ, истинный Богочеловѣкъ, Единородный Сынъ Божій, что вся полнота Божества обитала въ Немъ тѣлесно, и что нѣтъ иного имени подъ небомъ, коимъ надлежало бы намъ спастись“ (XIII, 181), и что Богочеловѣкъ этотъ умеръ, а потомъ воскресъ. Какъ понятно, что именно Д. Мережковскій ухватился за эту вѣру въ возможность воскрешенія мертваго! А до какой степени вѣра эта ему дорога, можно видѣть изъ слѣдующихъ замѣчательныхъ въ своемъ родѣ его словъ: „если бы мы могли увидѣть, разсмотрѣть, осязать мертвое, истлѣвшее во гробѣ тѣло Іисуса, то мы отвергли бы тутъ, именно только тутъ во всей исторіи, во всей природѣ свидѣтельство нашего конечнаго разума и нашего чувственнаго опыта“ (XI). Съ такой вѣрой—какъ и со всякой вѣрой вообще—спорить безполезно; но какъ это характерно именно для Д. Мережковскаго, которому надо воскреснуть, чтобы не быть мертвымъ!

Конечно, свои чувства и настроенія Д. Мережковскій готовъ распространить на все человѣчество. „Если Христосъ не воскресъ,—говоритъ онъ,—то все человѣчество—проклятое мясо, гніющая падаль“ (XVII, 56). Да, настанетъ раньше или позже для каждаго изъ насъ день, когда обратимся мы въ „гніющую падаль“—но теперь мы живы, и эта земная жизнь есть для насъ воистину безконечная жизнь. Мы можемъ понимать, что великій мертвецъ и здѣсь смотритъ на себя, какъ на „проклятое мясо“, если тамъ не существуетъ; напрасно только онъ обобщаетъ это и на живыхъ здѣсь людей. И какъ-же онъ негодуетъ, когда отъ одного изъ несомнѣнно живыхъ людей, В. Розанова, слышитъ такое, напримѣръ, признаніе: „не имѣю интереса къ воскресенію. Говорятъ: мы воскреснемъ... Ну, что-же... Зажмемъ глаза, не

будемъ смотрѣть. Не осудимъ другъ друга. Не заставитъ же Богъ плевать насъ другъ на друга, не устроитъ такой всемірной плевательницы... Нѣтъ, это такъ глупо, что, конечно, этого не будетъ. Просто, я думаю, умремъ"... („Новое Время", 1908 г., 4 января). Д. Мережковскій, въ негодованіи, называетъ это мѣщанствомъ и хулиганствомъ; (XVII, 252); ему, мертвому, непонятно, что живой человѣкъ можетъ вовсе не желать загробной жизни, воскресенія изъ мертвыхъ: „я былъ, я есмь—мнѣ вѣчности не надо"...

Если къ слову пришлось упомянуть о В. Розановѣ, этой во многихъ отношеніяхъ противоположности Д. Мережковскаго, то кстати будетъ привести здѣсь еще одинъ отрывокъ изъ его уже цитированной выше статьи о Д. Мережковскомъ. В. Розановъ прекрасно характеризуетъ одну черту, обыкновенно мало отмѣчаемую въ великомъ мертвецѣ русской литературы. Еще въ началѣ своей дѣятельности высказывалъ онъ мнѣніе, что онъ самъ и его поколѣніе—люди живые ибо носятъ они въ душѣ своей „возмущеніе противъ удушающаго мертвеннаго позитивизма, который камнемъ лежитъ на нашемъ сердцѣ. Очень можетъ быть, что они погибнутъ, что имъ ничего не удастся сдѣлать. Но придутъ другіе и всетаки будутъ продолжать ихъ дѣло, потому это дѣло—живое" (V, 40). Мы знаемъ теперь, что дѣло это не погибло, что литература наша пережила сильный романическій періодъ, что крайности позитивизма (также какъ и романтизма) давно уже пережиты русской мыслью. Д. Мережковскій тоже боролся съ „мертвеннымъ позитивизмомъ" — то-есть тщетно боролся самъ съ собой, ибо и мертвенность, и позитивизмъ были и остались его постоянными свойствами...

„Такого трезваго и аккуратнаго писателя я еще не встрѣчалъ,—восклицаетъ В. Розановъ.—Несмотря на вражду къ позитивизму, чисто словесную, на вражду какъ пьяницы къ погубившему его вину, онъ на самомъ дѣлѣ весь позитивенъ, трезвъ, не опьяненъ, не задурманенъ, не зачарованъ никакими чарами. Темноты въ его книгахъ много, но это просто путаница мысли. Въ его книгахъ нѣтъ ночи, а отъ этого нѣтъ и тайны Божіей. Сумрака много, но это просто—чердакъ, куда не пробивается дневной свѣтъ отъ плохого устройства, а не оттого, чтобы чердакъ имѣлъ какое-

нибудь родство съ ночью. И ужъ если сдѣлать экскурсію къ давно-прошлому Мережковскаго, то на этомъ чердакѣ и всегда-то возились однѣ мыши, а отнюдь не „интересные“ демоны... Все это страшно грустно. Онъ такъ много читалъ... Такъ много учился, знаетъ... Все обѣщало въ дальнѣйшемъ хотя и трезвую, позитивную, немного мѣщанскую работу, однако отличнаго ученаго. На Руси ихъ такъ мало! Никто не умѣетъ такъ хорошо сопоставлять и критиковать идеи; такимъ вѣрнымъ глазомъ оцѣнивать недостаточность какой-нибудь идеи для того-то и того-то, или способность идеи къ тому-то и тому-то; такъ разбирать источники идей, исходные пункты грядущихъ умственныхъ и нравственныхъ переворотовъ... Но онъ не пророкъ, именно не пророкъ. Онъ ученый, мыслитель, писатель—и только“... („Новое Время“, 1909 г., 9 февраля).

Многое изъ этого—очень вѣрно сказано. Позитивистъ, стремящійся къ мистикѣ; середина, стремящаяся быть крайностью—это какъ разъ Д. Мережковскій. Ужъ если мистицизмъ—то до конца, ужъ если вѣра въ чудо—то во всякое: таковъ своеобразный позитивизмъ навыворотъ Д. Мережковскаго. Сначала принимаешь это за какое-то религіозное простодушіе: Д. Мережковскій хочетъ вѣрить въ Бога и вѣрить въ чудо, „какъ дуракъ“, по выраженію Достоевскаго. Особенно много курьезнѣйшихъ примѣровъ можно найти въ статьѣ его „Послѣдній святой“ (XV). Юродивая Параша удостоилась узрѣть „видѣніе“ Божіей Матери, послѣ чего упала замертво, и по всей церкви „бѣсы зашумѣли“... Д. Мережковскій вполнѣ серьезно спрашиваетъ: „что-же собственно означаетъ этотъ бѣсовскій кличъ?...“ (XV, 165) Серафимъ Саровскій, современникъ декабристовъ, ходилъ по воздуху и по молитвѣ его преклонялись до земли вѣковыя деревья (XV, 168): Д. Мережковскій умиленно пересказываетъ это. И почему бы ему не вѣрить въ это чудо, разъ онъ вѣритъ во всякое? Простодушіе его доходитъ иногда до такихъ границъ, что желая быть трогательно вѣрующимъ, Д. Мережковскій оказывается высоко комичнымъ. Онъ разсказываетъ чудо съ „невидимымъ медвѣдемъ“, котораго видѣла только одна сестра Матрена (XV, 147); или передаетъ объ іеродіаконѣ Нафанаилѣ, который приглашалъ въ свою келью дѣвушекъ, приходившихъ къ Серафиму:

„иныя по простотѣ и заходили“ (повѣствуетъ „житіе“), да самъ батюшка Серафимъ „растревожился“, что Нафанаилъ „хочетъ сироточкамъ вредить“... Онъ взялъ да и проклялъ іеродіакона Нафанаила, и тотъ спился, пропалъ совсѣмъ. „Чѣмъ же собственно—комментируетъ все это съ институтской наивностью Д. Мережковскій — бѣдный іеродіаконъ вредилъ Серафимовымъ дѣвушкамъ?.. Онъ только говорилъ съ ними, смотрѣлъ на нихъ—и за то пропалъ, можетъ быть не только въ здѣшней жизни, но и въ будущей“... (XV, 163).

Сперва все это считаешь религіознымъ простодушіемъ Д. Мережковскаго, по слову: „если не будете вѣровать, какъ дѣти“... И только вчитываясь во всѣ его произведенія и сопоставляя ихъ, начинаешь видѣть во всемъ этомъ типичный позитивизмъ навыворотъ.

Богъ—въ тайнѣ, Богъ—въ тишинѣ, Богъ—въ глубинѣ души человѣческой. Но Д. Мережковскій думаетъ, что слово это надо вынести на всенародное позорище, что чѣмъ чаще онъ будетъ говорить святыя слова, тѣмъ больше скажетъ онъ о святомъ, чѣмъ чаще будетъ употреблять слово „таинственный“, тѣмъ больше скажетъ о таинственномъ. И вотъ страницы его книгъ начинаютъ пестрѣть „божественными“ словами. Недаромъ одинъ отъ малыхъ сихъ, бывшій ученикъ Д. Мережковскаго, скоро отъ него отшатнувшійся, Александръ Блокъ, „соблазнился о имени святѣ“ и вознегодовалъ: „открывъ и перелиставъ книги Д. Мережковскаго, можно придти въ смятеніе, въ ужасъ, даже въ негодованіе. Богъ, Богъ, Богъ, Христосъ, Христосъ, Христосъ—положительно нѣтъ страницы безъ этихъ Именъ именно Именъ, не съ большой, а съ огромной буквы написанныхъ, такой огромной, что она все заслоняетъ, на все бросаетъ крестообразную тѣнь, точно вывѣска „Какао“ или „Угринъ“ на загородномъ и безъ нея мертвомъ полѣ, надъ холодными волнами Финскаго залива, и безъ нея мертваго“... („Золотое Руно“, 1908 г.). Устами младенцевъ истина глаголетъ; и всѣ, писавшіе о Д. Мережковскомъ, единогласно признаютъ, что забылъ онъ третью заповѣдь и постоянно произноситъ имя Господа Бога своего—всуе. Но вѣдь это же и есть типичный признакъ позитивизма навыворотъ... „Приму ли я міръ огуломъ, или огуломъ не приму—резуль-

татъ все тотъ же“: эти слова своего комментатора и популяризатора, Д. Философова, приводитъ въ одномъ мѣстѣ Д. Мережковскій (XVII, 253). Буду ли я умалчивать о Богѣ, не признавая его, или буду на каждой строкѣ поминать его дважды—результатъ все тотъ-же: „мертвенный позитивизмъ“ по отношенію къ Богу...

За послѣднее время Д. Мережковскій, подъ вліяніемъ подобной критики, сталъ понимать всю „религіозную безвкусность“ (выраженіе В. Розанова) такого отношенія къ Богу. Слово Христосъ—пишетъ онъ, напримѣръ, Н. Бердяеву,—„такое великое и святое, что вы его не хотите произносить, и я произнести не смѣю“ (XIII, 164). Вотъ какой, съ Божьей помощью, поворотъ—и это послѣ десятка томовъ, перегруженныхъ именемъ Бога, всуе произнесеннымъ! „Надо было наговорить столько лишняго, сколько мы наговорили, надо было столько нагрѣшить, сколько мы нагрѣшили, святыми словами, чтобы понять, какъ Чеховъ былъ правъ, когда молчалъ о святомъ“ (XVII, 92): это позднѣйшее признаніе дѣлаетъ честь искренности Д. Мережковскаго; но религіозный позитивизмъ его какимъ былъ, такимъ и остается.

Стремясь найти въ христіанствѣ личное свое безсмертіе (мы знаемъ, для чего оно ему нужно), Д. Мережковскій въ то-же время хотѣлъ попытаться войти съ нимъ въ живую жизнь. Отсюда — былое „діонисіанство“ Д. Мережковскаго, попытка слить образъ Христа съ ликомъ Діониса, реабилитировать „Святую Плоть“, кромѣ „жизни будущей“ попытаться войти и въ жизнь настоящую... Мнѣ не зачѣмъ, послѣ всего сказаннаго, объяснять—почему не могла удаться такая попытка, почему мертвое не могло прирости къ живому. Мнѣ незачѣмъ также доказывать, насколько всѣ эти построенія были анти-историчны. Христосъ былъ „воплощенное веселіе сердца, и всѣ вокругъ Него были веселы, пьяны отъ веселія“ (XI) — вотъ одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ анти-историчности, мертвой попытки связать Христа съ Діонисомъ, слить христіанство съ діонисіанствомъ, объявить христіанство религіей „Святой Плоти“. Насколько глубже, насколько правѣе В. Розановъ, въ своемъ отождествленіи мистической и исторической стороны христіанства! И какія натяжки позитивнаго духа, безсильнаго въ мисти-

цизмѣ! Какое наивное желаніе слить себя со всѣми, утверждать, что и невѣрующіе во Христа все-таки вѣрятъ въ него: „отрицая Христа, они утверждаютъ Его такъ, какъ еще никогда никто не утверждалъ, по крайней мѣрѣ, сознательно"... (XI). Не напоминаетъ ли это вамъ анекдота — его разсказываетъ Чортъ Ивану Карамазову—о патерѣ, который утѣшалъ свою безносую прихожанку, что „оставшись безъ носа—тѣмъ самымъ осталась съ носомъ"...

Мертвенный позитивизмъ въ религіи—еще и еще разъ судьба Д. Мережковскаго; попытка великаго мертвеца воскресить то, что исторически умерло — была обречена на неудачу. Новое „религіозное движеніе", проповѣдывающееся Д. Мережковскимъ, было движеніемъ не впередъ, а назадъ, не къ живому, а къ мертвому. Великолѣпно выразилъ это Чеховъ въ письмѣ къ С. Дягилеву; письмо это перепечатано Д. Мережковскимъ въ одной изъ его книгъ (XIII, 79).

„Вы пишете, что мы говорили о серьезномъ религіозномъ движеніи въ Россіи,—говоритъ Чеховъ. — Мы говорили про движеніе не въ Россіи, а въ интеллигенціи. Про Россію я ничего не скажу, интеллигенція же пока только играетъ въ религію, и главнымъ образомъ отъ нечего дѣлать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла отъ религіи и уходитъ отъ нея все дальше и дальше, чтобы тамъ ни говорили и какія бы философско-религіозныя общества ни собирались. Хорошо это или дурно — рѣшить не берусь, скажу только, что религіозное движеніе, о которомъ вы пишете, само по себѣ, а вся современная культура — сама по себѣ, и ставить вторую въ причинную зависимость отъ перваго — нельзя [1]). Теперешняя культура — это начало работы во имя великаго будущаго, работы, которая будетъ продолжаться, быть можетъ, еще десятки тысячъ лѣтъ для того, чтобы хотя въ далекомъ будущемъ человѣчество познало истину настоящаго Бога— т. е. не угадывало бы, не искало бы въ Достоевскомъ, а

---

[1]) Чеховъ несомнѣнно имѣетъ здѣсь въ виду слѣдующія знаменитыя слова Д. Мережковскаго: „русскимъ людямъ новаго религіознаго сознанія слѣдуетъ помнить, что отъ какого-то неуловимаго послѣдняго движенія воли въ каждомъ изъ нихъ, — отъ движенія атомовъ, можетъ быть, зависятъ судьбы европейскаго міра"... (XI).

познало ясно, какъ познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура это начало работы, а религіозное движеніе, о которомъ мы говорили, есть пережитокъ, уже почти конецъ того, что отжило или отживаетъ"...

Эта прекрасная оцѣнка „новаго религіознаго движенія"— осиновый колъ въ могилу вѣрованій Д. Мережковскаго. Человѣку не дано власти воскрешать мертвое — и какъ характерно, что Д. Мережковскій спасаясь отъ дождя прыгнулъ въ воду, ища спасенія отъ мертвенности обратился не къ живому настоящему и будущему, а къ мертвому прошлому... „Будьте не мертвыя, живыя души — говоритъ Д. Мережковскій въ послѣднихъ строкахъ своей книги о Гоголѣ (XII), и спрашиваетъ: — что намъ дѣлать, чтобы исполнить этотъ завѣтъ? Одни говорятъ: нельзя быть живымъ, не отрекшись отъ Христа. Другіе: нельзя быть христіаниномъ, не отрекшись отъ жизни. (Замѣчу въ скобкахъ: и то, и другое утверждаетъ В. Розановъ; здѣсь не раздѣленіе, здѣсь соединеніе. — И. Р.). Или жизнь безъ Христа, или христіанство безъ жизни. Мы не можемъ принять ни того, ни другого. Мы хотимъ, чтобы жизнь была во Христѣ и Христосъ въ жизни. Какъ это сдѣлать?".

Съ такимъ вопросомъ обращается Д. Мережковскій къ современной православной церкви... Не намъ, слѣдовательно, отвѣчать на него. Но мы можемъ отвѣтить на начало этого вопроса: что Д. Мережковскому дѣлать, чтобы исполнить завѣтъ—будьте не мертвыя, а живыя души?.. Мы знаемъ: для этого надо любить живого, реальнаго человѣка, а не отвлеченное понятіе о немъ, хотя-бы персонифицированное въ любомъ историческомъ или миѳическомъ лицѣ. Но...—

И хочу, да не въ силахъ любить я людей:
Я чужой среди нихъ...
И мнѣ страшно всю жизнь не любить никого.
Неужели навѣкъ мое сердце мертво?
Дай мнѣ силы, Господь, моихъ братьевъ любить!

Но «силы» этой Богъ ему не далъ. Напрасны всѣ мольбы, напрасна вѣра въ безсмертіе, въ будущую жизнь: здѣсь— нѣтъ для него жизни, здѣсь онъ проходитъ по землѣ, «какъ призракъ темный... отверженный, бездомный и бѣдный

послѣднихъ бѣдняковъ», проходитъ мертвый среди живыхъ, неся въ душѣ «къ людямъ—великое презрѣнье» (III, 6). И живые люди отшатываются отъ этой мертвой души, какъ ни трогательны его донъ-кихотскія черты, его безсильная любовь къ Дульцинеѣ, которая «въ красной юбкѣ, въ пятнахъ дегтя» сидитъ «надъ кучами навоза», и которую онъ готовъ считать первой красавицей міра... Безумное стремленіе мертваго человѣка къ жизни, хотя-бы потусторонней—трогательно, возвышенно и свято, но это не помогаетъ ему исполнить завѣтъ: будьте не мертвыя, а живыя души. Въ этомъ онъ трагически безсиленъ—и въ трагедіи этой есть и красота, и благородство, и трогательность; нѣтъ только возможности стать изъ мертваго живымъ. Ибо для этого нужна любовь къ человѣку, а ея у Д. Мережковскаго нѣтъ, не было и не будетъ.

VII.

«Надо разумѣть безусловный, религіозный, человѣческій, божескій смыслъ этихъ двухъ словъ — «душа» и «смерть», чтобы выраженіе мертвыя души зазвучало престранно и даже престрашно»,—говоритъ Д. Мережковскій въ своей книгѣ о Гоголѣ. И однако же самъ онъ признаетъ, что есть люди, признакомъ которыхъ является именно мертвая душа. «Вотъ отчего такъ страшно съ ними,—продолжаетъ Д. Мережковскій:—это—страхъ смерти, страхъ живой души, прикасающейся къ мертвымъ» (XII, 56—63). Страшно, да; но есть еще и другое чувство, которое мы испытываемъ въ присутствіи такихъ мертвыхъ людей: это чувство томительной скуки. Есть у А. Ремизова два разсказа, героями которыхъ являются именно такіе мертвые люди: одинъ изъ нихъ вызываетъ чувство страха (разсказъ «Жертва»), другой (разсказъ «Чертопханецъ») — чувство скуки, томительной и безконечной. И самъ такой человѣкъ испытываетъ въ мірѣ мучительную сѣрую скуку, отъ которой нѣтъ спасенія.

Именно эта мертвенная скука сопровождаетъ Д. Мережковскаго черезъ всю жизнь, а читателя—черезъ все «мертвое мастерство» Д. Мережковскаго. Откройте поэтическую автобіографію этого писателя,—его «Старинныя октавы» («Octa-

ves du passé»), — и сразу на васъ повѣетъ мертвымъ дыханіемъ скуки,—скуки той жизни, которая рисуется въ этихъ октавахъ. «Скукою томительной царилъ въ семьѣ казенный духъ, порядокъ вѣчный», — такъ начинается автобіографія Д. Мережковскаго, его жизнь «въ мертвомъ домѣ» (по его же выраженію). И это—лейтмотивъ всего произведенія... «Томительная скука сердце давитъ», — все это рефрены пѣсни жизни Д. Мережковскаго. И даже «лампа блѣдная горитъ, скучая» въ этомъ «мертвомъ домѣ», символѣ всей жизни Д. Мережковскаго. «Только-бъ мертвую скуку въ груди заглушить!» — тоскливо восклицаетъ Д. Мережковскій (I, 48), онъ предчувствуетъ въ своей жизни «дни, мѣсяцы, года тяжелой, мертвой скуки» (I, 52). И немудрено: для него, мертваго, жизнь и скука—синонимы: «все замерло въ груди— лишь чувство бытія томитъ безжизненною скукой» (I, 99). И еще, и еще: «мы въ нашемъ *я*, ничтожномъ и пустомъ, томимся одиночествомъ и скукой»; «намъ какъ-то скучно... въ сердцѣ мрачно, какъ въ могилѣ» (II, 119). Онъ бодрится: «не бойся мертвой скуки» (III, 59), но онъ близокъ къ истинѣ, когда вопрошаетъ:

Почему такъ скучно жить?
Или, мертвые, умѣемъ
Только мертвыхъ хоронить?

Да, здѣсь онъ близокъ къ истинѣ... И еще ближе къ ней онъ въ болѣе позднемъ стихотвореніи, гдѣ онъ почти догадался о томъ, кто онъ и что онъ:

Такъ жизнь ничтожествомъ страшна,
И даже не борьбой, не мукой,
А только безконечной скукой
И тихимъ ужасомъ полна,
Что кажется—я не живу,
И сердце перестало биться,
И это только наяву
Мнѣ все одно и то-же снится.
И если тамъ, гдѣ буду я,
Господь меня, какъ здѣсь, накажетъ,—
То будетъ смерть, какъ жизнь моя,
И смерть мнѣ новаго не скажетъ... (IV, 64).

Поразительно! Это граничитъ съ ясновидѣніемъ... Вся сущность этой моей статьи заключена въ этихъ немногихъ

строкахъ, въ которыхъ Д. Мережковскій сознательно или безсознательно открылъ самого себя: мнѣ оставалось только показать и доказать, что такое самопониманіе — глубоко соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

Да, глубоко искрененъ, какъ всегда, Д. Мережковскій, когда мы слышимъ отъ него еще и такое признаніе:

Все мимолетно—радости и мука,
Но вѣчное проклятіе боговъ—
Не смерть, не старость, не болѣзнь, а скука...
О, темная владычица людей,
Какъ рано я узналъ твои морщины,
Недвижный взоръ твоихъ слѣпыхъ очей,
Лицо, мертвѣе сѣрой паутины...

А въ особомъ стихотвореніи «Скука» Д. Мережковскій жаждетъ смерти, лишь бы избавиться отъ скуки: «страшнѣй, чѣмъ горе, эта скука»... Но тотъ, кто видитъ спасеніе отъ скуки только въ смерти,—тотъ уже давно не живетъ, тотъ уже давно мертвъ душевно, о томъ можно только сказать извѣстными стихами Полежаева:

Всѣмъ на свѣтѣ чужой,
Никого не любя.
Въ мірѣ странствую я,
Какъ вампиръ гробовой...

И эта же самая скука сопровождаетъ читателя черезъ всѣ пятнадцать — двадцать томовъ сочиненій Д. Мережковскаго. Это скука—особаго рода: скука живой души, прикасающейся къ мертвому,—говоря словами самого Д. Мережковскаго, слегка измѣненными. Прочесть четыре тома его стиховъ врядъ ли кому подъ силу, безъ продолжительныхъ роздыховъ: сѣрая паутина мертвой скуки охватываетъ душу читателя. «Трилогію» легче читать: въ ней есть хоть интересъ фабулы, хоть ловко схваченныя положенія, не говоря уже о литературномъ «мастерствѣ»; но когда уяснишь себѣ сущность этого мастерства, вскроешь причину вѣчныхъ словесныхъ антитезъ, поймешь эту ледяную игру разума, то торопишься скорѣе выйти изъ этого мертваго царства, вполнѣ признавая даже его красивость. Читая критическія изслѣдованія Д. Мережковскаго, часто любуешься игрой разума, иной разъ тонко схваченными деталями — и отсту-

паешь передъ схематичностью цѣлаго, передъ мертвымъ, въ устахъ Д. Мережковскего, Богомъ, мертвымъ Христомъ,— а этими именами пестрятъ цѣлыя страницы.

Скука— „тайная язва души, скука“, „безнадежная скука“, „скучающее любопытство“, „скучающая покорность“: вотъ эпитеты, которые съ добрый десятокъ разъ встрѣчаются хотя-бы въ одномъ „Леонардо“ Д. Мережковскаго. Все скучно, ибо все мертво. Все скучно и все мертво—ибо такъ одиноко. „Нечеловѣческіе голоса ночного вѣтра говорили о понятномъ человѣческому сердцу, родномъ и неизбѣжномъ— о послѣднемъ одиночествѣ въ страшной, слѣпой темнотѣ въ лонѣ отца всего сущаго, древняго Хаоса—о безпредѣльной скукѣ міра“ (VIII, конецъ книги XIV-ой). Вотъ что слышитъ и чувствуетъ Д. Мережковскій въ своемъ послѣднемъ одиночествѣ: мы снова возвращаемся къ тому, съ чего начали рѣчь о Д. Мережковскомъ. Но теперь мы знаемъ, почему онъ такъ фатально одинокъ; мы теперь знаемъ, отчего Д. Мережковскій—

Томимый грустью непонятной—
Всегда чужой въ толпѣ людей... (II, 256).

Да, онъ самъ всегда сознавалъ свое одиночество, не всегда понимая его глубокія причины. Разное бываетъ одиночество, и напримѣръ, одиночество Л. Толстого сказавшаго: „мнѣ надо самому одному жить, самому одному и умереть“— совсѣмъ не то, что одиночество Д. Мережковскаго, тоже вѣдь заявлявшаго когда-то: „я жилъ одинъ, одинъ умру“ (III, 39). Только зная ключъ ко всей дѣятельности Д. Мережковскаго, можно понять причины его одиночества.

Я не люблю родныхъ моихъ, друзья
Мнѣ чужды, бракъ—тяжелая обуза.
Въ томительной пустынѣ бытія
Гонимая, отверженная Муза—
Единственная спутница моя... (IV, 246).

Ему хотѣлось бы объяснить свою „отверженность“ приблизительно такъ-же, какъ объясняетъ онъ своего Юліана Отверженнаго или Леонардо. Юліанъ молится Аполлону: „благодарю тебя за то, что я проклятъ и отверженъ, какъ ты, за то, что одинъ я живу и одинъ умираю, какъ ты“...

А говоря о Леонардо, Д. Мережковскій объясняетъ причины этого одиночества: „онъ подобенъ былъ человѣку, проснувшемуся въ темнотѣ, слишкомъ рано, когда всѣ еще спятъ. Одинокій среди ближнихъ, писалъ онъ свои дневники сокровенными письменами для дальняго брата, и для него, въ предутренней мглѣ, пустынный пахарь, вышелъ въ поле пролагать таинственныя борозды плугомъ съ упрямою суровостью“...

Такъ понимаетъ и самъ себя Д. Мережковскій—это легко можно увидѣть, обращясь къ его лирикѣ. Но это—одиночество генія, опередившаго свое время; Д. Мережковскій можетъ обольщать себя подобной мечтой, но не прельститъ онъ ею другихъ—по крайней мѣрѣ тѣхъ, которымъ удалось вскрыть болѣе глубокія причины его одиночества. Эти причины—мы видѣли—онъ иногда сознаетъ; но иногда спѣшитъ спрятаться отъ нихъ, уйти отъ своего одинокаго „я“ въ какое-нибудь коллективное „мы“—хотя бы этотъ „коллективъ“ и состоялъ всего изъ трехъ человѣкъ,—Д. Мережковскаго, Д. Философова и г-жи Мережковской-Гиппіусъ, которые такъ и пишутъ en trois коллективныя драмы, коллективныя книги... „Дѣло не въ численномъ количествѣ,—замѣчаетъ Д. Мережковскій:—...какая таинственная неодолимая сила и власть въ этомъ троичномъ символѣ: 1, 2, 3“ (XIII, 164).

Три — это всетаки не одиночество; есть возможность спрятаться за „мы“. Достоевскій не сознавалъ,—говоритъ въ одномъ мѣстѣ Д. Мережковскій,—что чортъ есть начало серединное: „если-бы онъ это созналъ, то былъ бы весь н а ш ъ, а таковъ какъ теперь, онъ только почти н а ш ъ, хотя мы и надѣемся, что... будетъ совсѣмъ н а ш ъ“... Съ какимъ упоеніемъ повторяетъ онъ здѣсь „нашъ, нашъ, нашъ“: видите, онъ н е о д и н ъ такъ думаетъ, онъ не одинъ такъ вѣритъ, есть какое-то коллективное „мы“, отъ лица котораго онъ въ правѣ говорить... Какое это утѣшеніе для одинокаго въ своей мертвенности человѣка! Какое счастье хоть словесно слить себя съ живыми людьми и сказать: „я—членъ образованнаго русскаго общества... По мнѣ можно судить если не о всѣхъ, то о множествѣ подобныхъ мнѣ“... (XVII, 120). Какое это удовольствіе говорить „о н а с ъ в с ѣ х ъ“—вѣрующихъ и думающихъ одинаково съ Д. Ме-

режковскимъ: „сказанное мною принадлежитъ не мнѣ одному, а намъ всѣмъ, идущимъ отъ церкви Петровой къ церкви Іоанновой" (XIV, 50; ср. XIII, 181); или: „говорю не отъ себя одного, но и отъ многихъ" (XVII, 312). Или еще: „религіозной работѣ посвящена моя—наша жизнь" (XIII, 169). Въ этомъ намѣренномъ подчеркиваніи—какая радость души, осужденной на одиночество мертваго среди живыхъ! И какъ подчеркиваетъ онъ это „мы, мы мы",—хотя бы это „мы" было всего одинъ, два, три—и обчелся. И хотя „въ этомъ троичномъ символѣ, 1, 2, 3 есть таинственная, неодолимая сила и власть", однако какъ радуется Д. Мережковскій, когда ему удается хоть на преходящее мгновеніе залучить въ эту троицу („трое насъ, трое васъ, помилуй насъ"...) кого-нибудь четвертаго... Какъ онъ радуется: „вотъ уже въ литературѣ я не одинъ. Вы со мною? Или, можетъ быть, я съ Вами? Не все-ли равно? Главное—мы вмѣстѣ. Вы полюбили не меня, а мое. Это великая радость. Ибо для меня литература—вторая жизнь, не менѣе глубокая, чѣмъ первая"... (XIII, 164). Но если литература его есть мертвое мастерство, то и „первая" его жизнь является только истокомъ его литературной мертвенности...

Трое ихъ, четверо или хоть въ сто разъ больше—ничѣмъ не спастись Д. Мережковскому отъ одиночества мертваго среди живыхъ. „Мы безконечно одиноки"; „одиноки теперь мы всѣ" (II, 65, 118)—пусть Д. Мережковскій подчеркиваетъ это „мы",—онъ все-же говоритъ только о самомъ себѣ. И опять таки только о себѣ самомъ говоритъ онъ, думая, что говоритъ вообще о человѣкѣ:

Ты, бѣдный человѣкъ
Въ любви, и въ дружбѣ и во всемъ
Одинъ, одинъ навѣкъ!.. (II, 209).

Это вѣчная его судьба. Онъ кричитъ—отъ него отходятъ, онъ пророчествуетъ — его не слушаютъ, онъ проповѣдуетъ новую религію — и остается пастыремъ безъ стада. Вѣчное одиночество. Иногда онъ не выдерживаетъ, онъ «вопитъ», какъ раненый звѣрь: «лучше быть шутомъ гороховымъ, чѣмъ современнымъ пророкомъ. Лучше бить камни для мостовой, чѣмъ называться учителемъ»... (XVIII, 201). Иногда онъ самъ открываетъ — себѣ и другимъ — причины своего

одиночества, но потомъ, съ вѣчной скукой въ душѣ, снова начинаетъ свою проповѣдь въ пустынѣ. Кое-чего онъ этой проповѣдью достигъ: онъ добился славы, сталъ извѣстенъ европейской читающей публикѣ — ей онъ пришелся болѣе по плечу, чѣмъ Толстой или Достоевскій, которыхъ въ Европѣ почти никто не понимаетъ, которыхъ даже знаютъ только въ отвратительныхъ переводахъ—передѣлкахъ. Даже въ Россіи кое-кто изъ услужливыхъ рецензентовъ возложилъ на него послѣ смерти Л. Толстого царскій вѣнецъ. И въ результатѣ—все то-же мертвенное одиночество. Когда-то онъ былъ одинокъ и видѣлъ на себѣ вѣнецъ забвенья:

Сладокъ мнѣ вѣнецъ забвенья темный.
Посреди ликующихъ глупцовъ,
Я иду, отверженный, бездомный
И бѣднѣй послѣднихъ бѣдняковъ... (Ш, 6).

Теперь на него возлагаютъ царскій вѣнецъ—и въ немъ еще болѣе жалкимъ является этотъ пастырь безъ стада, вѣчно одинокій человѣкъ, мертвый среди живыхъ:—

И жалокъ самъ себѣ въ коронѣ золотой,
Я, призрачный монархъ—надъ призрачной толпой...
(II, 331).

И теперь для насъ уже понятно, почему такимъ кощунственнымъ является возведеніе Д. Мережковскаго на тронъ Толстого, почему такимъ невыносимымъ явилось бы сопоставленіе его съ Толстымъ, какъ художникомъ. Тутъ дѣло не въ величинѣ дарованій: конечно, смѣшно сравнивать въ этомъ отношеніи «Трилогію» Д. Мережковскаго съ «Войной и миромъ» Л. Толстого; но даже если бы такое сравненіе было возможно, если бы мертвое мастерство Д. Мережковскаго могло быть сравниваемо по размѣру съ живымъ творчествомъ Л. Толстого, то все-же сравненіе это сдѣлалось бы тѣмъ кощунственнѣе. Дѣло тутъ не въ количествѣ, а въ качествѣ, не въ размѣрѣ, а въ сущности дарованія: мертвое мастерство и живое творчество несоизмѣримы, приравнивать мертвое живому—кощунственно... Не великое и малое, а живое и мертвое—вотъ основной контрастъ между великимъ писателемъ земли русской и великимъ мертвецомъ русской литературы.

Мертвое мастерство Д. Мережковскаго—достаточно крупное явленіе, чтобы о немъ слѣдовало говорить подробно; но ужъ если говорить, то безъ недомолвокъ. Трогательныя попытки Д. Мережковскаго пріобщиться ко всему живому—не снимаютъ съ критика обязанности сказать то, что почти всякій чувствуетъ, но не всякій сознаетъ въ мастерствѣ Д. Мережковскаго. Глубокая искренность, совершеннѣйшая «благонамѣренность» всей дѣятельности Д. Мережковскаго — для меня несомнѣнны; я думаю, что онъ глубоко правъ, говоря о себѣ:

Я сердцемъ чистъ, я дѣлалъ все, что могъ,—
Тебя, о Муза, оправдаетъ Богъ... (IV, 248).

Но вотъ тутъ-то и возникаетъ вопросъ: почему чистый сердцемъ, «благонамѣренный», очень талантливый человѣкъ, славный въ Европѣ и Австраліи, — умираетъ подъ гнетомъ мертвеннаго одиночества?

На этотъ вопросъ надо или промолчать, щадя если не живого, то живущаго; или отвѣтить искренно и правдиво по слову — «magis amica veritas». Надо было или молчать, или сказать.

Но разъ все сказано безъ недомолвокъ, то все становится яснымъ. Д. Мережковскаго называютъ «иностранцемъ» въ русскомъ обществѣ, русской литературѣ. Въ этомъ есть истина,—но не вся. Точно ли только у насъ онъ «иностранецъ»? Не всюду ли былъ и есть онъ такимъ въ своемъ мертвомъ мастерствѣ, мертвомъ богоискательствѣ? Онъ «иностранецъ» вездѣ, онъ иностранецъ всему живому, онъ пророкъ и пастырь не живыхъ, но мертвыхъ,—и потому онъ пастырь безъ стада, былъ имъ, есть и будетъ. Это отвѣтъ самой жизни на вопросъ о причинѣ гнетущаго одиночества Д. Мережковскаго.

Какъ-то разъ въ полемикѣ съ Д. Мережковскимъ кн. Е. Трубецкой проронилъ удачное .замѣчаніе, что въ словахъ Д. Мережковскаго проглядываетъ «трупная психологія». Въ отвѣтъ на это Д. Мережковскій написалъ, что «назвать живого человѣка трупомъ есть мысленное человѣкоубійство» и что «если я кричу отъ боли, значитъ я еще не трупъ». Да, это вѣрно, онъ кричитъ отъ боли,—но боль эта въ томъ,

что не дано ему растопить свое ледяное, мертвое сердце. И потому, думается мнѣ, что если назвать живого человѣка трупомъ, значитъ совершить мысленное человѣкоубійство, то назвать мертвое—мертвымъ, значитъ воздать должное и мертвымъ, и живымъ.

1911 г.

Юродивый русской литературы.

I.

Русская литература имѣетъ своихъ героевъ, имѣетъ великихъ людей; есть великій Пантеонъ, но есть и „задній дворъ“ литературы. Почему-бы не имѣть ей и своего юродиваго? — Съ давнихъ поръ эту роль въ русской литературѣ съ успѣхомъ играетъ В. Розановъ.

Время юродивыхъ прошло, типъ ихъ измѣнился, само слово получило новый оттѣнокъ, заволоклось дымкой презрѣнія, насмѣшки, сожалѣнія. А между тѣмъ „Христа ради юродивый“ — это глубоко трогательный и интересный типъ, нашъ, русскій типъ XIV—XVIII вѣка. И даже въ XIX вѣкѣ Л. Толстой и Гл. Успенскій зарисовали современные имъ народные типы — Гриши и Парамона юродиваго. „Юродство“ это иногда бывало дѣйствительно нравственнымъ или душевнымъ уродствамъ, но чаще оно соединялось съ глубокой душевной чуткостью и красотой; часто было оно также тяжелымъ крестомъ, обѣтомъ, искусомъ; часто было при этомъ единственной возможностью высказыванія правды сильнымъ міра сего. И если иногда „юродство“ было связано съ извѣстной долей „скудоумія“, въ нѣкоторой области, — то въ другихъ случаяхъ великія силы ума прятались за искусъ и обѣтъ вѣчнаго юродства. Примѣрами полна вся исторія Россіи среднихъ вѣковъ.

Времена измѣнились—и юродство въ наше время совсѣмъ уже иное. Теперь вы чаще встрѣтите другое юродство— юродство нравственной и умственной распущенности, юродство истинно-русскаго хамства. Задерживающіе центры

слабы—и такой юродивый, иногда совсѣмъ нервно-больной, можетъ скрываться теперь и подъ рясою монаха, и подъ званіемъ члена парламента: примѣры этого каждый вспомнитъ легко—не перевелись еще на Руси такого рода юродивые. Теперь имъ незачѣмъ ходить босыми по снѣгу, носить пудовыя вериги: — Парамоны юродивые уступаютъ мѣсто юродивымъ себѣ-на-умѣ. Иной разъ, повторяю, это люди совершенно больные, только по ошибкѣ не отданные подъ надзоръ врача; иной разъ опять таки—это люди себѣ-на-умѣ, ловко прикрывающіеся юродствомъ для достиженія своихъ вполнѣ опредѣленныхъ практическихъ цѣлей, для совершенія своихъ темныхъ дѣлъ и дѣлишекъ. И въ томъ и въ другомъ случаѣ отъ этого юродства-модернъ идетъ волна истинно-русскаго хамства; этихъ юродивыхъ поистинѣ можно было бы назвать не во Христѣ, а „во Хамѣ юродивыми".

Кто-же В. Розановъ? „Во Христѣ юродивый"? „Во Хамѣ юродивый"? Ни тотъ, ни другой, или, если угодно, серединка на половинку. В. Розановъ—самъ по себѣ; юродство его (особенно за послѣднее время) часто бываетъ себѣ-на-умѣ, часто заливается оно волной истинно-русскаго хамства; но многое здѣсь является только тяжелымъ, хотя и мало сознаваемымъ, крестомъ этого оригинальнѣйшаго изъ современныхъ русскихъ писателей. Сперва видишь только отталкивающія черты „во Хамѣ юродиваго", и лишь постепенно пріучаешь себя обращать фокусъ вниманія не на эту грязную внѣшнюю оболочку, а на главное, на внутреннее, на существенное. Но и мимо этого внѣшняго нельзя пройти, не охарактеризовавъ его нѣсколькими рѣзкими словами.

Страшная распущенность—литературная, писательская — вотъ характернѣйшая черта В. Розанова, черта одинаково обрисовывающая и внѣшнюю и внутренюю сторону его писаній. Разнообразнѣйшія мысли, и мысли — мы увидимъ — иной разъ интересныя и замѣчательныя, вихремъ вращаются въ его головѣ; но онъ обыкновенно не даетъ себѣ труда привести ихъ въ ясность для самого себя. Внѣшняя форма его произведеній, особенно его книгъ послѣднихъ лѣтъ, — это нѣчто невѣроятное: поистинѣ это „стриженная лапша", какъ мѣтко выражается самъ В. Розановъ въ предисловіи къ одной изъ своихъ книгъ

(„Природа и исторія“). Полностью перепечатана чужая статья; за ней—полемическій отвѣтъ самого В. Розанова; примѣчанія къ этой статьѣ редактора того журнала, гдѣ статья эта впервые печаталась; подъ этими примѣчаніями—еще этажъ возражающихъ примѣчаній В. Розанова, а иной разъ—и еще одинъ подвальный этажъ примѣчаній (см., напр., „Въ мірѣ неяснаго и не рѣшеннаго“, изд. 2-ое, стр. 113). Затѣмъ—рядъ писемъ неизвѣстныхъ лицъ къ В. Розанову, съ подробностями интимнаго свойства, ни для кого рѣшительно неинтересными, въ родѣ того, что нѣкій почтенный старецъ (его имя, отчество, фамилію и даже адресъ В. Розановъ приводитъ, конечно, полностью) на Іоническіе острова не попалъ, а изъ Одессы попалъ въ Ниццу, потомъ былъ въ Парижѣ, а Страстную и Святую провелъ уже въ Кіевѣ; что у этого почтеннаго старца есть третій сынъ, Дмитрій, и что третья дочь его, Маша, выходитъ за-мужъ и онъ ей готовитъ приданое (ibid, стр. 192—196)... Жаль, конечно, что неизвѣстный міру почтенный старецъ не попалъ на Іоническіе острова, и хорошо, что дочь его выходитъ замужъ; но кто же кромѣ юродиваго русской литературы будетъ извѣщать объ этомъ своихъ читателей?

Вотъ типичный внѣшній обликъ книгъ В. Розанова; достаточно перелистать хотя-бы одну изъ этихъ книгъ, названную выше, чтобы подивиться полнѣйшей писательской распущенности В. Розанова. Тутъ, конечно, есть доля себѣ-на-умѣ, доля хитренькаго юродства: вѣдь оригинально оно выходитъ, вѣдь никто такъ за панибрата съ читателями не обращается. Есть и другая причина, болѣе серьезная—о ней ниже. Но прежде всего и больше всего здѣсь, повторяю, полнѣйшая и намѣренная распущенность, появленіе въ обществѣ съ заспаннымъ лицомъ и въ растегнутомъ халатѣ. Когда-то, давно-давно, въ началѣ семидесятыхъ годовъ, Михайловскій иронически называлъ „человѣкомъ въ халатѣ“ М. Погодина и смѣялся, что въ одной изъ своихъ будущихъ книгъ Погодинъ непремѣнно напечатаетъ счета отъ своей прачки. Дѣйствительно, Погодинъ всѣхъ смѣшилъ своей литературной неряшливостью, тоже печаталъ письма, возраженія, примѣчанія (см., напр., его курьезную „Простую рѣчь о мудреныхъ вещахъ“); но по сравненію съ В. Розановымъ это былъ просто строгій и сдержанный классикъ! И

хотя Михайловскій такъ-таки и не дождался опубликованія счетовъ прачки М. Погодина (впрочемъ это отчасти сдѣлалъ Барсуковъ въ двадцатитрехъ-томной и неоконченной біографіи Погодина), однако онъ дожилъ до появленія книгъ В. Розанова съ извѣстіями о почтенномъ старцѣ, готовящемъ приданое для дочери Маши. Въ свое время Михайловскій очень порадовался этому обстоятельству—что Маша замужъ выходитъ—на страницахъ „Русскаго Богатства"... И если неряшливаго М. Погодина онъ называлъ человѣкомъ въ халатѣ, то распущенный В. Розановъ вполнѣ заслуживаетъ названія человѣка въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. И къ тому же—слишкомъ часто бѣлье это на немъ бываетъ грязное...

Распущенность во внѣшней формѣ книгъ — и такая же распущенность въ ихъ внутреннемъ содержаніи. Съ примѣрами этого еще часто будемъ мы встрѣчаться ниже. Что теперь, сейчасъ, сію минуту придетъ въ голову В. Розанову, то онъ немедленно-же и выкладываетъ передъ читателями, не провѣривъ, не обдумавъ, не переработавъ. Отъ этого — въ писаніяхъ его мы найдемъ такое количество невѣроятнѣйшаго вздора, какое рѣшительно является достигнутымъ міровымъ рекордомъ. Въ каждой его книгѣ, въ каждой статьѣ, на каждой страницѣ... Примѣровъ такъ много, такое богатство выбора, что не знаешь, на чемъ и остановиться. Ну, вотъ хотя бы слѣдующій, напримѣръ, пассажъ: въ юбилейной статьѣ о Бѣлинскомъ („Новое Время", 28 мая 1911 г.), въ которой „пять шесть найдется мыслей здравыхъ" на кучу вздора и мякины, В. Розановъ съ апломбомъ заявляетъ, что-де Бѣлинскій такъ любилъ ферулу, порядокъ, авторитетъ, что никогда не жаловался на притѣсненія цензуры, никогда они его не стѣсняли, не ограничивали... У маленькаго гимназистика, чуть-чуть знакомаго съ Бѣлинскимъ, глаза на лобъ вылѣзутъ отъ этого потрясающаго вздора: гимназистикъ знаетъ, какими кровавыми слезами плакалъ Бѣлинскій всю свою журнальную жизнь, вися на дыбѣ николаевской цензуры. А вотъ В. Розановъ печатаетъ, ничто-же сумняся, этотъ вздоръ и преподноситъ его взрослымъ читателямъ „большой газеты".

Это только небольшой, крохотный примѣрчикъ; вспомните, что В. Розановъ нѣсколько разъ въ недѣлю помѣща-

етъ статьи въ „Новомъ Времени", что въ каждой, непремѣнно въ каждой изъ такихъ статей вы найдете какую-нибудь подобную нелѣпость — и вамъ станетъ понятно, почему В. Розановъ могъ поставить міровой рекордъ количествомъ вздора, неизбѣжно вкрапленнаго въ его статьи. Это его органическій дефектъ, это все та-же писательская распущенность, печатаніе всего, что только въ голову придетъ. Въ вопросахъ соціальныхъ, въ области естествознанія, въ исторіи литературы и во многихъ другихъ областяхъ — В. Розановъ полнѣйшій невѣжда: по собственному своему признанію — онъ лѣнивъ, читать не любитъ, учиться ему поздно: но посмотрите, съ какимъ апломбомъ выкладываетъ онъ многообразный свой вздоръ передъ своими почтенными читателями... Часто онъ съ одинаковымъ апломбомъ говоритъ сегодня — одно, завтра — діаметрально противоположное; и это не потому, чтобы онъ за этотъ одинъ день убѣдился въ противоположномъ, а просто потому, что — „покупатель выпьетъ", какъ „съ убѣжденіемъ" говоритъ въ сценкѣ Горбунова экспертъ о какомъ-то дряннѣйшемъ винѣ. Читатель — все прочтетъ. Тутъ полное неуваженіе не къ одному читателю, тутъ такое же, еще болѣе острое неуваженіе къ самому себѣ, тутъ полнѣйшая литературная распущенность, невѣжество съ юродствомъ пополамъ.

И чѣмъ дальше идетъ В. Розановъ по своему писательскому пути, тѣмъ онъ становится развязнѣе и распущеннѣе—особенно съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ „вліятельнымъ сотрудникомъ" и публицистомъ большой и распространенной въ извѣстныхъ кругахъ газеты („Новое Время"). Кстати сказать, онъ пишетъ—подъ псевдонимомъ—и въ другой газетѣ, тоже очень распространенной въ совершенно другихъ кругахъ („Русское Слово"); въ этой второй газетѣ онъ ведетъ себя приличнѣе—сдерживается, но зато сплошь да рядомъ говоритъ въ ней какъ разъ противоположное тому, что въ то-же самое время пишетъ въ первой газетѣ. Въ первой—онъ консервативенъ, благонамѣренъ, услужливъ, почтителенъ къ начальству; во второй—либераленъ, вольнодуменъ, порою дерзокъ; въ первой передъ читателями—хамски-угодническое, во второй — благородно-либеральное лицо двуликаго Януса. Надо прибавить, правда, что истин-

ное лицо его—первое, а второе—если не маска, то во всякомъ случаѣ легкая гримировка; но какъ бы то ни было—можетъ ли писательская распущенность, литературное юродство идти дальше? И можно-ли безъ рѣзкаго негодованія говорить объ этой „публицистической“ сторонѣ дѣятельности этого юродиваго русской литературы?

Но и вообще вся публицистика его на оба фронта—одно сплошное недоразумѣніе. „Я старъ, чтобъ волноваться волненіями общества. При томъ — люблю нумизматику, т. е. науку изумительно успокоительно дѣйствующую на нервы. И самъ въ картинахъ никакихъ не измѣнюсь“,—это В. Розановъ писалъ въ апрѣлѣ 1905 года, при первыхъ вспышкахъ русской революціи, хотя и прибавлялъ: „я, несмотря на весь свой консерватизмъ, люблю даже революцію—т. е. читать о ней (!). Все таки картина“. Въ октябрѣ 1905 года—какое время!—его приглашаютъ пойти на митингъ, но онъ отвѣчаетъ: „до митинговъ... мнѣ дѣла нѣтъ. Я человѣкъ старый и лѣнивый. Да и до политики немного дѣла: жилъ и живу въ своемъ углу“... И это—присяжный публицистъ двухъ газетъ! На митингъ всетаки онъ пошелъ, утѣшаясь: „эхъ, не будь я Обломовъ, непремѣнно сталъ бы Мирабо“... А въ другой разъ признался: „правда, я даже не вышелъ на улицу. Но это ужъ мое несчастіе. Это недостатки моей личности“... Конечно, но зачѣмъ же тогда и пытаться быть публицистомъ? Зачѣмъ писать о политикѣ, о государствѣ, о правѣ такому человѣку, который съ ужимкой юродиваго признается: „я человѣкъ ancien rêgime, и мнѣ на законы всегда было „наплевать“, какъ Коробочкѣ, Собакевичу и прочимъ“... Зачѣмъ либерально дерзить передъ начальствомъ такому человѣку, который подъ видомъ шутки говоритъ о себѣ глубокую правду: „я, по ancien régime, каждаго полицейскаго почитаю своимъ начальствомъ, а въ конкѣ—даже и кондуктора конки“... Вѣдь это-же Передоновъ, тотъ самый Передоновъ, о которомъ В. Розановъ сердито писалъ, что-де это клевета, небывальщина, что-де „я самъ“ былъ учителемъ провинціальной гимназіи, а Передонова никогда не видалъ... Помните героиню басни Крылова, которая, „въ зеркалѣ увидя образъ свой“, стала негодовать и возмущаться: „что это тамъ за рожа? Какія у нея ужимки и прыжки! Я удавилась бы съ тоски, когда бы на нее хоть

чуть была похожа!...“ Ахъ, многое знакомое намъ по предыдущимъ строкамъ есть въ Передоновѣ: и истинно-русское хамство, и хитренькое себѣ на-умѣ, и невѣжество, и безсознательное юродство, и даже трепетъ передъ каждымъ городовымъ. Но что это было-бы, если-бъ Передоновъ сталъ заниматься на два фронта публицистикой?

Когда все это „ставятъ на видъ“ В. Розанову, когда ловятъ его на противорѣчіяхъ, на невѣжествѣ, на двуличіи—онъ начинаетъ продолжительно и неистово браниться и гордо заявляетъ, что небесныя свѣтила свершаютъ путь свой по кривымъ линіямъ, а по прямой летаютъ только вороны... Бранится онъ грубо, площадно; брань его—своего рода unicum въ русской литературѣ. „Вотъ дуракъ!... Проклятые содомляне!.. Что за подлая мысль!.. О, дубинное разсужденіе!.. Болваны!..“—все это и еще многое, болѣе лапидарное, вы найдете на десяткѣ страницъ одной изъ послѣднихъ книгъ В. Розанова („Люди луннаго свѣта“). Но ему мало площадной брани по адресу противниковъ; полемику онъ понимаетъ, какъ обливаніе грязью съ головы до ногъ. И грязь эта настолько специфически-пахучая, что всякій противникъ немедленно же и съ отвращеніемъ покидаетъ поле битвы, предоставляя В. Розанову наслаждаться сознаніемъ побѣды. Лучшій примѣръ—полемика В. Розанова въ 1911 году съ г. Пѣшехоновымъ („Новое Время“—„Русскія Вѣдомости“), когда нашъ юродивый облилъ своего противника, кромѣ брани, еще и обвиненіемъ, что-де онъ былъ во время русской революціи подкупленъ японскими деньгами... Грязь эта, конечно, запачкала только самого В. Розанова; но какова уже должна быть распущенность литератора, который можетъ позволить себѣ, хотя-бы въ пылу полемики, подобную позорную выходку!

Вотъ почему на публицистику В. Розанова предпочитаютъ не обращать вниманія. Достоевскій разсказалъ какъ то басню о львѣ и свиньѣ—и басня эта всегда невольно приходитъ на умъ, когда сталкиваешься съ перлами „полемики“ В. Розанова. Разсердилась свинья на льва и вызвала его на поединокъ; пришелъ левъ на поле битвы, и свинья тоже пришла—только вываляласъ предварительно въ выгребной ямѣ (мягко выражаясь). Левъ повелъ носомъ, сморщился и поскорѣе убѣжалъ, а свинья осталась торжество-

вать побѣду... „Не дай Богъ никого сравненьемъ мнѣ обидѣть“,—но какъ-же иначе охарактеризовать неприличнѣйшую полемику юродиваго русской литературы? На его несчастіе—къ выгребной ямѣ ему недалеко ходить: подъ бокомъ у него такая признанная еще со временъ Салтыкова выгребная яма, какъ „Новое Время“... Что жъ удивительнаго, что отъ полемики съ В. Розановымъ отказываются не то что львы, но даже и гг. Пѣшехоновъ, Струве и другіе скромные писатели нашего времени?

Добрые друзья и сосѣди В. Розанова по выгребной ямѣ иной разъ именуютъ его на столбцахъ той же газеты: „почтенный В. В. Розановъ“, „благородный В. В. Розановъ“... Благородный Розановъ!—вотъ яркій примѣръ contradictionis in adjecto! И не даромъ въ предисловіи къ своей книгѣ „Когда начальство ушло“ В. Розановъ слишкомъ обобщенно говоритъ: „мы всѣ неблагородны“. Онъ правъ, ибо субъективенъ, ибо по истинѣ онъ въ этой области и въ этихъ своихъ поступкахъ—единственный въ своемъ родѣ „во Хамѣ юродивый“ русской литературы... И если бы В. Розановъ былъ только такимъ во Хамѣ юродивымъ, только невѣжественнымъ публицистомъ и разнузданнымъ полемистомъ, только безудержно распущеннымъ писателемъ — то стоило-бы развѣ о немъ говорить? Есть стало быть въ этомъ писателѣ что-то настолько цѣнное, что заставляетъ многихъ читателей надѣвать калоши, пачкаться о выгребную яму и переходить всю ту полосу грязи, которая окружаетъ собою литературную дѣятельность В. Розанова, начиная съ „Русскаго Вѣстника“, проходя черезъ „Гражданинъ“ и кончая „Новымъ Временемъ“.

Перефразируя слова самого В. Розанова (см. его „Литературные очерки“, стр. 217—218), можно сказать, что „имя Розанова и его книги окружены въ массѣ читающей публики зоною непреодолимаго предубѣжденія“. Иные, приведенные въ негодованіе публицистикой этого „во Хамѣ юродиваго“, такъ и остаются навсегда по-сю-сторону „зоны предубѣжденія“. Но эту „зону“ необходимо переступить, чтобы увидѣть и почувствовать то глубоко цѣнное и оригинальное, что даетъ русской литературѣ этотъ ея вѣчный юродивый.

II.

Первая книга В. Розанова—„О пониманіи“—появилась уже четверть вѣка тому назадъ (1886 г.). Книга эта—тяжелый философскій кирпичъ, не имѣющій никакой философской цѣны. Это сухой, элементарный и порою наивный „опытъ изслѣдованія природы, границъ и внутренняго строенія науки, какъ чистаго знанія“. На протяженіи почти тысячи страницъ В. Розановъ сосалъ свой собственный палецъ, часто уподобляясь незабвенному Кифѣ Мокіевичу. „Есть несуществованіе или его нѣтъ?— задавался вопросомъ В. Розановъ, и впослѣдствіи вспоминалъ: — „помню, надъ этимъ вопросомъ я съ ума сошелъ; это былъ истинно восхитительный для меня вопросъ“... „Несуществованія нѣтъ, есть только существованіе, ибо если бы несуществованіе было, то уже тѣмъ однимъ, что оно есть, оно заключало-бы въ себѣ существованіе, и слѣдовательно, было-бы существованіемъ“ („Природа и исторія“, стр. II). И такъ далѣе, въ томъ же родѣ, на десяткахъ и сотняхъ страницъ.

И въ позднѣйшихъ своихъ „философскихъ“ статьяхъ, соединенныхъ въ сборникѣ „Природа и исторія“, В. Розановъ продолжалъ итти по стопамъ Кифы Мокіевича. Вѣдь что, собственно говоря, составляло глубочайшее основаніе философскихъ недоумѣній Кифы Мокіевича?—Полное неумѣніе понять ретроспективность принципа цѣлесообразности, почему все и казалось Кифѣ Мокіевичу непонятнымъ, страннымъ, таинственнымъ, чудеснымъ... Кифа Мокіевичъ изумлялся и не понималъ—почему бы слону не родиться въ яйцѣ? „Какъ, право, того... совсѣмъ не поймешь натуры, какъ побольше въ нее углубишься!..“ Но если бы слонъ рождался въ яйцѣ, то скорлупа была бы, пожалуй, такая толстая, что и ядромъ не разбить; а потому—сколь чудесно устроенъ міръ и какъ велика божественная предусмотрительность! В. Розановъ разсуждаетъ буквально такъже; что я не шаржирую—въ этомъ каждаго убѣдятъ двѣ-три цитаты, взятыя наугадъ изъ „философскихъ“ статей В. Розанова. Напримѣръ:

„Бромъ отлагался въ клѣткахъ морскахъ водорослей гораздо ранѣе, чѣмъ появились нервныя разстройства у

человѣка; онъ отлагался ранѣе не только времени, когда настал нашъ нервный вѣкъ, но и времени, когда человѣкъ научился считать вѣка и, быть можетъ, даже прежде, чѣмъ онъ появился на землѣ. И вотъ, раньше чѣмъ появился второй членъ нѣкоторой специфической системы взаимодѣйствія, которою медикъ пользуется у постели больного („бромъ при нервныхъ растройствахъ"), уже первый членъ ея существовалъ съ своею удивительною особенностью, имѣющею отношеніе къ тому, чего не появилось пока, не появилось нигдѣ на землѣ, нѣтъ вовсе въ природѣ. Развѣ это—не чудо? не чудо въ полномъ и святомъ смыслѣ?.." („Природа и исторія", стр. 117).

Или еще, въ томъ же родѣ:

„Развѣ эта группа Минеральныхъ водъ не есть чудо природы? Согрѣшилъ я — и припадая къ матери-землѣ, къ этимъ сѣрнымъ ключамъ, бѣгущимъ изъ Горячей горы (въ Пятигорскѣ) — исцѣляюсь. Какая связь, какое соотношеніе? Что за дѣло сѣрѣ до характерной болѣзни, которую она исцѣляетъ, что за дѣло этой характерной болѣзни—до сѣры? Но онѣ сцѣпляются въ узелъ какого-то соотношенія. Чудо, Богъ, вѣра—все тутъ"... (Литературные очерки", стр. 179).

Мнѣ думается, что этихъ примѣровъ достаточно — они очень характерны для современнаго Киѳы Мокіевича. Какимъ образомъ бромъ можетъ вліять на организмъ человѣка, разъ бромъ существовалъ задолго до появленія человѣка на землѣ? Какимъ образомъ можетъ „быть" небытіе, существовать несуществованіе?—„Какъ, право, того... совсѣмъ не поймешь натуры, какъ побольше въ нее углубишься"! Этимъ духомъ проникнуты всѣ „философскія" статьи В. Розанова, мимо которыхъ лучше всего пройти, чтобы не терять даромъ времени. Область теоретической философіи была (и остается) совершенно недоступной В. Розанову, несмотря на объемистый его кирпичъ „О пониманіи"; и онъ хорошо сдѣлалъ, что покинулъ—хотя и не по доброй волѣ—эту область для другихъ областей. „Если бы какое-нибудь вниманіе къ этой книгѣ („О пониманіи") показало мнѣ, что есть возможность въ Россіи трудиться и жить для философіи — вѣроятно, я никогда не сталъ-бы публицистомъ",—заявляетъ В. Розановъ, плохо понимая самъ себя. Въ области теоріи познанія онъ былъ горе-философомъ, въ области соціальной и политиче-

ской онъ сталъ горе-публицистомъ; ни здѣсь, ни тамъ ему не было суждено найти самого себя.

Впервые нашелъ онъ себя въ цѣнномъ комментаріи къ „Легендѣ о Великомъ Инквизиторѣ—Ѳ. М. Достоевскаго“ (1893 г.); книга эта недаромъ выдержала за пятнадцать лѣтъ три изданія и стала настольной для всякаго серьезнаго читателя произведеній Достоевскаго. Предисловія къ каждому изъ этихъ трехъ изданій показываютъ, какъ В. Розановъ измѣнялъ свои взгляды (въ направленіи отъ оффиціальной церковности чуть-ли не къ „богоборчеству“) на многіе вопросы, такъ геніально-рѣзко поставленные Достоевскимъ; но цѣнность „комментарія“ В. Розанова—не въ этомъ, а въ группировкѣ и сравнительномъ сопоставленіи образовъ, мнѣній, фразъ изъ романовъ величайшаго русскаго „романиста“. Къ концу книги приложены два этюда о Гоголѣ—остроумно-парадоксальные и соблазнившіе впослѣдствіи своей главной мыслью В. Брюсова (см. его очеркъ „Испепеленный“, 1910 г.).

Но и эта работа не характерна для В. Розанова: въ области исторіи литературы и критики онъ случайный дѣятель — хотя-бы по одному тому, что свѣдѣнія его въ этой области крайне не велики, а критическаго дара не имѣется. В. Розановъ могъ написать книгу о Достоевскомъ, котораго онъ знаетъ и любитъ, могъ взвиться фонтаномъ блестящихъ парадоксовъ о Гоголѣ, котораго мало понимаетъ, но все это было болѣе или менѣе случайно. Его тянуло къ другимъ вопросамъ, къ другимъ темамъ — религіознымъ, церковнымъ, семейнымъ; метафизика христіанства, метафизика любви — вотъ что по существу его интересовало, вотъ съ чего началось цѣнное въ его публицистикѣ. А онъ, вмѣсто этого, реакціонерствовалъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, писалъ тягучія, скучныя и невѣжественныя статьи о шестидесятыхъ годахъ и тому подобныхъ мало ему извѣстныхъ вопросахъ.

Даже въ области интересовавшихъ его церковныхъ вопросовъ и религіозныхъ проблемъ онъ началъ свою публицистическую дѣятельность позорнѣйшимъ образомъ. Онъ позволилъ себѣ напечатать непристойное открытое письмо къ Л. Толстому, письмо грубое, болѣе того — наглое, съ ругательствами, съ обращеніемъ на „ты“... Типичный провинціальный Передоновъ, становясь „признаннымъ публи-

цистомъ“ реакціоннаго лагеря, наглѣлъ съ каждой статьей; онъ становился не менѣе типичнымъ представителемъ выродившагося quasi-славянофильства, съ его гоненіемъ на свободу духа, на свободу мысли. Извѣстны поистинѣ гнусныя статьи В. Розанова на эти темы, вызвавшія рѣзкій и безпощадный ударъ Вл. Соловьева — статью его „Порфирій Головлевъ о свободѣ совѣсти“ (вошла въ собраніе сочиненій Вл. Соловьева). Статья била по больному мѣсту: дѣйствительно, много черточекъ салтыковскаго Іудушки было и осталось въ В. Розановѣ: елейныя словечки, злоба, уменьшительныя имена, юродивость, присюсюкиваніе, умиленность. Недаромъ до сихъ поръ В. Розановъ остается на газетныхъ столбцахъ близкимъ сосѣдомъ г. Меньшикова, такого признаннаго (съ легкой руки Михайловскаго) нововременскаго Іудушки. Найдется тамъ въ изобиліи и третій сподвижникъ— tres faciunt collegium.

Не стоитъ раскапывать всю эту кучу реакціонныхъ писаній В. Розанова, хотя быть можетъ и слѣдовало бы сдѣлать это — въ назиданіе и поученіе потомству и въ наказаніе В. Розанову. Впрочемъ, онъ самъ уже слегка извинился передъ читателями, полу-оправдывая себя „за мерзость содѣянную“. Собирая часть своихъ журнальныхъ статей для сборника „Природа и исторія“ (1900 г.), онъ въ предисловіи сообщалъ читателямъ: „я много и сильно увлекался въ своей литературной дѣятельности. Въ особенности прежде, въ консервативный періодъ моего развитія, я имѣлъ свободу печатать рѣшительно все, что — порой минутно и пламенно — увлекало мое воображеніе и мысль“. И еще: „просматривая листики свои, я думалъ надъ многими: Боже, я могъ это написать, я могъ этому вѣрить! И разочарованіе „за жаръ души, растраченный въ пустынѣ“, есть непремѣнно удѣлъ стараго или старѣющаго писателя. Много этихъ разочарованій и въ моемъ сердцѣ. Къ счастью, они не очаровали, кажется, и моего издателя. Sit iis terra levis...“ Да будетъ такъ; умолчимъ же и мы объ этой массѣ весьма и весьма мало очаровательныхъ писаній В. Розанова.

Все, что авторъ и издатель сочли заслуживающимъ вниманія, было издано въ 1899—1900 г. въ четырехъ сборникахъ: „Природа и исторія“, „Религія и культура“, „Литературные очерки“, „Сумерки просвѣщенія“. О первомъ сбор-

никѣ — „философскихъ“ статьяхъ — я уже упоминалъ; это сѣрая, скучнѣйшая книга, почти сплошь написанная шершавымъ, суконнымъ языкомъ. Въ послѣднихъ трехъ сборникахъ гораздо больше интереснаго: къ тому-же въ нихъ впервые начинаетъ проявляться у В. Розанова свой слогъ, свой стиль, свой языкъ. Но, конечно, попрежнему много въ этихъ книгахъ всякаго юродства, смѣхотворнаго вздора. То онъ начинаетъ защищать Молчалина, какъ „государственнаго работника“; то, съ этой же точки зрѣнія, восхищается „Акакіемъ Акакіевичемъ“, чиновничествомъ; то пѣтушкомъ забѣгаетъ передъ начальствомъ. „Гумбольдтъ, еслибъ ему случилось быть наказаннымъ, долженъ почтительно просидѣть свой день на гауптвахтѣ... Въ грубо-общей сферѣ своей государство всегда право, всегда свято — и его гауптвахта столь же непререкаема для обывателя, какъ для самого государства должны быть непререкаемы, не касаемы, обожаемы красоты Героя Нашего Времени или выводы Космоса. Два міра; двѣ совершенно различныя области; и между ними, т. е. между краткимъ и приказывающимъ чиновничествомъ и между сложнымъ и эластичнымъ обывателемъ возможна, при пониманіи, не только гармонія, но и любовь“... („Литературные очерки“, стр. 206—207). Развѣ это не прелестно? Это не помѣшало В. Розанову впослѣдствіи, „когда начальство ушло“, обрушить на чиновничество и громы и молніи. Страницею выше въ той же книгѣ вы найдете еще болѣе увеселяющее разсужденіе на ту тему, что въ долинахъ, подъ открытымъ небомъ, человѣку свойственно чувство открытости, ясности, честности: „я не воръ“, „мы не воруемъ“, „нельзя воровать — подъ всевидящимъ, все освѣщающимъ окомъ солнца“; а въ горахъ Кавказа, гдѣ небо задвинуто, загромождено горами, этого чувства нѣтъ, и вотъ почему горецъ всегда вооруженъ, всегда при шашкѣ и кинжалѣ: „это — условіе и психика самой природы“... (Ibid., стр. 204). И въ такомъ родѣ — на каждой страницѣ... О, безсмертный Киѳа Мокіевичъ!

Эти сборники статей В. Розанова соединили въ себѣ очень многое изъ написаннаго имъ въ девяностыхъ годахъ. Но именно къ концу этого десятилѣтія впервые нашелъ В. Розановъ самого себя; онъ былъ приведенъ жизнью къ постановкѣ „семейнаго вопроса“, отсюда къ вопросу о бракѣ,

о внѣбрачіи, отсюда къ вопросу объ отношеніи ко всему этому русской церкви, отсюда къ церкви вообще, и, наконецъ, вообще къ христіанству. На всѣ эти темы имъ написано громадное количество статей; онѣ собраны въ книгахъ „Въ мірѣ неяснаго и нерѣшеннаго“ (1901 г.), „Семейный вопросъ вь Россіи“ (1903 г., два тома), „Около церковныхъ стѣнъ“ (1906 г. два тома), „Темный ликъ“ и „Люди луннаго свѣта“ (1911 г.). Въ этихъ книгахъ собрано все цѣнное, что даетъ В. Розанову право на свое, особое мѣсто въ русской литературѣ, что заставляетъ принять его юродивость и видѣть въ немъ не только во Хамѣ, но и во Христѣ юродиваго. Книги и статьи эти, написанныя оригинальнымъ, незабываемымъ, яркимъ „розановскимъ“ языкомъ, полныя блестящихъ догадокъ и парадоксовъ, чуть-ли не геніальныхъ интуицій, неожиданныхъ и вѣрныхъ сопоставленій, внезапныхъ вспышекъ свѣта надъ темными областями — книги эти, не смотря на груды засоряющаго ихъ мусора, являются однимъ изъ наиболѣе крупныхъ явленій русской литературы минувшаго десятилѣтія.

А что книги эти засорены грудами мусора, что онѣ пересыпаны массою обычнаго юродиво-розановскаго вздора — это уже само собой разумѣется, это можно уже ожидать a priori. Не стоило-бы больше и останавливаться на этомъ вздорѣ, если-бы онъ не былъ глубоко-досадной помѣхой для воспринятія читателями важныхъ и цѣнныхъ идей этого юродиваго русской литературы. Развиваетъ, напримѣръ, В. Розановъ цѣнныя мысли о „святой плоти“ — но тутъ же не можетъ удержаться, чтобы не пофилософствовать на манеръ Кифы Мокіевича: „кожа, кожа человѣка!.. Сколько разъ о ней я думалъ! — Это нервная сыпь; полечимъ нервы и сыпь исчезнетъ, — говорилъ разъ докторъ, когда я растерянно, изумленно его слушалъ, и прописывалъ отъ мелкихъ волдырьковъ на тѣлѣ cali bromati — внутрь!.. Нервная сыпь! Значитъ, кожа человѣка не есть футляръ кожаный на немъ“.. Вотъ вѣдь открылъ Америку! И войдите-же въ положеніе читателя, который, наткнувшись на безконечный рядъ такихъ пассажей, просмотритъ, пожалуй, то цѣнное, что за ними таится... Неугодно-ли страницами слушать разсужденія Кифы Мокіевича на подобную тему о кожѣ, что-де кожа — важный органъ тѣла, а потому

и болѣетъ серьезно, ракомъ, въ то время какъ „глупыя части, какъ желудокъ, кишки... вообще ничтожно болятъ“.. Или авторскія сожалѣнія — почему это въ баняхъ нѣтъ лампадъ и образовъ?. „..Мерцающіе лучи лампады, льющіеся кругомъ, наполняющіе помѣщеніе бани, обливая всю полноту тѣла, рождали бы таинственнымъ своимъ дѣйствіемъ религіозную невинность тѣла“... Или рецепты автора—какъ совершать супружескія соединенія, какъ вести себя до оныхъ, во время оныхъ и послѣ оныхъ. Серьезнѣйшая и глубокая тема о „святой плоти“ покрывается досадной паутиной всѣхъ этихъ вздоровъ, ненужностей и юродствъ. Вы обращаетесь къ другой темѣ — „русской церкви“, вы увлечены мастерской разработкой этой темы, но не можете же вы не реагировать на нелѣпѣйшія утвержденія въ родѣ того, что „весь русскій народъ закричалъ бы не надо при видѣ перваго же насилія, первой грубости ино-крещеному, ино-вѣрному“, что въ Россіи религіозные гонители „всего боятся, робки въ словѣ и дѣйствіяхъ“... Бумага все стерпитъ, но читатели? Новая тема — русская революція, и мы сразу натыкаемся на комичнѣйшія разсужденія нашего философа: „мнѣ кажется, мы къ правительству должны стать нѣсколько добренькими, и тогда и оно почувствуетъ себя къ намъ тоже добренькимъ. А то мы все крысимся, и отъ этого оно тоже все крысится. Вы меня не любите и я васъ не люблю. Это рѣшительно скверно“... Или вотъ, послѣдній и разительный примѣръ: В. Розановъ доказываетъ, обосновываетъ, повторяетъ свою давнишнюю и излюбленную мысль о единствѣ „души“ и „пола“; остроумные парадоксы, блестящія аналогіи, читатель почти убѣжденъ...И вдругъ— въ голову нашему юродивому приходитъ блестящее доказательство тождества „пола“ и „души“! Слушайте: „мужская душа въ идеалѣ — твердая, прямая, крѣпкая, наступающая, движущаяся впередъ, напирающая, одолѣвающая: но между тѣмъ вѣдь это все — почти словесная фотографія того, что стыдливо мужчина закрываетъ рукою!.. Перейдемъ къ женщинѣ: идеалъ ея характера, поведенія, жизни и вообще всего очерка души—нѣжность, мягкость, податливость, уступчивость. Но это — только названія качествъ ея дѣтороднаго органа! Мы въ однихъ и тѣхъ же словахъ, терминахъ

и понятіяхъ выражаемъ ожидаемое и желаемое въ мужчинѣ, въ душѣ его, въ біографіи его, въ какихъ терминахъ его жена выражаетъ наединѣ съ собою желаемое и ожидаемое отъ его органа... Каковы души, таковы и органы!..“ Можно-ли строго винить читателя, если онъ, послѣ подобной страницы, махнетъ рукой, скажетъ —„юродивый!“ и закроетъ книжку В. Розанова?

И всетаки такой читатель, хотя и заслуживаетъ снисхожденія, но будетъ несомнѣнно не правъ, будетъ похожъ на того крыловскаго героя, который, разрывая кучу сора, не сумѣлъ оцѣнить найденнаго въ ней жемчужнаго зерна. Богъ съ ними, со всѣми этими вздорами и ненужностями, безъ которыхъ В. Розановъ былъ бы не В. Розановъ; къ этой обильной инкрустаціи юродствъ и нелѣпостей въ концѣ концовъ не то что привыкаешь, съ ней не то что примиряешься, а просто не на нее обращаешь фокусъ своего вниманія, и только добродушно смѣешься, встрѣчая мимоходомъ на страницахъ книгъ В. Розанова то почтеннаго старца, не попавшаго на Іоническіе острова, то дочь его Машу, выходящую замужъ, то самого автора во образѣ Кифы Мокіевича, разгуливающаго въ одномъ нижнемъ бѣльѣ передъ всей читающей публикой. Иной разъ бѣлье это — мы видѣли — бываетъ грязное, иной разъ нашъ юродивый пачкаетъ себя доносомъ, клеветой, неприличіемъ; добродушный смѣхъ уступаетъ тогда мѣсто рѣзкому негодованію. Вотъ почему и на этихъ страницахъ пришлось рѣзко отзываться о многихъ поступкахъ этого юродиваго русской литературы: онъ — слишкомъ крупная литературная величина, чтобы можно было съ равнодушнымъ презрѣніемъ проходить мимо всѣхъ его непристойностей. Мало-ли какія непристойности позволяютъ себѣ „тоже литераторы“, сотрудники какихъ-нибудь погромно-черносотенныхъ листковъ, но вѣдь ихъ „литературой“ никто не занимается, за исключеніемъ развѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ судебныхъ властей. Это не литература. Но В. Розановъ — крупная величина въ нашей литературѣ минувшаго десятилѣтія; мимо него не пройдешь съ молчаливымъ презрѣніемъ. Надо рѣзко бичевать его писательскую распущенность, его недостойныя выходки; но чѣмъ рѣзче клеймишь этотъ обликъ во Хамѣ юродиваго, съ тѣмъ бо̀льшимъ вниманіемъ надо всматри-

ваться въ „жемчужныя зерна“ писательской дѣятельности этого юродиваго русской литературы.

III.

Изъ-за лѣса юродивостей и всяческаго вздора В. Розановъ мало по малу подходилъ къ двумъ глубокимъ и важнымъ вопросамъ, тонко связаннымъ для него въ одно неразрывное цѣлое: эти вопросы — религія и полъ въ ихъ взаимной связи.

Есть писатели, которые входятъ въ „универсальное“, въ „космическое“ всѣмъ своимъ существомъ; однимъ изъ такихъ въ русской литературѣ является М. Пришвинъ[1]). Есть другіе писатели, которые могутъ войти въ космическое только въ одной какой-нибудь точкѣ, и только съ этой точки обнять однимъ чувствомъ и однимъ взглядомъ великое Все; къ числу такихъ писателей принадлежитъ В. Розановъ. В. Розановъ можетъ войти въ космическое только въ одной точкѣ—точкѣ „пола“. Душа и полъ—мы это слышали—для него идентичны, тождественны; и именно исходя изъ „пола“ входитъ В. Розановъ въ Душу Міра, подходитъ къ Великому Пану, Великому Цѣлому. Полъ для В. Розанова—это все, to Pân, всеобщій синтезъ. „Я почему-же плачу надъ темой, рискуя всѣмъ,—какъ не потому, что вижу въ ней всемірный синтезъ: ни другого глагола, ни иной квалификаціи не хочу“,—воскликнулъ какъ-то по этому поводу самъ В. Розановъ.

„Плачу надъ темой, рискуя всѣмъ“: правъ былъ В. Розановъ, произнося эти слова. Темы, возбужденныя имъ еще въ концѣ девяностыхъ годовъ, показались массѣ читателей просто „неприличными“, какимъ-то воскрешеніемъ древняго культа Фаллоса. Эта простота трактовки предмета, приданіе ему величайшаго мірового значенія, разговоръ о немъ безъ фиговыхъ листовъ—въ наше-то время, время величайшаго разврата въ мѣщанской культурѣ, но разврата скрытаго, спрятаннаго, таящагося! Поистинѣ В. Розановъ „рисковалъ всѣмъ“—рисковалъ всей своей писательской репутаціей. Не бывать-бы здѣсь счастью, да несчастье помогло:

---

[1]) См. выше статью „Великій Панъ“, особенно стр. 66-67.

у В. Розанова была уже въ то время такая опредѣленная репутація юродиваго, что на новое, казалось-бы, юродство публикѣ можно было просто махнуть рукой. И подъ этимъ флагомъ юродства В. Розановъ цѣлое десятилѣтіе провозилъ грузъ глубоко серьезныхъ и важныхъ вопросовъ о міровомъ значеніи „пола“. Немногіе понимали В. Розанова въ то время, но уже многіе теперь начинаютъ прислушиваться къ его мыслямъ, отдѣляя ихъ отъ изобильной шелухи неизбѣжнаго юродства. Проблема „святой плоти“, надъ которой такъ безплодно бился Д. Мережковскій[1]), нашла себѣ въ В. Розановѣ глубокаго и истиннаго истолкователя и выразителя.

„Святая плоть“—самый терминъ этотъ привелъ В. Розанова къ „теитизированію пола“. Святая плоть, святой „полъ“: все свято въ томъ физіологическомъ актѣ, результатомъ котораго является единственно святое на землѣ—дитя. Половое притяженіе „это есть религіозное, теистическое притяженіе и изумительное владычество молитвы надъ грѣхомъ, чистоты надъ смрадомъ...“ Гдѣ полъ, тамъ и Богъ; но и наоборотъ—„нѣтъ чувства пола—нѣтъ чувства Бога!“

Полъ теитизируется; въ результатѣ получается религіозная ячейка—семья, „эфирнѣйшій цвѣтокъ бытія...“ „Нѣтъ высшей красоты религіи, нежели религія семьи. Но тогда и семья, т. е. въ кровности своей, въ плотскости своей, въ своей очевидной тѣлесной зависимости и связности, не есть-ли также, обоюдно и взамѣнъ, религія? Т. е., если столь очевидно религія льется изъ плотскихъ отношеній, то и обратно—нѣтъ-ли религіозности въ самыхъ плотскихъ отношеніяхъ? въ ихъ фактурѣ? Все это безмолвно и для всѣхъ неощутимо выражено въ самомъ институтѣ „брака“: онъ и есть теитизація пола... Полъ теитизируется: это даетъ эфирнѣйшій цвѣтокъ бытія—семью; но и теизмъ непремѣнно и сейчасъ же сексуализируется“... Примѣръ сексуализаціи теизма и теитизаціи sexus'а В. Розановъ видитъ, между прочимъ, въ еврейскомъ обрѣзаніи.

Какъ бы не относиться ко всему этому, ясно во всякомъ случаѣ одно: здѣсь мы имѣемъ передъ собою глубочайшее утвержденіе святости пола, „святой плоти“; здѣсь мы имѣемъ въ полѣ—„всемірный синтезъ“, сведеніе, всего въ одну

---

[1]) См. выше статью „Мертвое мастерство“.

общую космическую точку. Конечно, во всякой мономаніи есть свои курьезы, и когда В. Розановъ объясняетъ, напримѣръ, черезъ „полъ“ даже и соціальность—какъ проявленіе неуловимой „essentiae sodomicae“ („Люди луннаго свѣта“, стр. 109)—это не помогаетъ доказательности его теорій. Но иначе и быть не можетъ, разъ „полъ“ есть точка касанія В. Розанова съ космическимъ, разъ онъ есть „всемірный синтезъ“, всяческая во всемъ. Когда В. Розанову возражаютъ, говоря, что въ родовомъ актѣ терпитъ якобы ущербъ личность человѣка, поглощаемая стихійными началами природы, то В. Розановъ съ убѣжденіемъ восклицаетъ въ отвѣтъ: „какъ прекрасно! Такъ-же, какъ обоняніе цвѣтка, какъ вкушеніе отъ виноградной лозы, какъ любованіе на звѣздное небо,—но только глубже и внутреннѣе. Все, все, что сказалъ Лермонтовъ въ стихотвореніи: „Когда волнуется желтѣющая нива“, все это дѣйствіе на душу цѣлостной природы повторяется, но глубже, въ дѣйствіи на человѣка родового акта и его сопутствующихъ обстоятельствъ, любви и семьи. Да и понятно, ибо актъ этотъ есть узелъ природы“...

Повторяю: все что угодно можно говорить объ этой „теитизаціи пола“ В. Розановымъ, о его космическомъ становленіи „святой плоти“, но нельзя не признать одного—что все это является яркой религіей жизни, религіей радости и святости всего земного. Неудивительно потому, что отъ всѣхъ этихъ вопросовъ и проблемъ о „полѣ“, В. Розановъ постоянно и неизбѣжно переходилъ къ вопросамъ и проблемамъ о христіанствѣ, которое—правильно, нѣтъ-ли—многіе еще со временъ императорскаго Рима именовали „религіей смерти“.

В. Розановъ искони былъ вѣрующимъ православнымъ, вѣрнымъ сыномъ православной церкви. Но стоило ему чуть-чуть подойти къ вопросамъ жизни—хотя бы только къ одной ихъ узкой точкѣ,—чтобы сразу почувствовать, что „неладно что-то въ датскомъ королевствѣ“, и притомъ не только въ одномъ православіи, а во всемъ историческомъ христіанствѣ. Какъ истинно вѣрующій, онъ не могъ не задаться вопросомъ—что, „бракъ“ и „семья“ для церкви, мерзки или святы? Какъ относится вообще христіанство къ точкѣ „пола“ въ человѣкѣ?

Не будемъ слѣдить, какъ мало-по-малу и съ фатальной послѣдовательностью и неизбѣжностью приходилъ В. Розановъ къ все болѣе и болѣе опредѣленнымъ и рѣзкимъ отвѣтамъ на эти вопросы; это длинная, хотя и интересная исторія, зафиксированная въ двухъ громадныхъ книгахъ В. Розанова—„Семейный вопросъ въ Россіи“ и „Около церковныхъ стѣнъ“. Здѣсь намъ достаточно будетъ узнать, къ чему-же въ концѣ концовъ В. Розановъ пришелъ, какъ примирилъ онъ съ христіанствомъ свою религію пола; это мы найдемъ въ двухъ резюмирующихъ, подводящихъ итогъ и ставящихъ точки на і книгахъ В. Розанова—„Темный ликъ“ и „Люди луннаго свѣта“.

Итогъ слѣдующій: В. Розановъ ушелъ изъ христіанства, отождествивъ историческое христіанство съ самодержавіемъ чернаго монашества. Значеніе такого христіанства онъ не преуменьшаетъ—скорѣе преувеличиваетъ. „Какъ ни странно сказать, но европейское общество, въ глубокой супранатуральности своей, въ глубокомъ спиритуализмѣ, въ глубокомъ идеализмѣ, въ грезахъ, мечтахъ—до Вертера и Левина—создано иночествомъ... Ароматъ европейской цивилизаціи, совершенно даже свѣтскій, даже атеистическій и анти-христіанскій,—все равно, весь и всякій вышелъ изъ кельи инока“... Въ чемъ-же заключается этотъ ароматъ монашества? — спрашиваетъ В. Розановъ, и отвѣчаетъ: — въ идеалѣ безсѣменности, въ идеалѣ уничтоженія пола...

Въ самомъ Евангеліи,—продолжаетъ свою мысль В. Розановъ,—въ самомъ его началѣ стоитъ безсѣменное зачатіе, безъ котораго Евангеліе, въ глазахъ вѣрующаго христіанина, теряетъ всякій смыслъ, всякую святость. Святая плоть и безсѣменная святость—можетъ-ли быть большее противорѣчіе, большее несогласіе, большая взаимная враждебность понятій? И если святая плоть прославляется религіей жизни, то не ведетъ-ли къ религіи смерти „безсѣменность“ и все связанное съ нею? А съ нею связано, по мнѣнію В. Розанова, дѣйствительно все. „Безсѣменное зачатіе, поставленное какъ „А“ въ Евангеліи, уже содержитъ его „Ѳ“—конецъ, катастрофу, падающія звѣзды и сѣрный огонь съ неба, и возстаніе мертвецовъ, сихъ „гражданъ“ новаго вѣка, и страшный судъ. Чѣмъ началось, тѣмъ

и кончится... Наоборотъ, святое рожденіе воскрешаетъ древнія, до-христіанскія Небеса: „мертвымъ“ совершенно незачѣмъ исходить изъ могилъ, потому что земля не пустынна, на могилахъ выросли новые цвѣты“... Богъ не можетъ быть и тамъ и тутъ, на этихъ двухъ полюсахъ міра и жизни; Онъ или съ мертвыми, или съ живыми, и истинная религія, почитающая Его, есть или религія жизни, или религія смерти. Или—или; одно или другое изъ этихъ двухъ неизбѣжно идетъ противъ Бога. Которое-же изъ двухъ?

Выборъ для В. Розанова не труденъ. Истинной религіей жизни (а для него это тождественно съ религіей пола) является юдаизмъ; древній еврейскій Богъ, съ Его заповѣдью „плодитесь и множьтесь“, съ Его религіей крови, плоти, ароматовъ—есть истинный великій Богъ. Придя къ такому убѣжденію, В. Розановъ написалъ рядъ блестящихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почти геніальныхъ статей объ юдаизмѣ; съ совершенно новой точки зрѣнія прочелъ и перечелъ онъ Библію, бросилъ на многое новый свѣтъ, поставивъ въ центрѣ юдаизма своеобразный договоръ „пола“ между Богомъ и человѣкомъ. По пути, конечно, разбросано много догадокъ, необоснованныхъ предположеній, парадоксовъ; пусть спеціалисты рѣшаютъ, насколько вѣрно, напримѣръ, объясненіе „назорейства“ какъ освященнаго и интенсивнаго полового общенія, а вавилонскаго „астартизма“, какъ своеобразнаго монашества. Въ общемъ же, въ цѣломъ—статьи В. Розанова объ юдаизмѣ представляются геніальнымъ проникновеніемъ въ духъ религіи древняго еврейства, въ ея „главную жилу“. И еврейскій Богъ, Богъ чадородія и плодородія, представляется ему истиннымъ Богомъ жизни, радости земной, благословленія всѣхъ земныхъ плодовъ, всѣхъ земныхъ радостей, всей земной полноты бытія.

Но вотъ явился на землѣ „Іисусъ сладчайшій“—и всѣ плоды міра сего прогоркли (—прочтите интереснѣйшую статью В. Розанова „О сладчайшемъ Іисусѣ и горькихъ плодахъ міра“). Земная жизнь, радость, счастье, все то, что благословлялъ ветхозавѣтный Богъ, стало теперь отринуто, презрѣно, проклято монашескимъ христіанствомъ. „Веселый христіанинъ—это такое-же condradictio in adjecto, какъ круглый квадратъ“,—это, конечно, плоды духа

монашескаго. А монашество, черное христіанство—доказываетъ В. Розановъ—и есть христіанство истинное, правильно истолкованное. Всѣ попытки соединить христіанство со „святой плотью“ (напримѣръ, попытки Д. Мережковскаго) справедливо кажутся В. Розанову наивными, жалкими, обреченными на неудачу. „Плоть“—это проклятіе, крестъ христіанина; радости и упованія его—въ другой области, въ другомъ мірѣ; свята не „плоть“, а „безсѣменность“, и идеалъ истиннаго христіанства, чернаго христіанства—„царство безсѣменныхъ святыхъ“. Жизненное—проклято христіанствомъ, безжизненное—окружено ореоломъ святыни. У древнихъ египтянъ обожествлялись кошки, быки, ибисы,—обожествлялось живое въ нихъ, божественна была жизнь; въ христіанствѣ святы мощи, прославлены и обожествлены смертные останки. „Безжизненные останки—они святы,—восклицаетъ В. Розановъ:—такъ вотъ что́ значитъ (христіанская) святость—умереть!.. Похороны—св. мощи въ музыкѣ, начало мощей святость и святое воспѣваніе смерти! Подъ такимъ угломъ зрѣнія христіанство есть мистическая пѣснь переходу изъ земного житія, всегда и непремѣнно грѣшнаго, въ „вѣчную жизнь“—тамъ. Хорошая религія? Конечно,—но не отрицайте-же, что это есть величайшій пессимизмъ и глубочайшее отрицаніе земли и земного, стихій планетныхъ, лунныхъ, солнечныхъ, но въ основѣ всего—родительскихъ, рождающихъ...“ („Темный ликъ“, стр. 87).

Все это несомнѣнно такъ. Но если это такъ, то,—снова и снова задается вопросомъ В. Розановъ,—то какимъ же это образомъ и религію жизни, и религію смерти можно соединять съ именемъ одного и того-же Бога? Богъ чадородія и жизни, Богъ безсѣменности и смерти—не враги-ли другъ другу на небѣ и на землѣ? И если одинъ изъ нихъ есть истинный Богъ, то другой неизбѣжно есть Его истинный Врагъ: вотъ къ чему пришелъ В. Розановъ въ своихъ послѣднихъ книгахъ. Онъ боялся подойти къ этому выводу, и поистинѣ изумительно, что онъ, робкій Передоновъ, рѣшился дойти до конца по этому пути. Уже давно мерещились ему подобные выводы, приходили въ голову аналогичныя мысли, но онъ осторожненько обходилъ ихъ, или прикрывался хитренькой юродивостью, восклицая: „бѣдный я человѣкъ—и сирота въ фактахъ, и убогъ мыслью“ („Литературные очерки“,

стр. 179—184). Но въ пылу битвы иной разъ и трусъ становится храбрецомъ; а В. Розановъ давно уже вошелъ въ колею все болѣе и болѣе рѣзкой борьбы съ чернымъ монашествомъ, съ его умерщвленіемъ и уничиженіемъ всего живого, земного: „не правъ-ли я,—восклицаетъ В. Розановъ, говоря о монашествѣ,—давно начавъ крикъ: смотрите, это идутъ погубители человѣчества, злодѣи въ образѣ ангеловъ, пантеры въ образѣ овецъ!“ („Люди луннаго свѣта“, стр. 143).

Но вѣдь для В. Розанова—мы на это уже указывали—вся истинная сущность христіанства сосредоточена именно въ черномъ пониманіи христіанства монашествомъ; а если такъ, то что-же такое исповѣдуемая христіанствомъ религія? „Христіанство разсѣкло чудесный фокусъ всей живой физической природы. Только это одно—и можно закрыть всѣ книги и не читать больше, какъ можно было-бы и всѣмъ писателямъ бросить перо, и сосредоточиться только на этомъ одномъ вопросѣ: мы исповѣдуемъ религію, разсѣкающую узелъ бытія,—*съ* Богомъ мы? или *противъ* Бога?“ (Ibid., стр. 118). Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ для В. Розанова быть не можетъ.

Христіанство—анти-божественно: вотъ главный, основной выводъ В. Розанова. Но христіанство черное, монашеское христіанство, вѣрно выражаетъ собою Христа. Отождествивъ такимъ образомъ историческое христіанство съ обликомъ Христа, В. Розановъ, всюду говоря о первомъ, говоритъ этими-же словами и о второмъ. Онъ негодующе полемизируетъ съ монашествомъ, съ его старопечатными книгами, съ его проповѣдью аскеза, самоограниченія, сдавливанія. „Неужели оно (духовенство и монашество) рѣшится отрицать или скрывать, что дѣйствительно во всѣхъ книгахъ, какія оно дало народу, не содержится ни одного слова, гдѣ было бы сказано, что жизнь хороша сама по себѣ, и что ее нужно удерживать, ею дорожить просто потому, что она есть и какъ есть; что радость человѣческая хороша и достойна, счастье достойно-же и къ нему надо стремиться... Ни одного такого слова въ цѣлой библіотекѣ!..“ (Ibid., стр. 147). „Ничего веселаго и счастливаго ихъ „уставъ“ имъ не позволяетъ. Веселое и счастливое—отрицаніе смерти, забвеніе гроба. Семья, искусства—украшеніе жизни. Но и гробъ иногда украшается позумен-

тами, серебряными ручками. Вотъ хорошіе ландшафты около монастырей и суть такія серебряныя ручки около гроба“ (Ibid., стр. 264). Гробъ, смерть—идеалъ и сущность христіанства, вѣрно выражающаго собою Христа. И если христіанство это—божественно, то весь міръ, все трепетаніе жизни—демоничны и прокляты. „Церковь всегда считала Христа—Богомъ, и eo ipso принуждается считать весь міръ, бытіе наше, самое рожденіе, не говоря о наукахъ и искусствахъ—демоническими, во злѣ лежащими...“ (Ibid., стр. 268). Но вѣдь и наоборотъ—если міръ божественъ, если жизнь и цвѣтеніе ея благословенны, то христіанство идетъ противъ Бога, и Христосъ пришелъ не исполнить, а нарушить Божій завѣтъ человѣку. „Отъ того великаго Солнца, духовнаго Солнца, которое взошло надъ человѣчествомъ 2.000 лѣтъ назадъ—несутся снопы свѣта... Только это черный свѣтъ и около Чернаго Солнца. Не взглянешь на Него—ничего не поймешь; а взглянешь—повѣришь, что Солнце въ самомъ дѣлѣ черно: и все сразу поймешь, до ниточки, до послѣдняго словца. Этому Черному Солнцу, великой міровой Смерти, метафизикѣ Смерти и поклоняются монахи, по самымъ одеждамъ своимъ именуемые черноризцами...“ (Ibid., стр. VIII и 205). И если истинный Богъ есть міровая жизнь, то не Врагомъ-ли Бога является міровая Смерть, Черное Солнце? И такъ какъ В. Розановъ твердо и глубоко вѣритъ въ сверхъестественность явленія и личности Христа, то не удивительны его восклицанія и вопросы:

«Іисусъ человѣкомъ не былъ!
Но былъ-ли Онъ Мессія?
И кто-же Онъ, наконецъ?» («Русская церковь», стр. 37).

Отвѣтъ не трудно угадать. Д. Мережковскій, въ книгѣ «Не миръ, но мечъ», передаетъ объ одномъ своемъ разговорѣ съ В. Розановымъ, когда послѣдній, на категорическій вопросъ собесѣдника—«кто-же былъ Христосъ?»—отвѣтилъ шепоткомъ, мелко крестясь и нагибаясь къ уху Д. Мережковскаго: «какъ же вы не понимаете? Христосъ—вѣдь это Денница, прости Господи мои прегрѣшенія»...

Какой выводъ! И какой путь совершилъ этотъ когда-то фанатикъ православія, апологетъ выродившагося славянофильства! И какой это теперь тяжелый противникъ для всѣхъ своихъ бывшихъ единомышленниковъ и союзниковъ! Д. Ме-

режковскій, безъ всякаго сомнѣнія, вполнѣ убѣжденъ въ свою очередь, что въ В. В. Розановѣ мы имѣемъ одно изъ несомнѣннѣйшихъ воплощеній Чорта, и готовъ видѣть демонизмъ во всѣхъ писаніяхъ юродиваго русской литературы... Да, вотъ подите-же: пусть юродивый, но какую труднѣйшую задачу поставилъ онъ передъ каждымъ искреннимъ христіаниномъ! Мистику-христіанину легко справиться съ раціоналистомъ-атеистомъ—настолько же легко, насколько легко и атеисту безъ труда одолѣть мистика: они бьютъ другъ друга, находясь въ разныхъ плоскостяхъ, разныхъ измѣреніяхъ—оттого такъ и легка кажущаяся побѣда. Одинъ отрицаетъ все «сверхъестественное», другой презираетъ все позитивное; одинъ не вѣритъ, другой вѣритъ. Но какіе же логическіе аргументы могли когда бы то ни было побѣдить вѣру или невѣріе? Но вотъ мистикъ-христіанинъ встрѣчается лицомъ къ лицу съ В. Розановымъ,—а встрѣчаются они дѣйствительно лицомъ къ лицу, ибо одинакова ихъ мистическая вѣра, одинаково ихъ презрѣніе къ позитивизму, оба они принимаютъ чудо и «сверхъестественныя силы» въ исторіи. Христосъ, Евангеліе—для В. Розанова явленія безусловно не-человѣческія, сверхъестественныя; онъ до такой степени вѣритъ въ это, что ничтоже сумняся принимаетъ даже явно нелѣпые и давно уже отброшенные серьезными экзегетами аргументы. Такъ напримѣръ, «сверхъестественность» Евангелія онъ подтверждаетъ между прочимъ фактомъ исполненія предсказаній Евангелія о разрушеніи Іерусалима; тотъ общеизвѣстный фактъ, что первые дошедшіе до насъ списки Евангелія были составлены уже черезъ нѣсколько вѣковъ п о с л ѣ разрушенія Іерусалима въ 70 году —это «предсказаніе post factum» не смущаетъ В. Розанова. Зачѣмъ ему факты? У него есть твердая вѣра, что Евангеліе — «сверхъестественно», что личность Христа — не-человѣческая. Но дальше — всякому утвержденію христіанина В. Розановъ противопоставляетъ свое отрицаніе. Да, Евангеліе «сверхъестественно», но оно не «благая вѣсть» а «злая вѣсть» для человѣчества; да, личность Христа сверхчеловѣчна, но не божественна, а анти-божественна.

И такъ далѣе, и такъ далѣе. Аргументовъ и доказательствъ у него непочатый край, и каждое изъ нихъ отвѣчаетъ

«нѣтъ» на утвержденія историческаго христіанства. Вотъ почему нѣтъ болѣе тяжелаго противника для нашихъ монаховъ, и безъ того не слишкомъ сильныхъ въ діалектикѣ, чѣмъ вѣрующій, елейный, лампадный В. Розановъ. Правъ былъ Д. Мережковскій, когда много лѣтъ тому назадъ предсказалъ, что церковь и не подозрѣваетъ, какого врага будетъ она современемъ имѣть въ этомъ юродивомъ русской литературы. Времена исполнились...

Мы можемъ только со стороны, съ совершенно другой плоскости, смотрѣть на эту поучительную борьбу; но все-же она представляетъ для насъ выдающійся интересъ. Не говоримъ уже о громадной роли историческаго христіантства, какъ бы къ нему ни относиться; самый убѣжденный атеистъ долженъ признать большую силу того, съ чѣмъ онъ борется. Но здѣсь намъ все это интересно съ другой стороны—со стороны борьбы В. Розанова съ тѣмъ, въ чемъ онъ, справедливо или несправедливо, видитъ религію смерти, борьбы за то, въ чемъ онъ видитъ религію жизни. Былъ-ли Христосъ Богомъ или Денницей — это пусть рѣшаютъ между собой В. Ро зановъ и Д. Мережковскій; наша тема скромнѣе — мы только намѣчаемъ ту религію жизни, исповѣдникомъ которой со своеобразной точки зрѣнія является В. Розановъ.

IV.

Благородный, культурный, не безнадежно-мертвый апологетъ «святой плоти», Д. Мережковскій; во многомъ представитель истинно-русскаго хамства и юродивости, но воистину живой проповѣдникъ «святой плоти», В. Розановъ. Какая рѣзкая разница! Въ одномъ—ледяная игра разума; въ другомъ—точно бунтующій гейзеръ горячаго чувства; проповѣдь одного — красивая, блестящая, — оставляетъ холоднымъ; вспышки чувства другого — поневолѣ заражаютъ, убѣждаютъ. И это именно потому, что одинъ—вѣчно скучающій, безжизненный, тоскливый апостолъ Смерти, въ то время какъ второй—вѣчно радостный проповѣдникъ силы и красоты жизни. «Вѣчная веселость души, за которую

благодарю Бога и которая во мнѣ наступила послѣ рѣшенія видѣть Бога во всяческомъ и во всемъ»,—такъ характеризуетъ себя самъ В. Розановъ. Богъ его—«всяческая во всемъ», Богъ его—вся жизнь во всѣхъ ея безконечныхъ сцѣпленіяхъ и проявленіяхъ.

Когда В. Розановъ по своему и „до ниточки“ понялъ Черное Солнце, когда онъ осудилъ все такъ или иначе обезцѣнивающее и сжимающее жизнь,—только тогда понялъ онъ всю цѣнность, все значеніе здѣшней, земной, человѣческой жизни, жизни подъ Свѣтлымъ Солнцемъ, жизни во всю, всѣми сторонами человѣческаго существа. Земная радостная жизнь каждаго отдѣльнаго человѣка— вотъ что для В. Розанова цѣннѣе всего: и это всегда сопровождалось у него чувствомъ любви къ конкретному. Еще въ періодъ своихъ „философскихъ статей“ онъ восхищался „индивидуализмомъ всѣхъ феноменовъ бытія человѣческаго, текущимъ изъ того, что здѣсь центръ и движитель явленій есть не предметъ, то-есть существо общее, но лицо, то-есть существо абсолютно обособленное, своеобразное, своекачественное, единичное въ высочайшей степени“... И впослѣдствіи этой-же любовью къ конкретному объяснялись многія иначе необъяснимыя юродства В. Розанова, когда онъ интимно сообщалъ читателямъ, что третья дочь непопавшаго на Іоническіе острова почтеннаго старца, Маша, выходитъ замужъ, что молодая племянница другого его знакомаго утонула, а старшій племянникъ, чудный юноша христіанскаго воспитанія и образа мыслей, умеръ отъ горя по матери, у которой доктора констатировали ракъ желудка. Конечно, сообщать обо всемъ этомъ своимъ читателямъ — юродство; но вѣдь и юродство имѣетъ свои причины, и причины эти здѣсь — именно характерная для В. Розанова любовь къ конкретному. „Да проститъ читатель, — замѣчаетъ нашъ юродивый, — что я оставляю подробности внѣ темы... У меня — знойная привязанность не къ одному дѣлу, а и къ поэзіи вкругъ дѣла, не къ каѳедрѣ, а къ дому; и не убранныя завѣсы домашней жизни просто я не въ силахъ отдѣлить отъ строкъ, иногда немногихъ, важныхъ для темы. Ибо вѣдь эти племянницы и племянники въ несчастіи — они люди, и намъ слѣдуетъ, хоть и не зная ихъ, сказать: со святыми

упокой"... Пусть это — юродство, но оно очень многое объясняетъ намъ въ В. Розановѣ.

Это чувство любви къ индивидуальному, любви къ вотъ этому отдѣльному земному человѣку позволило В. Розанову связать религію съ поломъ, стать проповѣдникомъ религіи жизни, религіи земли. Христіанство — черное, монашеское — принесло съ собою идею о лучшей жизни „тамъ" и о необходимости только влачить свои дни „здѣсь", въ земной юдоли плача и слезъ: нѣтъ ничего для В. Розанова ненавистнѣе этой идеи! Для него „жизнь въ Богѣ и для Бога" есть именно жизнь здѣсь, на землѣ, жизнь насыщенная, полная, богатая всѣми переживаніями. „Все — въ Господѣ: это-же есть мысль всѣхъ православныхъ людей, даже всѣхъ религіозныхъ людей. Но въ другихъ религіяхъ, не патологическихъ, нормальныхъ, это привело бы и приводило къ расцвѣту, плодородію, жизни вѣчной и радостной здѣсь, на землѣ; а въ религіи все перенесшей „туда", всякую радость, сіяніе и цвѣтъ вынесшей за порогъ гроба, въ это ужасное, всепожирающее „загробное существованіе", которое какъ вампиръ сосетъ живую жизнь, — въ этой религіи „загробныхъ утѣшеній" само собою идеалисты вѣры рвутся туда"... („Темный ликъ", стр. 188).

Какъ это характерно, какъ понятно! Вспомнимъ только, съ какой жадностью хватается Д. Мережковскій за „загробныя утѣшенія", за идею загробнаго существованія: онъ мертвъ здѣсь и хочетъ надѣяться хоть на жизнь тамъ [1]); можетъ-ли онъ понять, что человѣкъ самъ не хочетъ никакого „туда" и вполнѣ удовлетворяется своимъ земнымъ „здѣсь"! „Я былъ, я есмь — мнѣ вѣчности не надо!" И особенно не надо В. Розанову той вѣчности, которую предлагаетъ ему черное христіанство. Картина всеобщаго воскресенія, когда — по словамъ компетентныхъ людей — всякій будетъ открытъ передъ всякимъ до дна, до конца, съ обнаженіемъ всѣхъ самыхъ тайныхъ закоулковъ души,—картина эта не можетъ нравиться В. Розанову... Да и къ чему же ему воскресеніе и жизнь „тамъ", разъ земная жизнь кажется ему предѣломъ блага, красоты, добра! „Не имѣю интереса

[1]) См. выше статью „Мертвое мастерство".

къ воскресенію, — категорически заявляетъ В. Розановъ. — Говорятъ: мы воскреснемъ, со стыдомъ, съ „обнаженіемъ“... Ну, что-же... Зажмемъ глаза, не будемъ смотрѣть. Не осудимъ другъ друга. Не заставитъ-же Богъ плевать насъ другъ на друга, не устроитъ такой всемірной плевательницы... Нѣтъ, это такъ глупо, что, конечно, этого не будетъ. Просто, я думаю, умремъ... Такъ думаю, можетъ быть скверно, но такъ думаю“... И еще изъ той же статьи: „если-бы я былъ великимъ іереемъ, я сотворилъ бы религію здѣсь и здѣшняго, и увѣренъ, тогда бы насъ гораздо лучше судили и тамъ, если вообще есть тамъ, что впрочемъ, и неинтересно, разъ уже все положено здѣсь“ „Вѣчная память“; статья въ „Новомъ Времени“, 4 янв. 1908 г.).

Эта религія здѣсь и здѣшняго — давно уже сотворена человѣчествомъ. Ея таинства — таинства природы; ея обряды — соціальный, общественный, семейный бытъ; ея проявленія — шопотъ любви молодости, спокойная смерть стоика, радости и горести жизни, борьба, наслажденіе, гибель — вся, вся человѣческая жизнь, подъ благословляющей рукой Великаго Пана. И, съ незапамятныхъ временъ, этой древнѣйшей въ мірѣ имманентной и индивидуалистической религіей живутъ — безсознательно и сознательно—и человѣческія массы и отдѣльные люди. Иные понимаютъ эту религію жизни слишкомъ плоско, вульгаризируютъ ее до уровня общедоступнаго эпикуреизма; другіе, не умѣя смотрѣть и жить широко, во всѣ стороны бытія, умѣютъ углублять русло религіи жизни, доходить до дна отдѣльныхъ ея сторонъ и вопросовъ. Таковъ и В. Розановъ. Не въ его силахъ охватить жизнь со всѣхъ ея сторонъ — и онъ уединился, по собственному его выраженію „чудовищно уединился“ въ своемъ углу, сузилъ свою жизнь и свою личность; но ему дано было углубить религію жизни въ одной ея сторонѣ — проблемѣ пола, той сторонѣ, которая до него была совершенно неразработана, именно въ ея связи съ религіей. И несмотря на бездну юродивостей, В. Розановъ своей „теитизаціей пола“ внесъ интересное и глубокое слово въ вѣчную религію жизни.

И какова сила этой религіи: хотя онъ „чудовищно уединился“, хотя весь ушелъ въ индивидуальное, въ личное, —

но стоитъ ему только начать углублять свою тему, какъ тотчасъ-же доходитъ онъ отъ индивидуальнаго къ соціальному и космическому. Его касанія въ проблемѣ пола къ космическому были уже отмѣчены выше; стоитъ отмѣтить и то, какъ отъ проблемы пола В. Розановъ возвышается до соціальности. Это онъ совершаетъ въ области все того же вопроса о „воскресеніи мертвыхъ"... „Мертвымъ совершенно незачѣмъ исходить изъ могилъ, потому что земля не пустынна, на могилахъ выросли новые цвѣты, съ памятью первыхъ, съ благоговѣніемъ къ первымъ, даже въ сущности повторяющіе въ себѣ тѣхъ первыхъ. Смерть есть не смерть окончательная, а только способъ обновленія: вѣдь въ дѣтяхъ въ точности я живу, въ нихъ живетъ моя кровь и тѣло, и слѣдовательно буквально я не умираю вовсе, а умираетъ только мое сегодняшнее имя. Тѣло уже и кровь продолжаютъ жить, и въ ихъ дѣтяхъ — снова, и затѣмъ опять въ дѣтяхъ — вѣчно!" („Люди луннаго свѣта", стр. 68). И еще разъ о томъ же: „лично я не въ силахъ охватить науку и войну, культуру и религію, хоть живи вѣчно, хоть будь семи пядей во лбу. Но я размножился — и въ дѣтяхъ, внукахъ, въ сотомъ поколѣніи я тысячею рукъ работаю въ человѣчествѣ, я обоняю всѣ запахи міра, дѣлаю всѣ профессіи, я рабъ и царь, геній и безумецъ. Какое богатство сравнительно съ какимъ бы то ни было личнымъ существованіемъ! Да и вообще неужели виноградная лоза бѣднѣе виноградной ягодки?" (Ibid., стр. 147). Здѣсь можно видѣть, какъ своеобразный паѳосъ размноженія приводитъ мистика-автора чуть-ли не къ позитивной теоріи прогресса. Конечно, здѣсь онъ сугубо неправъ, онъ противорѣчитъ здѣсь самому себѣ, точно забывая, что весь ароматъ сосредоточенъ именно въ виноградной ягодѣ, а не виноградной лозѣ, что самъ же онъ всюду и вездѣ ставитъ на первое мѣсто индивидуальное; но что намъ до того? Правъ онъ или неправъ, но и къ космическому и къ соціальному имѣетъ онъ касанія, исходя изъ основной своей точки зрѣнія на міръ — проблемы пола. Религіозно обосновывая полъ, онъ не только является сильнѣйшимъ апологетомъ „святой плоти", но и болѣе того — краснорѣчивѣйшимъ проповѣдникомъ и исповѣдникомъ великой религіи жизни.

Мы теперь знаемъ, что̀ именно можно найти цѣннаго терпѣливо пройдя черезъ заднiй дворъ писанiй В. Розанова, въ opera omnia quae supersunt этого юродиваго русской литературы. Мы не согласны съ нимъ почти ни въ чемъ, пока дѣло касается аргументовъ и мотивировокъ; но мы съ нимъ совпадаемъ въ очень и очень многомъ, лишь только дѣло доходитъ до итоговъ и выводовъ. Цѣнна и глубоко-знаменательна борьба В. Розанова съ чернымъ христiанствомъ; цѣнна и замѣчательна его апологiя „пола“, „святой плоти“. Но борясь за „полъ“, борясь противъ чернаго христiанства В. Розановъ въ сущности боролся и борется **за жизнь**, противъ всѣхъ рамокъ ее сдавливающихъ, противъ всѣхъ началъ ее убивающихъ. И какими бы путями онъ ни приходилъ къ этой религiи жизни, но разъ онъ пришелъ къ ней—мы неизбѣжно должны принять его выводы, хотя-бы и отвергая аргументы. Религiя жизни имѣетъ въ В. Розановѣ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ проповѣдниковъ во всей современной русской литературѣ. И пусть проповѣдь эта пронизана юродствомъ—юродство мы отвергнемъ, а всю сущность ея примемъ. Да къ тому-же, сказать правду, безъ юродства нѣтъ и В. Розанова; безъ юродства проповѣдь его была бы лишена всякой остроты, яркости, силы... Вотъ ужъ поистинѣ—„сила моя въ слабости моей“... Безъ юродства пропалъ бы весь ароматъ удивительнаго **слога** В. Розанова, слога, пропитаннаго кавычками и курсивомъ, грубоватыми словечками, подчеркнуто-простодушнымъ тономъ. Вотъ кто изъ нашихъ писателей не то что „говоритъ, какъ пишетъ“, а буквально „пишетъ, какъ говоритъ“... Эта аффектированная небрежность—великое искусство письма; и пронизанное юродствами письмо В. Розанова—рѣдкiй примѣръ художественной публицистики. Вотъ кто поистинѣ чеканитъ слова, какъ монеты, на каждомъ выбивая свое лицо...

Все это вмѣстѣ взятое заставляетъ сожалѣть, что пока еще сравнительно немногiе читатели и критики рѣшаются взять на себя неизбѣжный трудъ отдѣленiя жемчужныхъ зеренъ отъ сора въ opera omnia этого юродиваго русской литературы. Зачѣмъ подражать герою крыловской басни? Нѣтъ, находя въ сорной кучѣ жемчужныя зерна, надо прямо и открыто признавать, что это дѣйствительно драгоцѣнные камни, а не „вещь пустая“... Борьба за жизнь, остроумныя

догадки, прославленіе жизни, геніальныя интуиціи, религія жизни—все это тѣ драгоцѣнные камни въ творчествѣ В. Розанова, которые сохранятся на вѣчныя времена въ исторіи русской литературы, въ то время какъ всю сорную кучу его вздора и юродствъ безпощадно развѣетъ—говоря восточнымъ стилемъ—вѣтеръ забвенія въ пустынѣ молчанія...

Артекъ. 1911 г.

Исторія и философія религіи.

ФЕЙЕРБАХЪ, Л. Сущность христіанства. Полный переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей Ю. М. Антоновскаго 1 50

АЛЬБЕРЪ РЕВИЛЬ. Профес. Collège de France. Іисусъ Назарянинъ. Переводъ съ предисловіемъ проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскаго. Т. I. . . 2 —

АЛЬБЕРЪ РЕВИЛЬ. Іисусъ Назарянинъ. Т. II. . 2 —

ЮШКЕВИЧЪ, П. Новыя вѣянія. 1 25

Содержаніе: О мистицизмѣ нашихъ дней. Вліяніе Города: Религіозная тоска по природѣ. Духовное одиночество личности. Проблема смерти. «Религія будущаго» или «будущая религія». О смерти и о смыслѣ жизни.

ПФЛЕЙДЕРЕРЪ, ОТТО. О религіи и религіяхъ. Переводъ Мейера, подъ редакціей П. Юшкевича

Содержаніе: Сущность религіи, Религія и мораль, Религія и наука, Начало религіи, Китайская религія, Египетская религія, Вавилонская религія, Религія Зороастра и культъ Митры, Браманизмъ и Гаотама Будда, Буддизмъ, Греческая религія, Религія Израиля, Религія Іудеевъ послѣ плѣненія, Христіанство, Исламъ 1 25

БОРОЗДИНЪ, А. К. проф. Русское религіозное разномысліе. Изданіе 2-ое, дополненное.

Содержаніе 1) Съ Преображенскаго кладбища. 2) Основатель новоженства. 3) Распространитель ученія о приходѣ антихриста. 4) Основатель скопчества въ Россіи. 5) Общій очеркъ развитія раскольничьей литературы. 6) Расколъ въ Поморьѣ. 7) Духоборы на Кавказѣ. 8) Сильвестръ Медвѣдевъ. 1 —

ЛЮТГЕНАУ, Фр. Естественная и соціальная религія. Перев. съ нѣмец. В. Величкиной 1 —

АРНОЛЬДЪ, ЭДВИНЪ. Свѣтъ Азіи, изложеніе въ поэтической формѣ буддизма. Съ предисл. академика С. Ѳ. Ольденбурга 1 50

РЕНАНЪ, Э. Жизнь Іисуса. Полный научный переводъ А. С. Усовой подъ редакціей и съ предисловіемъ академика А. Веселовскаго 1 50

МЕЙЕРЪ, А. Культура и религія. По поводу религіозныхъ исканій . . . . — 50

Всѣ книги издат-ва „ПРОМЕТЕЙ“ высылаются наложен. платежомъ. Выписывающимъ по этому каталогу на ТРИ руб. и болѣе пересылка БЕЗПЛАТНО.

Исторія. Философія. Соціологія.

БѢЛИНСКІЙ, В. Г. Письмо къ Гоголю. . . . . — 10
ЛИНДОВЪ, Г. Великая французская революція.
Въ текстѣ приведены полностью «декларація правъ человѣка и гражданина», «манифестъ равныхъ», «анализъ доктрины Бабефа, народнаго трибуна».
ПЕСТЕЛЬ, П. И. Русская Правда. Наказъ Временному Верховному Правленію. Подъ редакціей и съ предисловіемъ П. Е. Щеголева . . . 1 —
АБРАМОВИЧЪ. Человѣкъ будущаго. Очеркъ философской утопіи Фр. Ницше . . . . . — 50
БАЗАРОВЪ, В. На два фронта. . . . . 2 —
Содержаніе: Мистицизмъ матеріалистическій, или безсознательный.—Мистицизмъ идеалистическій или сознательный.—Къ вопросу о философскихъ основахъ марксизма.—Личность и любовь въ свѣтѣ «новаго религіознаго сознанія».—Мистерія или бытъ.—Христіане Третьяго Завѣта и строители башни Вавилонской.
КАЖАНОВЪ, Н. Соціально-хозяйственная эволюція и смѣна цивилизацій . . . . . . — 55
РУССО, Ж. Ж. О причинахъ неравенства. Переводъ Н. С. Южакова съ предисл. и со вступит. статьей С. Н. Южакова . . . . — 75
РУССО, Ж. Ж. О вліяніи наукъ на нравы. Со статьей проф. Н. И. Карѣева . . . . . . — 30
ШТИРНЕРЪ, МАКСЪ. Единственный и его собственность. Изд. комментированное, подъ редакціей С. А. Венгерова. Часть I. (съ приложеніемъ книги Дж. Г. Макая о Максѣ Штирнерѣ) 1 25
Часть II. . . . . 2 —
ЭЛЬЦБАХЕРЪ, П. Сущность анархизма. Изложеніе ученій: Годвина, Прудона, Штирнера, Бакунина, Кропоткина, Туккера и Л. Н. Толстого. Изд. 3-ье . . . . — 75

Естествознаніе.

КАМИЛЛЪ ФЛАММАРІОНЪ. Невѣдомыя силы природы. 40 рисунк. и чертеж. въ текстѣ. . 2 —

РУБАКИНЪ, Н. Исторія русской земли.

Содержаніе: Русская земля милліоны лѣтъ тому назадъ. Русская земля тысячи лѣтъ тому назадъ. Люди въ незапамятную старину. Съ рисунками. Изд. 2-ое . . . . . — 70

РУБАКИНЪ, Н. А. Дѣдушка-Время. Изд. 2-е дополненное . . . . — 35

РУБАКИНЪ, Н. А. Птичьи гнѣзда. (Искусство въ царствѣ животныхъ). Съ 37 рис. . . . — 50

РУБАКИНЪ, Н. А. Путешественники и переселенцы въ царствѣ животныхъ. Съ 11 рис. — 25

РУБАКИНЪ, Н. А. Какъ, когда и почему появились люди на землѣ. Съ 56 рис. . . . — 40

РУБАКИНЪ, Н. А. Какъ и когда народы научились говорить каждый на своемъ языкѣ. . . . — 15

«Въ полубеллетристической формѣ, но съ сохраненіемъ строгой научности изложенія, Н. Рубакинъ разсказываетъ о зарожденіи міра и населяющихъ его царствъ, о происхожденіи человѣка, объ измѣненіи видовъ, о характерѣ и нравахъ животныхъ, о происхожденіи рѣчи, возникновеніи различныхъ языковъ и раздѣленіи ихъ на многообразныя нарѣчія. Все это дано въ очень общедоступномъ изложеніи».

Кооперація.

ЖИДЪ ШАРЛЬ. Кооперація. Перев. подъ редакціей и съ предисловіемъ В. Ѳ. Тотоміанца . . 1 25

ТОТОМІАНЦЪ, В. Ѳ. Сельско-хозяйственная кооперація. Очерки съ приложеніемъ уставовъ. . . . . 2 —

ЛЕЛАСЕ и МАРКЪ. Проблема воздухоплаванія. Съ 25 рисунками и чертежами . . . . . — 80

СМИРНОВЪ. Краткій народный словарь; необходимое пособіе при чтеніи газетъ и книгъ — 10